

UNIwersytet WarMińsko-Mazurski w Olsztynie  
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

# Acta Neophilologica

XVIII

**1**



WYDAWNICTWO  
UNIwersytetu WarMińsko-Mazurskiego  
OLSZTYN 2015

### **Kolegium Redakcyjne**

Franciszek Apanowicz (Gdańsk), Anna Bednarczyk (Łódź), Józef Darski (Poznań),  
Aleksander Kiklewicz (Olsztyn), Joanna Kokot (Olsztyn), Ewa Kujawska-Lis  
(Olsztyn), Mikhail Melikhov (Syktywkar), Jolanta Miturska-Bojanowska (Szczecin),  
Joanna Nawacka (Olsztyn), Grzegorz Ojcewicz (Szczycno), Joanna Orzechowska (Olsztyn),  
Heinrich Pfandl (Graz), Yuriy Kovbasenko (Kijów), Stanisław Puppel (Poznań),  
Larisa Soboleva (Jekaterynburg), Klaus Steinke (Erlangen), Ewa Żebrowska (Warszawa),  
Alexander Zholkovsky (Los Angeles), Bogusław Żyłko (Gdańsk)

### **Recenzenci**

Iryna Betko, Olga Chorochordina, Krzysztof Hejwowski, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew,  
Jan Jędrzejewski, Alla Kamalova, Aniela Korzeniowska, Ewa Kujawska-Lis,  
Marija Litowskaja, Halina Mazurek, Michaił Mielichow, Olga Orłowa,  
Joanna Orzechowska, Walenty Piłat, Helena Pocięchina, Alena Rudenka,  
Irena Rudziewicz, Valentina Stepanenko, Igor Wasiljew, Ryszard Wolny

### **Redaktor naczelna**

Joanna Orzechowska  
e-mail: joanaorzech@gmail.com

### **Sekretarz redakcji**

Joanna Nawacka  
e-mail: joanna.nawacka@gmail.com

### **Redaktorzy językowi**

Ewa Lis-Kujawska, Helena Pocięchina

### **Redaktorzy tematyczni**

Językoznawstwo i glottodydaktyka  
Alla Kamalova  
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo  
Iwona Anna NDiaye

### **Adres redakcji**

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej  
ul. Kurta Obitzta 1, 10-725 Olsztyn  
tel. fax 89 527 58 47, 89 524 63 69  
[uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Acta\\_Neophilologica](http://uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/Acta_Neophilologica)

Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe

### **Projekt okładki**

Barbara Lis-Romańczukowa

### **Redaktorzy tomu**

Joanna Orzechowska i Joanna Nawacka

### **Redakcja wydawnicza**

Katarzyna Zawilska

### **Skład i łamanie**

Marzanna Modzelewska

**ISSN 1509-1619**

© Copyright by Wydawnictwo UWM • Olsztyn 2015

Wydawnictwo UWM  
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn  
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38  
[www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/](http://www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/)  
e-mail: [wydawca@uwm.edu.pl](mailto:wydawca@uwm.edu.pl)

---

Nakład 105 egz. Ark. wyd. 11,8; ark. druk. 10,0  
Druk: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 679

## Spis treści

### Językoznawstwo i glottodydaktyka

Alla Kamalova, <i>Народная загадка сквозь призму логического анализа</i> .....	5
Елена Павлова, <i>Этнолингвистический анализ наименований животных в прозаических фольклорных текстах архангельской и калужской губерний</i> .....	17
Joanna Orzechowska, <i>Чебурашка в лингвокультурологическом комментарии на занятиях РКИ</i> .....	27
Светлана Смирнова, <i>Социоллингвистическое описание церковной лексики</i> .....	35
Ольга Касымова, <i>Образ леса в языковой картине мира (на материале русского и польского языков)</i> .....	45
Татьяна Володина, <i>Принципы отбора лингвистических терминов для обучения переводу студентов-филологов (на материале немецкого и английского языка)</i> .....	49

### Literaturoznawstwo i przekladoznawstwo

Joanna Getka, <i>Medycyna w drukach bazylikańskich XVIII w.</i> .....	59
Ewa Kujawska-Lis, Andrzej Lis-Kujawski, <i>Zatopione w tłumaczeniu. Kilka uwag o (nie)kompetencji tłumacza w konfrontacji z wiedzą czytelnika</i> .....	71
Anna Alsztyniuk, <i>Да жанрава-стылявых асаблівасцей рамана Янкі Брыля Птушкі і гнёзды</i> .....	87
Jadwiga Gracla, <i>Jewreinow w powojennej Polsce. (Uwagi o spektaklu Teatr odwiecznej wojny Teatru Wybrzeże)</i> .....	95
Elena Janczuk, <i>О приеме «усвоения»: любовь Армана-Луи Лозена и Изабеллы Чарторыйской в пьесе Марины Цветаевой Фортуна</i> .....	103
Monika Karwacka, <i>Don Kichot Cervantesa w krytyce rosyjskiej i polskiej (na materiale prac Vladimira Nabokova i Zofii Szymdtowej)</i> .....	113
Irena Matus, <i>Relacje pomiędzy klerem unickim i łacińskim w schyłkowym okresie unii w obwodzie białostockim</i> .....	121
Walenty Piłat, <i>Monodram we współczesnej dramaturgii rosyjskiej</i> .....	145
Anna Toczyńska-Pęksa, <i>Recepcja twórczości Piotra Wiaziemskiego w Polsce</i> ....	153



## JEZYKOZNAWSTWO I GLOTTODYDAKTYKA

**Alla Kamalova**

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

### НАРОДНАЯ ЗАГАДКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

**Key words:** national riddle, typology, onomasiology, figurative paradigms, cognitive structures

#### **Введение**

Несмотря на значительный корпус текстов, посвященных различным аспектам исследования загадки, этот жанр малых фольклорных форм остается недостаточно изученным. И если первоначально загадка описывалась с позиций фольклористики, где ставился вопрос об определении загадки и ее отличии от других фольклорных форм, а затем лингвистикой, обратившей внимание на синтаксическую структуру загадки, то сегодня решаются разнообразные задачи изучения загадки, требующие привлечения поэтики, социологии, психологии, антропологии, логики, герменевтики, культурологии, когнитивистики. Необходимость в многоаспектном изучении народной загадки объясняется ее смысловой сложностью, тематическим и структурным многообразием, а также современным положением дел в гуманитарных науках.

#### **О задачах изучения загадки**

В рамках одной статьи представить обзор научных работ, посвященных загадке, представляется невозможным. К тому же данная проблема уже рассматривалась в других исследованиях: так, например, проблематика изучения загадки содержится в кандидатских диссертациях О.Н. Говорковой *Русская народная загадка (история собирания и изучения)* [Говоркова 2004] и А.В. Насыбуллиной *Современные трансформации русской загадки* [Насыбуллина 2008], в статье Н.Г. Титовой *История и изучение народных загадок в отечественном и зарубежном языкознании* [Титова 2011]. Как пишет С.Я. Сендерович,

Филологическая традиция исследования народной загадки сложилась и завершилась в течение неполных ста лет – с середины XIX по середину XX века. Хотя удовлетворительное общее понимание народной загадки так и не было достигнуто, тем не менее существует традиция ее изучения, опирающаяся на просвещенную интуицию, так что накопленные ею удачи и неудачи равно ценны [Сендерович 2008].

В этой связи кратко изложу задачи описания загадки, актуальные для современной лингвистики.

В настоящее время загадка рассматривается с точки зрения аспектов, характерных для современных лингвистических идей: описывается картина мира загадок, морфология загадки, трансформационные и эволюционные процессы, выявляются структурные модели загадки [Волоцкая 1995; Маранда/Кёнгас-Маранда 1985; Мечковская 1998; Насыбуллина 2008; Сендерович 2000, 2008; Сибирцева 2003].

Загадка изучается с учетом ее функций и истории, ее местом в культурном пространстве общества.

Поскольку природа загадки неоднозначна и связана со способностью человека сравнивать разнородные предметы и явления, видеть их сходство и различия, постольку загадка многолика: это и явление языка, и поэтический текст, а в целом – культурный феномен. Из сказанного следует, что одна из важнейших научных задач в области изучения загадки – создание типологии. Однако при типологическом описании учесть все характеристики загадки – генетические, темпоральные, функциональные – практически невозможно. В таком случае в качестве базовой характеристики можно принять одну как ведущую. Так, например, темпоральная характеристика отражает эволюционные и функциональные этапы загадки. По этому поводу Н.Б. Мечковская пишет:

Загадывание загадок становилось своего рода уроками образного мышления, азбукой, которая учила распознавать аналогии, связи, «вторые планы» вещей и явлений... В итоге росла зоркость человека при взгляде на мир. Важен не только конкретный свод загадок, циркулирующих в данном коллективе, но и «грамматика» загадок, т. е. своеобразные неписанные «правила», по которым строятся новые загадки, а также сама установка на загадывание, на порождение новых загадок [1998].

Загадки, согласно сказанному, можно классифицировать как архаичные (старые, дофольклорные), новые (фольклорные, народные, классические) и новейшие (современные, в том числе авторские). В.Г. Сибирцева предлагает классифицировать современные загадки по возрастному признаку (для детей и взрослых), поскольку они отражают различные языковые картины мира, выполняют разные функции и соотносятся с разными типами человеческого мышления. Современные взрослые загадки как правило логические, детские ближе к мифологическому мышлению [Сибирцева 2003]. Соответственно, при анализе типов загадок выдвигаются соответствующие им задачи (см., например, работу В.Н. Топорова *К реконструкции загадочного прототекста* [Топоров 1999]).

Цель данного исследования – апробировать опыт логического анализа фольклорных загадок; при этом выдвигаются следующие задачи: выявить актуальные

для загадывания участки (области) картины мира, изучить образную базу частотных загадываемых реалий и описать когнитивные структуры, лежащие в основе миромоделирующей функции загадок.

## Из опыта логического анализа русской загадки

Материалом исследования являются фольклорные загадки; источник материала – электронная версия книги *Загадки русского народа*, подготовленная Н.В. Макаровой. Ценность данного источника заключается в его комплексном подходе к отбору материала: книга включает загадки, записанные В.И. Далем и фиксируемые в его лексикографических трудах *Пословицы русского народа*, *Толковый словарь живого великорусского языка*, загадки, собранные и обработанные Н.Д. Садовниковым, материалы *Русского земледельческого календаря*, хрестоматии *Русское народное поэтическое творчество*, а также *Хрестоматию по детской литературе* [Макарова]. Загадки представлены тремя разделами: первый – это загадки, собранные из разных источников, но сверенные по словарям Даля (628 загадок), второй – это загадки, записанные Садовниковым, при этом не включались те, которые встречаются у Даля (112), третий раздел посвящен современной загадке (109); всего в книге 849 загадок с отгадками, которые, согласно классификации, могут быть квалифицированы как традиционные (народные или фольклорные) и современные (авторские). Исследование опирается на материалы I и II разделов, где представлены фольклорные загадки. Далее при цитировании загадок будет указываться раздел и порядковый номер текста, а именно: (Ветер) – *Без рук, без ног, под окном стучит, в избу просится* (II, 5).

Авторские загадки, а также логические (иначе их называют также *задачами* для своеобразной «гимнастики ума», в сборнике Макаровой они не представлены) в данной работе к описанию не привлекаются по причине их разнородности. Когнитивная и образная база фольклорных загадок – это национальная картина мира и культурный код народа, в то время как авторские загадки отражают индивидуально-авторское видение мира и авторские художественные средства создания текста, логические загадки опираются на нестандартное логическое мышление и энциклопедические знания. Авторские и логические загадки, конечно же, представляют научный интерес и могут быть предметом специального изучения.

В книге Макаровой отгадки помещены отдельным списком в виде ключа к загадкам, тексты загадок пронумерованы и расположены согласно алфавитному порядку слов-отгадок, что позволило составителю поместить под одним номером варианты загадок или дать в соседствующих номерах загадки с одной отгадкой; например, для отгадки «буква» в разделе I две загадки: *Черные, кривые, от рождения все немые. Станут в ряд – сейчас заговорят* (I, 27); *Черные чернизины, как они нанизаны, засмотрелся Фома – понабрался ума* (I, 28). Подобное расположение материала помогает в решении ряда задач: способствует выявлению вариантов загадок, а также частотных загадываемых реалий.

При решении первой задачи – выявление актуальных для загадывания участков картины мира – встает ряд проблем методологического и методического свойства. Методологическая проблема заключается в необходимости выбора объекта описания (Слова? Понятия? Реалии?) и его классификационной базы. Методические проблемы связаны с разработкой практических приемов выявления актуальных областей картины мира.

Загадки – это законченные высказывания, однако содержательно и функционально они представляют собой самостоятельный текст; особенность загадки в том, что это «взаимный» жанр, предполагающий как минимум два участника.

Составить загадку – это значит обычным мыслям и предметам придать метафорическую форму выражения. И наоборот – разгадать загадку – ее метафорам найти жизненно реальную расшифровку, т. е. ее образы метафорические заменить образами реальными [Лазутин 1981].

Сформулированные выше задачи описания загадок предполагают обращение к бинарному тексту – загадке и отгадке, соответственно исследование проводится на уровне текста и слова-отгадки. При таком подходе логично рассматривать языковую картину мира, отражаемую загадками.

При работе с лексическими единицами представляется актуальным апелляция к их денотативному компоненту, что делит все самостоятельные слова на предметные и непредметные (признаковые), или, в другой терминологии, имена и предикаты, что соответствует мыслительной операции отвлечения-отделения, изолирующей свойства, процессы, действия от их носителей (предметов). Подробнее о названной мыслительной операции см. в [Жаналина 1995]. На первый взгляд такое разделение представляется как «разрушение» действительности, однако многие свойства и качества одинаково присущи живой и неживой природе, различным объектам, более того, для человека реалия существенна тогда, когда есть знания о ее свойствах. Познание нового происходит пошагово, когда имеющиеся сведения дополняются новыми, что, собственно, и составляет знания о реалиях окружающего мира. Принцип «разрушения» действительности характерен для образного мышления, без которого невозможны метафорические и образно-символические переосмысления.

В действительности реалии и их свойства пребывают в неразрывном единстве, но концептуально они могут отчуждаться друг от друга. Соответственно, могут быть разнообразны модели мира, опирающиеся на различные мыслительные единицы, соотносимые с разными областями – с областью реалий (в языке представлены именами с предметным значением) или с областью понятий (представлены признаковыми словами, или предикатами). Как известно, имена реалий составляют классификационную базу тематических классификаций и моделируют языковую картину мира; признаковые слова лежат в основе идеографических классификаций, соотносимых с категориями познания [Камалова 1997]. Если отгадки – это имена реалий, то исследование должно опираться на сферы бытия, быть ономаσιологическим, если отгадки – названия процессов, явлений, свойств, то исследование



опирается на категории познания и интерес исследователя перемещается в гносеологическую область. Самостоятельной проблемой следует считать распределение имен по группам и классам (полям), поскольку имена реалий и названия ситуаций соответственно их семантике классифицируются по разным схемам.

Практическое описание имен требует разработки приемов, способствующих обобщению большого количества единиц изучения (в нашем случае это загадки I и II разделов, всего 740). В работе избран статистический принцип выявления актуальных загадываемых реалий, а именно: учитывается количество загадок на конкретную реалию. Например, в разделе I приведены 2 загадки про зубы: *Полон хлевец белых овец* (I, 174), *Бисер, мой бисер, борочком снизан, алым бархатом опушен, под заветом заложен* (I, 175).

Частотность обращения к одной и той же реалии может пониматься как актуализация культурного знака, стремление вписать его в существующие знания о мире, расширить их новыми представлениями и образами; при этом актуализироваться может не только конкретный культурный знак, но конкретная культурная область. В связи с этим необходим учет не только загадок на конкретную реалию, но также загадок, демонстрирующих определенные области знаний о мире. Примером сказанного может служить загадка, в которой *зубы* – одна из загадываемых реалий среди других участников сценария приема пищи: *Сечка сечет, деревяшка везет, сам Мартын поворачивает* – *Зубы, ложка, язык* (I, 176).

В разделах I и II книги Макаровой были выявлены загадки с повторяющимися именами отгадок и составлен список последних, включающий имена с порогом частотности «выше 3-х». В результате получен список из 38 имен-отгадок, для которых количество повторов в загадках колеблется от 4 до 19. Список таких имен представлен в алфавитном порядке.

1. *Блины* – 4
2. *Борона* – 7
3. *Вода* – 6
4. *Гриб* – 10
5. *Деньги* – 6
6. *Заяц* – 6
7. *Звезды* – 7\*
8. *Зима* – 4
9. *Комар* – 7
10. *Корова* – 6
11. *Коса* – 5
12. *Кочан капусты* – 4
13. *Лошадь* – 8\*
14. *Мельница* – 9
15. *Мороз* – 7
16. *Месяц* – 4\*
17. *Небо* – 19\*

18. *Печь* – 5
19. *Пчела* – 13\*
20. *Раки* – 6
21. *Река* – 7
22. *Ружье* – 7
23. *Рыба* – 6
24. *Свеча* – 7
25. *Свинья* – 4
26. *Сковорода* – 4
27. *Смерть* – 5
28. *Снег* – 9
29. *Сноп* – 7
30. *Солнце* – 10\*
31. *Соха* – 5\*
32. *Тень* – 6
33. *Хлеб* – 6
34. *Хмель* – 4
35. *Цепы* – 5\*
36. *Человек* – 5
37. *Яйцо* – 6
38. *Язык* – 4

Необходимо заметить, что в отдельных загадках загадывается не одна реалья, а две / три / четыре, но они объединены общей темой, сценой или ситуацией, образная база подобных загадок представлена составной парадигмой: *Один говорит: «Побежим, побеежим»; другой говорит: «Постоим, постоим»; третий говорит: «Пошатаемся, пошатаемся»* – река, берега, трава (камыш) (I, 432), *Дерево елово, в три года ягода, на четвёртый в голову кок* – можжевелник, можжевельниковые ягоды, можжевельниковая водка (I, 287). Загадка может дифференцированно описывать реалью, как, например, в загадке про удила во рту лошади, репрезентирующей знания о реалии «лошадь», или в загадке про пчелиный улей, репрезентирующей знания о реалии «пчела». Загадки такого рода на основе доминирующих признаков конкретной реалии в вышеприведенном списке объединены под одним именем-отгадкой (*звезды, лошадь, месяц, небо, пчела, солнце, соха*) и помечены звездочкой (\*).

В работе предпринят пошаговый анализ имен-отгадок. Первое наблюдение касается квалификации слов-отгадок согласно функции слова именовать (быть именем реалии) или обозначать (быть предикатом). Приведенные в списке слова именуют вещи, понимаемые в широком смысле как единицы сферы бытия; среди 740 фольклорных загадок, привлекаемых к изучению, встретились единичные, отгадки которых квалифицируются как названия ситуаций, например: *закат солнца, лошадь пегой масти, раки вареные, рыбаки взяли рыбу из невода, хлеб в печи, грудное молоко*. Базой загадываемых объектов являются в большинстве своем ономастические единицы, в языке им соответствуют слова-имена, моделирующие языковую картину мира.

Следующий исследовательский шаг направлен на выявление актуального участка языковой картины мира, ономазиологические единицы таких участков могут быть связаны сценическими и сценарными отношениями. Так, например, в загадках о звездах говорится о небе, а в загадках о небе упоминаются звезды. На этом основании подобные загадки могут быть объединены в один тематический класс (ТК); в результате было получено несколько подобных ТК: «Небосвод», «Домашние животные», «Растения», «Пища» и др. При таком подходе выявляется, что ТК «Небосвод» включает 40 загадок (*небо, звезды, месяц, солнце*), «Крестьянский быт и труд» – 37 (*борода, коса, мельница, скворода, сноп, соха*), «Климат и природные явления» – 20 (*зима, мороз, снег*), «Насекомые» – 20 (*комар, пчела*), «Домашние животные» – 18 (*корова, лошадь, свинья*), «Пища» – 10 (*блины, хлеб*) и т.д. Многие ономазиологические области представлены одним именем-отгадкой, например: *гриб, река, ружье, свеча, тень*.

Далее опыт описания образной базы частотных реалий демонстрируется на примере ономазиологической области, представленной ТК «Небосвод». Данную группу репрезентируют следующие слова-отгадки: *небо, звезды, солнце, месяц*. Прежде всего выявляются образные парадигмы, отвечающие на вопрос «С чем сравниваются звезды, месяц, солнце, небо?».

**Звезды.** Представляются в виде множества рассыпавшихся мелких предметов. Это может быть горох, просо и под.: *Серебряна россыпь по голубому полю* (I, 162); *Раскину я рогожку, насыплю горошку, поставлю квасу кадушку, положу хлеба краюшку* (I, 163); *По синему пологу золотое просо рассыпано* (I, 166); *Рассыпался ковёр (горох) по всем сторонам: никому не собрать – ни попам, ни дьякам, ни серебряникам* (I, 164). Значение множественности, характерное для представления о звездах, легло в основу приметы, согласно которой большое количество видимых звезд на небе под Рождество и Новый год предвещает большие урожаи зерна, овощей, фруктов, грибов, а также высокую яйценоскость кур и хороший приплод скота. Не регулярна для фольклора, но частотна для русской поэзии образная парадигма <звезда – стадо или стая>: *Шли козы по мосту, увидели зарю, попрятались в воду* (I, 161).

**Месяц.** Его образные парадигмы строятся на сравнении с иными предметами (*краюшка, баран*), или образ моделируется на основе характерных свойств луны (*расти, убывать*). (Об образной парадигме см. в [Павлович 1995]). Сравнения с краюшкой хлеба, с бараном обусловлены особенностями национальной картины мира. Так, в восприятии носителей русской культуры месяц – *рогатый*, как баран: *Баран в хлеве, рога в стене* (I, 283). И если базой сравнения в приведенном примере является национальное восприятие загадываемой реалии, особенности ее концептуализации, то сравнение с *краюшкой* хлеба носит иной характер, поскольку месяц сравнивается с *караваем*, традиционным русским круглым хлебом, который выпекается без формы, на поду (на полу печи или духовки), а значит, сама реалия «каравай» является национальным феноменом. Отрезанный или отломанный кусок с краем (*краюхой*) внешним видом похож на неполную луну: *Над бабушкиной*

*избушкой висит хлеба краюшка. Собаки лают, а достать не могут* (I, 281). (О словах *каравай*, *краюшка* см. в [Ожегов/ Шведова 1997]). В другой загадке акцентируются природные свойства месяца, а именно: движение по небосводу – *Идёт лесом – не треснет, идёт плёсом – не плеснёт* (I, 280), подвижность и изменение формы – *Без крыльев летит, без корней растёт* (I, 282), цвет – *Золот хозяин на поле, серебрян пастух с поля* (I, 530),.

**Солнце.** Его образные парадигмы разнообразны: они указывают на форму и/или цвет – *По заре зарянской катится шар вертлянский; никому его ни обойти, ни объехать* (I, 526), *Сито свито, золотом покрыто, кто взглянет, всяк заплачет* (I, 527), *Золот хозяин на поле, серебрян пастух с поля* (I, 530), топосные характеристики – *Что выше лесу?* (I, 529), способность солнца излучать тепло – *Без огня горит, без крыл летит, без ног бежит* (I, 531), подвижность – *Красная девушка по небу ходит* (I, 528). Следует отметить, что образ красной девушки может пониматься и как цветовой образ, образ девушки, наряженной в одежду красного цвета, где красный цвет символ борьбы, гнева, ярости, огня, но также праздника, магии, защиты от злых духов и т.д. [Миронова 1984; Фоли 1997]; более раннее значение прилагательного *красный* «красивый», в современных словарях это значение отмечается как переносное, употребляемое в качестве постоянного эпитета [Ефремова 2000]. Образная парадигма <солнце – огонь> получила развитие в классической и современной русской поэзии. Так, например, в стихотворении А. Блока *Инок шел и нес святые знаки* данная парадигма является ведущей: *Красной вестью вечною огня / Разгорались дерзостные маки, / Побеждало солнце Дня.*

В книге Н.И. Кравцова, А.В. Кулагиной *Славянский фольклор* находим загадки о солнце, которые не регистрируются в сборнике Макаровой: *Желтая тарелка на небе висит. Желтая тарелка всем тепло дарит* – солнце, *С одного блюда сало по всему свету проливается* – солнце [Кравцов, Кулагина 1987, 108]. Эти загадки объединяет метафорический перенос по форме, однако они не тождественны по способу организации текста. Вторая загадка содержит две образные парадигмы: <солнце – блюдо> и <свет – сало>. Значение ‘жир’ встречается и в загадке о небе, звездах и луне – *По всей сковороде олады, посередке каравай*. Как можно объяснить сравнение света с салом (жиром)?

Для архаического сознания жир символизирует телесность, жизнь, которую даёт солнце, и на которую влияет луна (в мифологии луна – символ перехода от смерти к жизни). Не случайно слова *жизнь* и *жир* имеют общий корень (ср. *жировать* ‘сытно жить’). В словаре В. Даля находим: «Жир – богатство, достаток, избыток, роскошь», «Он жирён, богат», «Жировой – о человеке богатом, зажиточном», «Жиряк – богач» [Даль 1979, 543]. Слово *олады*, как полагает М. Фасмер, «связано с греческим наименованием оливкового масла, еляя» (см. в [Черных 1993, 596]). Таким образом, в мифологической картине мира выявляется взаимосвязь образов ‘небесные светила → жир (масло)’. Понимание подобных загадок требует обращения к символике и мифологии. Можно предполагать, что загадки о солнце, в которых солнце, свет сравниваются с салом (жиром), имеют архаические корни.

**Небо.** В основе сравнения лежит представление о плоскости, покрытии; небо сравнивается с полем: *Голубое поле серебром усыпано* (I, 307), *Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогатый* (I, 309), *Велико поле колыбанское, много в нём скота астраханского, один пастух, как ясенец* (I, 310); с шатровым потолком: *Раскинут потолок шатром, ни сруб, ни столба, ни матицы* (I, 312), с шубенкой: *Синенька шубенка весь мир покрыла* (I, 313).

Для описания моделирующей функции загадок о небосводе обращаюсь к комментированию загадок на основе анализа их текстовых когнитивных структур. Прежде всего, необходимо выявить общие принципы моделирования мира, в данном случае участка картины мира, содержащего космологические знания и представления. Первое наблюдение касается категоризации и концептуализации. В загадках есть стремление к общему представлению небосвода как части мироздания: *Два стоящих, два ходящих и два минующих* – небо и земля, солнце и луна, день и ночь (I, 315) или метафорическому переосмыслению подвергается небосвод в определенное время суток: *Велико поле колыбанское, много в нём скота астраханского, один пастух, как ясенец* – небо, звезды, месяц (I, 310). Загадки о звездах, солнце, месяце – это пример дифференцированного представления действительности, дифференциация – один из способов познания целого через его части.

Онтогенетическое развитие когнитивных структур идет по линии их прогрессивного усложнения, по линии роста их системной иерархической организации и подчиняется в числе других одному из наиболее общих законов или принципов такого усложнения – закону или принципу системной дифференциации. Он состоит в том, что более развитые когнитивные структуры, допускающие глубокий, широкий, многоаспектный и гибкий анализ и синтез действительности, развиваются из более простых, диффузных, глобальных или плохо расчлененных структур путем их постепенной дифференциации. Так как дифференциация может происходить многократно, развитие когнитивных структур схематически может быть описано формой дерева с все более ветвящейся кроной [Чуприкова 1999, 30–32].

В процессе дифференциации важна роль наблюдателя и его пространственная позиция по отношению к познающему предмету. Космические объекты в большинстве своем воспринимаются зрением (ощущаются), соответственно знания о них строятся на основе зрительных образов: форма, цвет, положение в пространстве по отношению к наблюдателю (верх/ низ, движение/ покой). Эти значения, а также мифологические представления и уподобления лежат в основе образной системы фольклорной загадки.

Метафорический строй мифа о начале мира надолго закреплял и делал более частым, продуктивным господствующий в древности способ осознания действительности человеком: на основе образного видения предметов и естественной свободы переносно-образного употребления языка [Мечковская 1998].

Базой метафорического переосмысления, согласно этой точки зрения, становились уже освоенные предметы, а также представления о животных и человеке, о чем говорят сравнения солнца с девушкой, месяца с бараном, звезд с горохом и под.

Пространственная ориентация наблюдателя в фольклорной загадке двоякая. В одних текстах наблюдатель смотрит на космические объекты снизу вверх: *Раскинут потолок шатром, ни сруб, ни столба, ни матицы* (I, 312), *Синенька шубенка весь мир покрыла* (I, 313), *Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. Собаки лают, а достать не могут* (I, 281), в других небосвод представляется находящимся перед ним – *Раскину я рогожку, насыплю горошку, поставлю квасу кадушку, положу хлеба краюшку* (I, 163). Для наблюдателя, находящегося на земле, именно земные объекты становятся точкой отсчета для представления о высоком/ низком, движении/ покое. Местоположение загадываемого объекта выстраивается согласно уже сложившимся структурам, закрепленным в памяти по знакомому миру. По сравнению с домом, деревом солнце и луна перемещаются (*идут*).

Сложное воспринимается на основе подobia со знакомым, вырабатывая идеи «естественного понятия мира», по М. Хайдеггеру. Представляется продуктивной идея о том, что «для упорядочивания образов мира потребна эксплицитная идея мира вообще» [Хайдеггер 1997, 52]. Какая же идея мира лежит в основе загадок о небосклоне?

Тексты загадок позволяют сделать следующие выводы. Образные парадигмы моделируют представления о небе как о плоскости (*поле, рогожка, полог*) или как о шатре, которые противопоставляются другой плоскости – земной. Такая модель мироустройства соответствует плоскостно-комарной космологической традиции, изложенной последователем антиохийской богословской традиции Козьмой Индикопловым в труде *Христианская топография* (VI в.). Его книга была известна на Руси уже в домонгольский период и считается одной из наиболее популярных и авторитетных книг допетровского времени. «Козьма Индикоплов представлял мироздание огромным домом с плоским прямоугольным основанием, перекрытой комарой небесного свода» [Мильков 2009, 30]. В данном случае не утверждается, что загадки отражают теорию Козьмы Индикопла, сказанное лишь поясняет, какие представления о мироустройстве могли быть в Древней Руси.

## Заключение

Современная наука описывает народную загадку с учетом идей культурологии, психологии, когнитивистики и других дисциплин. Логическое описание загадки опиралось на количественный и семантический анализ слов-отгадок, на стилистические наблюдения над образной системой загадок, на описание когнитивных структур, выполняющих миромоделирующую функцию, а также был предпринят лингвокультурологический комментарий. Проведенное исследование выявило наиболее актуальную ономаσιологическую область для народной загадки – «Небосвод», а также позволило сделать вывод о том, что загадки отражают плоскостно-каморную космологическую идею. Актуальность загадок о небосводе вполне объяснима: космология издревле интересовала человека, представления о мироус-

тройстве присутствуют в мифологии и фольклоре народов самых разных культур. Исследование высветило также способы метафорического переосмысления представлений о мироустройстве, что наблюдается при анализе образных парадигм.

Результаты проведенной работы в определенной степени можно признать субъективными, поскольку опираются на неполный свод русских народных загадок, но цель исследования достигнута, так как изначально в качестве главной задачи была выдвинута апробация логического описания загадок на уровне отгадок и текста загадок.

### Библиография

- Говоркова О.Н., 2004, *Русская народная загадка (история собирания и изучения)* // Диссертация на соискание кандидата филологических наук, Москва.
- Даль В., 1979, *Толковый словарь живого великорусского языка*, Том 1–2, Москва.
- Ефремова Т.Е., 2000, *Новый толково-словообразовательный словарь русского языка*, Москва.
- Жаналина Л.К., 1995, *Уточнение к основаниям классификации номинативных единиц (предметные и признаковые имена)*, Филологические науки, № 2, 71–79.
- Камалова А.А., 1997, *К вопросу об идеографическом словаре*, Nordlyd, No 25, Tromsø, 7–19.
- Кравцов Н.И., Кулагина А.В., 1987, *Славянский фольклор. Тексты*, Москва.
- Лазутин С.Г., 1981, *Поэтика русского фольклора*, Москва, [http://www.infoliolib.info/philol/lazutin/2\\_1.html](http://www.infoliolib.info/philol/lazutin/2_1.html) [28.10.2014].
- Макарова Н.В., *Загадки русского народа* [28.10.2014].
- Маранда П., Кёнгас-Маранда Э., 1985, *Структурные модели в фольклоре // Зарубежные исследования по семиотике фольклора*, Москва, 194–260.
- Мечковская Н.Б., 1998, *Эволюция коммуникативно-познавательных возможностей загадки // Язык и религия: Лекции по филологии и истории религий*, Москва, <http://www.ligis.ru/psylib/090417/books/mechk01/txt11.htm> [28.10.2014].
- Милюков В.В., 2004, *Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси // Древнерусская космология*, Санкт-Петербург, 26–152.
- Миронова Л. Н., 1984, *Цветоведение*, Минск.
- Насыбуллина А.В., 2008, *Современные трансформации русской загадки // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук*, Великий Новгород.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1997, *Толковый словарь русского языка*, Москва.
- Сендерович С.Я., 2000, *Шарю я, пошарю, дошарю до правды, или Генетический код загадки*, Indiana Slavic Studies, 11, 77–107.
- Сендерович С.Я., 2008, *Морфология загадки*, Москва, <http://iknigi.net/avtor-saveliy-senderovich/300-morfologiya-zagadki-saveliy-senderovich/read/page-5.html> [28.10.2014].
- Сибирцева В.Г., 2003, *Языковая картина мира в русской загадке // Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук*, Нижний Новгород.
- Титова Н.Г., 2011, *История и изучение народных загадок в отечественном и зарубежном языкознании // Современная филология: Материалы международной научной конференции (г. Уфа, апрель 2011)*, Уфа, 197–203.
- Топоров В.Н., 1999, *К реконструкции загадочного «прототекста» (О языке загадки) // Исследования в области балто-славянской духовной культуры*, Часть 2, Москва, 54–68.
- Фоли Д., 1997, *Энциклопедия знаков и символов*, Москва.
- Хайдеггер М., 1997, *Бытие и время*, Москва.

Черных П.Я., 1993, *Историко-этимологический словарь русского языка*, Том 1–2, Т. 1: А – Пантомима, Москва.

Чуприкова Н.И., 1990, *Принцип дифференциации когнитивных структур в умственном развитии, обучении и интеллекте*, Вопросы психологии, № 5, 31–39.

### Summary

#### THE LOGICAL DESCRIPTION OF NATIONAL IDEAS

This article provides the logical description of a folklore riddle (737 riddles). Research problems are solved with the help of the static, semantic and stylistic analyses. The figurative system of riddles about a firmament is discussed and cognitive structures are studied. The author additionally comments on the national ideas on cosmism.



**Елена Павлова**

Негосударственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Институт непрерывного образования», Москва

## ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАИМЕНОВАНИЙ ЖИВОТНЫХ В ПРОЗАИЧЕСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИЙ

**Key words:** ethno linguistics, language of folklore, dominant folk name

Современные этнолингвистические исследования предполагают обращение к языку как к одному из содержательных планов этнической духовной культуры. Относительно языка фольклорных текстов такой подход осуществляется в рамках современной лингвофольклористики.

Лингвофольклористика изучает язык устного народного творчества как необходимую базу и как средство постижения этнических представлений о мире и человеке, в результате чего выявляются типизированные культурные смыслы, закрепленные в языке фольклорных текстах. В рамках лингвофольклористики большое внимание уделяется анализу доминантных фольклорных имен – ключевых слов фольклорных произведений, особых, этнически маркированных фольклорных лексем, которые являются языковыми репрезентантами концептов в текстах устного народного творчества.

В аспекте нашего исследования единицей фольклорного языка признается типизированный традиционный смысл – специфический элемент фольклорной картины мира, единица обобщенного, традиционно значимого для народа знания о предметах и явлениях, моральных нормах, правилах социального взаимодействия, способах существования в этническом микрокосме. Выявление смыслов-знаний позволяет реконструировать фрагменты традиционной духовной культуры этноса, а также определять их территориальную специфику путем сопоставления данных, полученных при языковом анализе текстов различных регионов.

Материалом нашего исследования послужили два научных издания, тексты для которых были записаны на разных территориях России: «Пятиречие» О.Э. Озаровской [Озаровская 2000] – сборник севернорусских фольклорных текстов, зафиксированных на территории Архангельской губернии с 1915 по 1927 гг.; и сборник «Фольклор Калужской губернии в записях и публикациях XIX – начала XX века» (далее – «Калужский фольклор») [Фольклор Калужской губернии 1997]. Большинство текстов обоих сборников со времени их первой публикации не переиздавалось, в связи с чем практически не было изучено.

Нами рассматривались прозаические фольклорные тексты данных изданий: в «Пятиречии» выявлено 50 таких текстов, в «Калужском фольклоре» – 18.

В качестве первичного метода этнолингвистического описания указанных произведений мы использовали метод доминантного анализа лексического состава. Данный метод дает возможность выявить предмет изучения, а именно – наиболее частотные (и, предположительно, значимые) фольклорные лексемы.

Наши наблюдения позволяют сделать вывод о том, что наиболее частотные фольклорные лексемы, как правило, оказываются семантически «нагруженными» и обладают наибольшей антропокультурной и этнокультурной маркированностью.

Доминантный анализ лексики проводился в несколько этапов: 1) определялась частотность всех слов (словоформ), функционирующих в текстах; 2) устанавливались высокочастотные лексемы – доминантные имена; 3) выявлялись словообразовательные гнезда высокочастотных лексем; 4) осуществлялась семантическая классификация доминантных имен.

Отметим, что к доминантному анализу привлекались только имена существительные. При выявлении наиболее частотных лексических единиц был установлен условный порог частотности – 20-25 употреблений.

Так, в сборнике «Калужский фольклор» установлено 37 таких существительных, в «Пятиречии» – 33:

*царь* (180 употреблений), *конь* (146), *мать* (120), *руки* (78), *брат* (77), *дом* (74), *голова* (72), *деньги* (72), *сын* (69), *жена* (68), *город* (67), *дочь* (64), *человек* (60), *муж* (58), *старуха* (57), *год* (55), *время* (50), *ноги* (42), *море* (42), *поле* (42), *люди* (40), *купец* (37), *дети* (36), *избушка* (36), *дорога* (36), *девушка* (35), *бабушка* (34), *невеста* (34), *вода* (33), *ворота* (33), *глаза* (29), *дьякон* (27), *поп* (26) («Пятиречие»); *мужик* (72); *старик* (66); *солдат* (63); *дочка* (60); *деньги* (56); *дурак* (47); *корова* (44); *барин* (43); *царь* (42); *братья* (41); *дом* (40); *дочь* (38); *жена* (38); *племянник* (35); *лошадь* (35); *баран* (35); *двор* (35); *лес* (34); *господин* (31); *мальчик* (31); *мать* (28); *прядево* (28); *черт* (28); *дядя* (26); *время* (26); *купец* (25); *крестьяне* (25); *сын* (25); *собака* (24); *мачеха* (23); *хозяин* (22); *девушка* (22); *день* (22); *мясо* (22); *поп* (21); *козел* (21); *разбойник* (21) («Калужский фольклор»).

Далее выявлялись однокоренные слова частотных лексем и формировались словообразовательные гнезда. Такой подход соответствует онтологическому принципу представления лексического материала, согласно которому важно не слово само по себе, а реалья и смысл, репрезентируемый ею. Например: *конь*

(общее количество употреблений – 162): в том числе 146 употреблений собственно лексемы *конь* и 16 употреблений однокоренных слов: *конек* (15); *коняшка* (1) («Пятиречие»).

В результате определения общего количества употреблений лексических единиц каждого словообразовательного гнезда были получены следующие списки: *царь* (298); *мать* (235); *конь* (162); *муж* (121); *жена* (99); *девушка* (86); *руки* (86); *брат* (84); *голова* (83); *деньги* (75); *дочь* (75); *дом* (74); *сын* (74); *город* (67); *старуха* (67); *дети* (64); *человек* (60); *год* (55); *избушка* (54); *время* (50) и т.д. («Пятиречие»);

*старик* (120); *дом* (107); *дочка* (98); *мужик* (89); *солдат* (65); *корова* (64); *прядево* (58); *деньги* (57); *барин* (57); *дурак* (53); *жена* (52); *царь* (49); *мать* (45); *девушка* (44); *братья* (41); *племянник* (41); *лес* (37); *лошадь* (35); *баран* (35); *двор* (35) и т.д. («Калужский фольклор»).

На следующем этапе доминантного анализа слова, вошедшие в приведенные выше списки, были распределены по семантическим классам. При семантической классификации частотных лексем учитывали тот факт, что имена называют сферы действительности, или обозначают категории познания. Так, выявленные нами частотные лексемы представляют парадигмы, соотносимые со сферами действительности (I): это семантические (тематические) классы со значением ‘Человек’, ‘Животные’, ‘Существа’, ‘Вещи’, ‘Вещества’; и семантические парадигмы, соотносимые с категориями познания (II): это семантические поля со значением ‘Пространство’, ‘Время’. Представим наполняемость семантических парадигм:

#### **I. Сферы действительности.**

(1) **‘Человек’:** *царь, мать, муж, жена, девушка, брат, дочь, сын, старуха, дети, человек, бабушка, поп, дьякон, купец, люди, невеста, руки, голова, ноги, глаза* (21 наименование) («Пятиречие»);

*старик, дочка, дочь, мужик, солдат, барин, дурак, жена, царь, мать, девушка, братья, племянник, господин, мальчик, дядя, купец, крестьяне, сын, мачеха, хозяин, поп, разбойник* (23 наименования) («Калужский фольклор»).

(2) **‘Животные’:** *конь* (1 наименование) («Пятиречие»);

*корова, лошадь, баран, собака, козел* (5 наименований) («Калужский фольклор»).

(3) **‘Существа’:** *черт* (1) («Калужский фольклор»).

(4) **‘Вещества’:** *вода* (1) («Пятиречие»);

*мясо* (1) («Калужский фольклор»).

(5) **‘Вещи’:** *деньги* (1) («Пятиречие»);

*деньги, прядево* (2) («Калужский фольклор»).

#### **II. Категории познания.**

(1) **‘Пространство’:** *дом, город, избушка, море, поле, дорога, ворота* (7) («Пятиречие»);

*дом, двор, лес* (3) («Калужский фольклор»).

(2) **‘Время’:** *год, время* (2) («Пятиречие»);

*день, время* (2) («Калужский фольклор»).

Доминантный анализ показал, что наименования животных, анализу которых посвящена данная статья, в текстах обоих сборников в количественном отношении занимают вторую позицию после слов, относящихся к семантическому классу 'Человек'. Заметим, что уже на этом этапе анализа можно делать некоторые выводы относительно территориальной культурно-языковой специфики рассматриваемых текстов. Например, к семантическим пересечениям относятся наполняемость таких парадигм, как 'Вещи', 'Время' (лексемы *деньги*, *время*). Одинаково частотным является употребление лексемы *дом*. Примером отличительной особенности может служить отсутствие в списке доминантных имен «Пятиречия» наименований нечистой силы и достаточно частотное употребление лексемы *черт* в Калужском фольклоре. Что касается наименований животных, то общим для обоих сборников является то, что доминантными фольклорными именами оказались только наименования домашних животных, тогда как наименования диких животных в эти условные списки не вошли вследствие их малой употребимости в анализируемых текстах.

Таким образом, семантическая классификация позволила определить представленные в текстах категориальные, понятийные области и связанные с ними сферы фольклорной действительности, а также сделать первичные выводы о территориально-языковой специфике текстов. А.Т. Хроленко отмечает, что такой подход к отбору описываемых лексем на сегодняшний день является наиболее продуктивным, поскольку позволяет учитывать структуру фольклорной картины мира [Хроленко 2000, 9].

Обратимся к семантическому классу со значением 'Животные'.

Этнолингвистический анализ соответствующих лексем в текстах сказок Архангельской и Калужской губерний конца XIX – начала XX веков показал, что одна и та же лексема может репрезентировать в разных текстах различные смыслы, то есть отражать различные знания, представления народа о данном предмете или явлении.

В ходе анализа наименований животных в текстах «Пятиречия» выявлена следующая особенность: при достаточно высокой степени употребления лексемы *конь* (в общем списке доминантных имен данное имя занимает вторую позицию после имени «царь») наблюдается в целом сравнительно низкая частотность употребления наименований других животных:

для сравнения: *конь* – 162 употребления; далее по списку убывания частотности: *собака* – 16 употреблений; *кошка*, *кот*, *коток* – 16 употреблений лексем словообразовательного гнезда; *лиса* – 13 употреблений.

Относительно других наименований животных отмечена их еще более низкая частотность (менее 3 употреблений). При этом выявлены единичные употребления наименований рыб и птиц.

Иные частотные данные зафиксированы при языковом анализе сборника «Калужский фольклор», где наиболее частотными оказались такие лексемы, как *корова* (64); *лошадь* (35); *баран* (35), *собака* (24); *козел* (21).

В ходе анализа зафиксировано отсутствие однокоренных образований у наименований *лошадь, баран, собака, козел* и наличие достаточно широкого словообразовательного гнезда у имени *корова*: общее количество употреблений – 64, в том числе 44 употребления собственно лексемы *корова* и 20 однокоренных употреблений: *коровушка* (13), *коровушка-матушка* (5), *коровий* (2).

Дальнейший анализ доминантных фольклорных имен (как и определение их частотности) предварялся в нашей работе электронным сканированием текстов и составлением электронных конкордансов для каждой анализируемой лексемы, то есть совокупности всех контекстов, в пределах которых она функционирует.

На основании сплошной компьютерной выборки выявлялись контексты, в которых лексема употребляется в функции либо семантического субъекта, либо семантического объекта, анализировалась предикатная лексика, в результате чего устанавливалась типичная сочетаемость доминантного имени.

Так, выявлена следующая сочетаемость имени *конь* в текстах «Пятиречия»:

- 1) в функции объекта действия: *хлснул коня, едет на кони, сел на коня, выбирал коня, вязать [коня] ко серебряну колыу, поставил коня, сели на коней, соскозили с коней, посадила на коня, спустил коня, вспомнил про коня, приметить коней, выбрал коня, коня потерять, коня спасать, возьми коня, оставь коня, пастыри коней пасут, говорит коню* (здесь и далее сохранена орфография источников);
- 2) в функции субъекта действия: *конь увяз, стоит конь, конь коня перебьет, конь коня не допустил, конь довезет, конь отвечает, конь проवेशчалсе* (в значении «высказался»).

Типичными являются ситуации употребления данной лексемы с глаголами пространственной локализации, отмечена также сочетаемость с глаголами речи.

Языковой анализ текстов «Пятиречия» показал, что субъектами действия по отношению к коню являются, как правило, высокие герои (мифологические личности) богатыри Еруслан Лазаревич, Иван Запечельник, богатырица, дети богатыря (например, Федор и Василей в сказке «Иван Запечельник и богатырица»), мать-львица, другой конь.

Характерной особенностью повествований о коне является также описание в сказках значительного количества ситуаций, указывающих на эмоциональное отношение субъектов действия к коню: это, как правило, оценочные ситуации, реализующиеся адъективными словосочетаниями: *добра коня, кони самолучши, конь на яблоках, молоды кони, коня, што лучша на свете нет, кони вороные, конь белояров, кони-золоты узды*.

Данные контексты, имея положительную коннотацию, фиксируют народное представление о коне как необыкновенном, исключительном животном.

Отрицательная коннотация отмечена только в словосочетании *худ конь*.

Обращение к «дальнейшему окружению» лексемы *конь* дает возможность конкретизировать ситуации, представленные в минимальных контекстах и описать дополнительные детали сцен, соотносимых с рассматриваемым именем.

Детальными сценами могут быть, например, указания на объекты, цели, следствия действий: например, *выбрал коня по плечу, конь заскакивал через стены, Конь одним копытом задел за стены городовые, конь и проवेशался ему целовецьим ясаком.*

В данных контекстах конь наделяется сверхъестественными качествами, свойствами, приближающими его к высоким героям, мифологическим личностям.

Так, в сказке «Вехорь Вехорович» содержится контекст, посредством иронии фиксирующий смысл равенства коня высоким героям:

*Спустил коня со семи цепей, Иван Царевич тянул его правой рукой, конь на колени пал: – Полно тебе, овсян мешок, самому форсить, не пора ле тебе нас богатырей носить?*

Иронию создает атрибутивное сочетание *конь-овсян мешок* и эмоционально окрашенный глагол *форсить*.

Значимым является также тот факт, что лексема *конь* часто употребляется в контекстах с условным и причинно-следственным значениями.

Ситуации причины, как правило, закрепляют смысл тесной связи, эмоциональной привязанности:

*нету коня – Иванушко кручинен;*  
*не может себе коня прибрать – идет кручинной;*  
*конь ускочил, а он [богатырь] упал.*

Ситуации условия фиксируют иные смыслы: «для того, чтобы владеть конем, необходимо приложить усилия»: «коня надо заслужить», «получить коня – большая заслуга»:

*имал коня за белу гриву – владей,*  
*царь опять его требовал, осердилса, наложил службу: этих коней в тройи сутки достать, а не достанешь, – голова с плеч и др.*

Следует подчеркнуть, что контекстов, закрепляющих утилитарное, бытовое представление о коне, выявлено незначительное количество: *коня запрег, боцьку в Архангельске повозит [конь], коней из поля каких-то к себе загнал.*

В двух сказках «Пятиречия» отмечены контексты, фиксирующие представление о коне как мериле материального достатка, где конь мыслится носителями данной этнокультуры в числе значимых бытовых вещей:

*Я ему всего дала: коня самолучшего, шубу самолучшу, муки-крупы, портна трубу подала, сапоги новы («Дороня»);*  
*– Довольно у нас золотых карет да коней, золотой бархатной одежи («Григорей Высота»).*

Данное представление имеет также языковую реализацию в контекстах с темой сватовства:

*Берите золоту карету, самолучших коней, везите жониха!*  
*Подали королевны венчальне платье, она говорит: – Все еще не иду, надо мне пара коней вороных в синем мори, под серым камнем, узды золоты (фиксируется смысл возможности венчания только при наличии приданого в виде коней) («Григорей Высота»).*

В целом в «Пятиречии» контексты, включающие лексему *конь*, содержат информацию о коне как ценностном в рамках традиционной народной культуры существе, с его значимыми индивидуальными, часто сверхъестественными, качествами, особенностями поведения и типичными действиями, свойственными «высокому» персонажу, мифологической личности; с эмоционально близким отношением с человеком – и в то же время ряд контекстов закрепляют смысл материальной ценности коня наряду с другими бытовыми признаками достатка и богатства.

В значительно меньшем количестве контекстов лексема *конь* (а также синонимическая замена «жеребец») представлена в прозаических текстах Калужского фольклора.

Языковой анализ произведений данного сборника показал, что лишь в двух калужских сказках выявлены контексты с лексемой *конь*. Оба контекста содержат мифологический мотив разрыва нечистой силы. При этом лексема *конь* функционирует в них в качестве субъекта действия и фиксирует ассоциативную связь «конь – справедливый суд, возмездие»:

*Приводит домой, а Двуглазка и закричала: «Какую ты сякую, нагышку-голышку, привел?!» А он и говорит: «Нет, эта не такая-сякая, а моя жена, а это ты, такая-сякая ведьма!» Взял Струеву дочку снарядил, а мачехину дочку взял к стоялому жеребцу за хвост привязал, вывел его со двора и пустил в чистое поле погулять с нею. Как пошел **конь** гулять по чистому полю и по широкому лужку и разнес ее: где кусточки – там ее кишочки; где кочки – там ее почки; а где лужки – там ее требушки («Сказка о Струе и Струихе»);*

*Девки бегают, как собаки, по ягодам, а мальчик берет да берет. Мальчик набрал, а девки пробежали. Пристали к нему девки (одна-то родная, а две неродные): «Дай, да дай ягоды». Он не дает, неродные сестры взяли его да зарезали, а родная-то не давала, все. Девки этих взяли да к **кониным** хвостам привязали, **аны [кони]** их растащили, где кочережки – там и ножки, и маслов их не видали («Чудесная дудочка»).*

Таким образом, лексема *конь* не является в текстах Калужского фольклора частотной, однако репрезентирует важное представление, наличие которого, вероятно, может быть подтверждено при анализе других текстов данной территории: конь наделяется в народном сознании магической, сакральной функцией уничтожения нечистой силы.

В противоположность текстам «Пятиречия» в рассматриваемых произведениях Калужского фольклора одним из самых частотных доминантных имен является лексема *корова* (64): 44 употребления и 20 употреблений однокоренных слов: *коровушка* (13), *коровушка-матушка* (5), *коровий* (2);

Для сравнения: *старик* (120); *дом* (107); *дочка* (98); *мужик* (89); *солдат* (65); *корова* (64).

Анализ сочетаемости данной лексики позволяет сделать вывод о достаточно частой фиксации утилитарного, прикладного смысла, стоящего за данным словом. Так, значительное количество контекстов содержит ситуации бытового, практического обращения с коровой: *покупать корову, пустить корову, доить корову,*

*стеречь корову, погнать корову, пригнать корову, пойти к корове, излечить корову;* или ситуации бытийности, практического существования: *была корова*.

Характерны для калужских сказок и контексты с именем *корова*, функционирующем в качестве субъекта действия. При этом часть контекстов содержит типовые утилитарные ситуации: *корова стала по траве ходить, поела корова, заболела корова*; а часть включает ситуации, фиксирующие наделение коровы человеческими свойствами и способностями: *говорит корова, корова прядла прядево*.

Отмечены также эмоционально окрашенные ситуации: *говорить с коро- вой, хлеб отдать корове, проститься с коровой, любимая корова* – и аналогичные контексты с однокоренными употреблениями: *поблагодарить коровушку, коровушка-матушка*.

Таким образом, одна часть указанных контекстов, фиксирует прикладной, утилитарный смысл, стоящий в народном представлении за именем *корова*, а другая, значительная их часть фиксирует эмоциональное отношение к данному существу.

Общий ценностный образ, связанный в сказках калужского фольклора с доминантным именем *корова*, формируется и посредством его символики. Так, в сказке «Про Струя и Струиху» выявлен контекст, закрепляющий символическое значение помощницы и спасительницы:

*Зарезали корову, сало и мясо прибрали, а требуху с кишками Струевой дочке отдали. Она взяла их, вывалила на огороде. На этом навозе вырос сад, такой хороший, что нигде такого сада и не было.*

Особые знания о корове представлены в текстах калужских быличек. Большое количество контекстов произведений этого жанра репрезентируют представление о корове как животном, зависящем от нечистой силы.

Так, смысл взаимодействия и сопоставления коровы с представителями нечистой силы (домовым, змеем, змеем-любаком и т.п.) и зависимости от нее выявлен при анализе следующих контекстов:

*Первое место между злыми духами занимает властелин зданий, домовый или хозяин. Он прихотлив до бесконечности, и каждый крестьянин старается исполнить все прихоты его, чтобы не навлечь на себя его гнева. Так, покупая корову мужик берет в расчет, какая шерсть ему по двору. Эта шерсть должна быть подобна шерсти домового, так, например, если домовый имеет черную или бурую шерсть, то и домашние животные должны иметь такую же («О домовом»);*

*Опасаясь потерять ее [корову], крестьянка просила советов змея, который объяснил, что причина болезни коровы не что иное, как шашии домового, и приказал мыть животное настоем дедовника или чертополоха, присовокупив, что вся нечистая сила (водяная, земноводная или летающая) боится этой травы («Летающий змей»);*

*Раз змей-любак пристал к корове; от него соседская корова бычка телила («Змей-любак»).*

Связь с нечистой силой – главный смысл, зафиксированный в текстах калужских быличек, включающих наименования и других животных, в том числе второе по частотности доминантное имя *лошадь*.



Приведем примеры:

*леший заводит лошадей в лес («О лешем»);  
ночью одному страшно мимо проехать: водяной может испугать лошадь или загнать в яму. Из воды выбиралась лошадь вся мокрая («О водяном»);  
шут иногда пугает лошадей в ночном: лошади ходят смирно, вдруг весь табун встрепенется и бежит версты за полторы или за две. Обыкновенно шут гоняет лошадей в дурную погоду, когда идет дождь или поднимается сильный ветер; гонит он их от одного нехорошего места к другому такому же и, немного погодя, обратно к первому («О домовом»);  
если грива вьется у лошадей – лошади прилились ко двору домовому («Как спросить у домового о судьбе»).*

В сказке «Рассказ крестьянина о лешем» выявлены ситуации болезни лошадей вследствие действий нечистой силы:

*Я, брац мой, испужалси ды и гыварю: «Вот што, брац мой, у мене лошыди калют, как какую ни куплю, усе издыхают».*

Что касается бытовых представлений о животном, то в отличие от контекстов с именем *корова*, подобных контекстов с именем *лошадь* выявлено незначительное количество.

Так, в сказке «О Иванушке-дурачке» отмечены контексты, включающие типичные ситуации, связанные с передвижением на лошади: *поехал на лошади, остановил лошадь, уехал на лошади*, а также другие типичные бытовые ситуации: *пустить лошадь домой, запрячь лошадь, похлопать лошадь*. Из адъективных конструкций отмечены такие, как *самолучшии лошади, мужикова лошадь*.

Достаточно частой является в Калужском фольклоре языковая фиксация символического значения богатства, достатка, ассоциативно связанного с наименованиями животных.

Приведем пример из былички «О кладах»:

*Один крестьянин Гороховской волости, возвращаясь ночью домой, увидел преследовавшую его белую лошадь, которая на пространстве двух верст то прыгала, то ласкалась к нему, то вертелась около телеги, то, забегая вперед, заграждала ему дорогу. Вышедши из терпения и желая избавиться от докучливого спутника, мужик нанес ей удар, и – вообразите его удивление и радость – когда от малейшего прикосновения кнута конь разлетелся вдребезги и превратился в грудку серебряных и золотых монет.*

В данном контексте лексемы *лошадь* и *конь* синонимичны и репрезентируют одно и то же народное представление о данном животном как источнике богатства и достатка.

Такой же смысл выявлен при анализе доминантного имени *баран* в калужских фольклорных текстах, например:

*Хозяин взял барана да принес его опять в горницу и говорит: «Баран, а баран, рассыпья!» Баран рассыпался весь в деньги («Сказка о старике и о Ветре»).*

Таким образом, общей особенностью языковой репрезентации контекстов, включающих наименования животных, в прозаических текстах Архангельского и Калужского фольклора является то, что данные лексемы достаточно редко употребляются в утилитарном, практическом смысле. Исключение составляет лексема *корова* в рассмотренных текстах Калужского фольклора.

Анализ Калужских текстов позволяет также сделать вывод о том, что в народном сознании животные (как правило, домашние) ассоциативно и символически связаны с богатством, достатком, с одной стороны, и с нечистой силой – с другой.

Кроме того, в Калужском фольклоре содержится народное представление о наделении домашних животных сакральными функциями, в том числе функциями борьбы с нечистой силой.

Специфической особенностью наименований животных в Архангельском фольклоре является сопоставление животных, в частности, коня, с мифологическими существами, представление данного животного как уникального, наделенного исключительными свойствами и способностями высокого героя.

Таким образом, доминантный анализ фольклорной лексики позволяет не только определить предмет исследования, но и выявить общие лексические и семантические взаимосвязи, отражающие в рамках фольклорного повествования основные ценности данной культуры, вокруг которых выстраивается вся система представлений народа о мире. Кроме того, сопоставление результатов анализа языка фольклорных текстов разных территорий позволяет выявлять как общие особенности употребления тех или иных лексем, так и специфические, этнически маркированные культурные смыслы, стоящие за словом.

## Библиография

- Озаровская О.Э., 2000, *Пятиречье*, Санкт-Петербург: Тропа Троянова.  
*Фольклор Калужской губернии в записях и публикациях XIX – начала XX века*, 1997, вып. II.  
// Сборник. сост., подгот. текста, предисл. и примеч. к разделам Н.М. Ведерниковой, при участии С.Е.Никитиной, Москва: Институт Наследия.  
Хроленко А.Т., 2000, *Этнолингвистика: понятия, проблемы, методы*, Славянск-на-Кубани.

## Summary

### ETHNOLINGUISTIC ANALYSIS OF ANIMAL NAMES IN THE PROSAIC FOLKLORE TEXTS OF THE PROVINCES OF ARKHANGELSK AND KALUGA

This report presents the descriptions of animal names from the standpoint of Russian ethnolinguistics and lingvo-folkloristics. The analysis is based on the central Russian texts and folklore of the northern prose (usually fairy tales), written at the turn of the 19th and early 20th centuries in the provinces of Arkhangelsk and Kaluga. The territorial specificity of the linguistic contexts of texts containing names of animals is discussed.

**Joanna Orzechowska**

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## ЧЕБУРАШКА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ КОММЕНТАРИИ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ

**Key words:** linguistic culturology, linguo-culturological commentary, linguo-cultureme, Cheburashka

На уроках русского языка как иностранного все чаще и чаще обращается внимание на то, что язык является не только средством общения, но и собирателем и хранителем культуры, носителем культурных ценностей, которые передаются из поколения в поколение, без знания и понимания которых невозможно полноценное общение.

В языковом сознании каждого народа функционируют слова и образы, объединяющие народ, носителей одного языка в одно культурное пространство. В них запечатлены знания народа о самом себе и об окружающей природе. Такие знания, скрытые в семантике слова, лингвисты называют фоновыми знаниями. Эти слова и образы чужды и непонятны носителям других языков и представителям других культур [Воробьев 2006, 23–24].

Задача преподавателя русского языка как иностранного состоит в том, чтобы помочь увидеть, понять и научиться употреблять в речи слова с фоновыми знаниями, чтобы, то что очевидно русскому стало очевидно представителю другой нации, изучающему русский язык. Именно в этом состоит цель глубоко-смыслового усвоения русского языка на основе методики прикладной лингвокультурологии, развивающейся в русле и продолжающей традиции лингвострановедения [Синячкин и др. 2008, 4]. Без понимания культурного фона учащимся не понять современных публицистических текстов, произведений художественной и популярной литературы, текстов песен и анекдотов, высказываний на интернет-форумах, диалогов героев фильмов, зарубежных туристов.

К словам, которые, помимо явного лексического значения, содержат еще и национально-культурный компонент (внеязыковой культурный смысл) зачисляются безэквивалентные слова и устойчивые выражения, диалектизмы и регионализмы,

названия этнографических реалий, предметов быта, артефакты и знаки национальной культуры, названия праздников, природных явлений, примет, названия реалий, отражающих административно-территориальное устройство, топонимы и микропонимы, историзмы, названия исторических событий, все типы и виды антропонимов, мифонимы, обозначения явлений религиозной культуры, термины родства и других форм межличностных отношений, слова, выражения и готовые формулы русского речевого этикета, фразеологизмы, образные выражения, поговорки и пословицы, прецедентные феномены, слова, репрезентирующие концепты русской и мировой культуры и др. [Новикова 2009, 118].

Единицы языка с национально-культурным компонентом значения принято называть лингвокультуремами. Данный термин был введен основателем одного из направлений в изучении взаимодействия языка и культуры – лингвокультурологии – профессором Российского университета дружбы народов (РУДН) В.В. Воробьевым [Воробьев 2006, 19]. В его понимании, лингвокультурема – это единица описания взаимосвязи языка и культуры, выделяемая с целью использования ее в лингвострановедческой методике; в первую очередь, в преподавании русского языка как иностранного [Синячкин и др. 2008, 19]: В отличие от слова и лексико-семантического варианта (ЛСВ) как собственно языковых единиц, лингвокультурема включает в себя сегменты не только языка (языкового значения), но и культуры (внеязыкового культурного смысла), репрезентируемые соответствующим знаком [Воробьев 2006, 44].

Формально лингвокультуремой можно назвать как слово, так и словосочетание, предложение, пословицу, крылатое выражение, и даже большие фрагменты литературных текстов вплоть до целых художественных произведений [Воробьев 2006, 53–56]. Их присвоение позволяет на приобщение личности к культуре народа, понимание культуры и функционирование в ее концептосфере.

В процессе преподавания иностранного языка лингвокультуремы используются в роли тех языковых единиц, которые служат сигналами для введения добавочного комментария. Описание функционирования лингвокультуремы раскрывает кусок «картины мира», выявляет различия в языках и культурах, открывает причины взаимного непонимания носителей разных языков и культур [Воробьев 2006, 34].

Лингвокультуремами являются имена героев сказок, которые прочно вошли в культуру в виде прецедентных феноменов, и в настоящее время используются в языке как символы, образы, названия учреждений [Orzechowska 2014, 102–115].

К таким прецедентным феноменам принадлежит Чебурашка. Трудно перевести и объяснить польскому студенту высказывание из Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ): Стоит такая чебурашка у лифта и, когда двери закрываются, кланяется тем, кто уезжает вверх (Анатолий Эфрос. Профессия: режиссер (1975–1987), НКРЯ). В данном случае, для понимания недостаточным является перевод на польский язык – *Kiwaczek* или *Czeburaszek*. Недостаточно прочитать сказку или посмотреть фильм. Недоумение вызывает написание имени героя строчной буквой. Единственным способом объяснения функционирования данной лингвокультуремы

в русском языке и культуре является лингвокультурологический комментарий. Структура комментария разрабатывалась на основе модели описания предложенной В.В. Воробевым [2006] и была применена для лингвокультурем медведь и Колобок [Orzechowska 2013, Orzechowska 2014].

То, как функционирует в русском языковом сознании лингвокультурема Чебурашка, не в состоянии раскрыть словарь «Россия, Большой лингвострановедческий словарь», вышедший в 2007 году, но не учитывающий семантики, сигматики, прагматики и синтактики в единстве. Поэтому словарная статья сосредотачивающаяся на сигматике, не учитывает языковых ассоциаций:

Слово Чебурашка зафиксировано Словарем В.И. Даля (...) в значении «куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги». Второе рождение слова и образа Чебурашки связано с книгой Успенского «Крокодил Гена и его друзья» (1966 г.). Произведение не пользовалось особенной популярностью, пока на него не обратил внимания режиссер анимационного кино Р.А. Качанов. В результате совместной работы Успенского, Качалова и художника Л.А. Шварцмана в 1969–1983 гг. на киностудии «Союзмультфильм» был создан сериал анимационных фильмов: «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу». Все фильмы представляют собой забавные истории о том, как друзья помогают друг другу решать любые проблемы. После выхода на экран первого фильма Чебурашка и его друзья стали пользоваться огромной популярностью. Этих героев и сегодня любят зрители всех возрастов. Чебурашка стал одной из любимых детских игрушек не только в России, но и за ее пределами. Стала также очень популярной песенка крокодила Гены (музыка В.Я. Шаинского, слова А.П. Тимофеевского) из фильма «Чебурашка». В ней поется о дне рождения, который, к сожалению, бывает «только раз в году» (см. «Пусть бегут неуклюже ... • \*»). Чебурашка был официальным талисманом команды России на Олимпийских играх в Афинах в 2004 г. [613–614].

Семантику лингвокультуремы объясняет сам автор книги «Крокодил Гена и его друзья» (1966) Эдуард Успенский: *Я пришел в гости к другу, а его маленькая дочка примеряла пушистую шубу, которая тащилась по полу. Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу. И ее отец после очередного падения воскликнул: «Ой, опять чебурахнулась!» Это слово врезалось мне в память, я спросил каково его значение. Оказалось, что «чебурахнуться» – это значит «упасть». Так и появилось имя моего героя* [Велигжанова/ Костенко 2011]. В словаре С.И. Ожегова, изданном во время «рождения» Чебурашки, помещены слова чебурахнуть, чебурахнуться, которые обозначают ‘бросить с шумом’, ‘упасть с шумом’ [Ожегов 1968, 864]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля чебурахнуть толкуется как ‘бросить, кинуть, опрокинуть с громом, грохнуть, шлепнуть’, приводится также имя существительное чебурашка с двумя значениями: 1) ‘шашка бурлацкой лямки, привешенная на хвосте; она захлестывается для тяги за подачу (на судне), или за бечеву (на берегу)’ 2) ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги [Даль 1909, 1296].

Сигматика, прагматика и синтактика комментария образуют единство. Сигматика, т.е. внешний вид сказочного героя, его приключения, характер, желанная порождают ассоциации в сознания русских, что и отражается в языковом материале.

В 1968 году Чебурашка стал героем мультфильма Р. Качанова, снятого по мотивам сказки «Крокодил Гена и его друзья». Образ героя создал художник-постановщик мультлика – Леонид Шварцман. Чебурашка по внешнему виду – это существо, характеризующиеся большими ушами и глазами, коричневой шерстью. Он ходит на двух лапах. Эдуард Успенский так характеризует Чебурашку: «Его сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат» [Велигжанова/ Костенко 2011].

**Лопухость, торчащие большие уши** стали характерным, неотъемлемым признаком Чебурашки, его атрибутом, который стал темой анекдотов:

- 1) – Чебурашка, слышишь, что я говорю?  
– Гена, ну ты посмотри на меня, конечно слышу...
- 2) Чебурашка вернулся из армии. Крокодил Гена спрашивает его: – Ну что, Чебурашка, кем служил? – Радаром.
- 3) – Почему Чебурашка не может быть новым русским? – Потому что у него сотовый телефон в ухо проваливается...

Именем героя стали называть другие «лопухие существа» (например: игрушки с большими ушами), людей, предметы. Прозвание Чебурашка получили «ушастые» самолеты, имеющие характерные расположение двигателей, большие мониторные наушники, популярные в СССР телевизионные антенны, которые состояли из двух колец, соединенных пластиной, или американский танк Т29 с огромной башней с выступающими по бокам бронечехлами оптического дальномера (в компьютерной игре).

В 2002 году популярными стали, так называемые «Чебуран-пати» или молчанки. Моду на них ввел Тимофей Сводник – известный в Москве диск-жокей. Любители Чебурашки стали встречаться в клубах под лозунгом «У нас ест уши». Большие уши являются символом любви к музыке и внимания к внешнему миру.

Доверчивый Чебурашка стал **символом жалкого, беспомощного, не очень умного существа**. Поэтому чебурашкой можно назвать детей, недалеких взрослых, или тупиковые ситуации: У нас ведь мероприятие для школьного возраста, так и в билете написано. Ну что там чебурашка дошкольный поймет? (Рустам Арифджанов. *Вот ведь, елки-палки!*, Столица, 28.10.1997, НКРЯ).

В языке функционирует выражение, ставшее идиоматичным – наивный Чебурашка. В ироническом детективе Дарьи Донцовой *Концерт для Колобка с оркестром* одна из героинь заявляет:

– Все хорошее имеет обратную сторону, – вздохнула Аня, – вот купила я новую квартиру, без отделки, теперь начала ремонт. Думала, наивная Чебурашка, что смогу жить при этом там же – ну, рабочие в одной комнате возятся, в другой моя раскладушка стоит. Ан нет, находиться в доме просто невыносимо: шум, запах, сырость. Ума не приложу куда деваться [2006, 10].

Такое же выражение употреблено и в детективе *Безумная кепка Мономаха*: «Я, наивная Чебурашка, предполагала, что никакой беды от Интернета не будет» [Донцова 2007, 165].

Образ сказочного героя использован в шутливой поговорке *ловить чебурашек в кустах*, обозначающей состояние сильного алкогольного опьянения.

Чебурашка в сознании русских ассоциируется с **детством, беззаботным временем в жизни**. В песне *Прощай чебурашка* вокально-инструментального ансамбля Хаги Траггер звучит: «Детство прошло. Прощай чебурашка!»

В Москве ежегодно с 2003 года в августе имеет место благотворительная акция посвящена детям-сиротам *День рождения Чебурашки*. В связи с данной акцией Э. Успенский в 2005 году объявил Днем рождения зверька 20 августа.

С другой стороны, образ Чебурашки в современной культуре подвергается многим трансформациям, что свидетельствует о его жизненности, пластичности, большом культурном потенциале. Чебурашка, как объект культуры участвует в социальных событиях, что отражается в динамике его образа, те, в свою очередь порождают динамические процессы в языке. В 2003 году художники Андрей Кузнецов и Максим Покалев создали проект *Чебурген* в результате которого собрали больше двухсот работ и фотографий, изображающих героев из мультфильмов через призму пародии и юмора. В цикле работ А. Кузнецова *Чебураки*, Чебурашка и Крокодил Гена стилизованы под героев популярного фильма *Матрица* или *Звёздных войн*. Одна из картин художника представляет Чебурашку как Кинг-Конга. В других работах художники также не смилостивились над Чебурашкой. Названия картин Андрея Баландина говорят сами за себя: *Чебурашка-Трансвестит (Паттайский Чебурашка)* (2011), *Предсмертный КРИК Чебурашки* (2010).

В поп-культуре возникло изображение Чебуратора, который является смесью Чебурашки и Терминатора (Терминатор с большими ушами). Несколько лет тому назад появился пародийный образ Че Бурашки – ответ на моду Че Гевары. Че Бурашка – это классический Чебурашка, который имеет берет со звездой, а иногда автомат Калашникова.

Популярный имидж героя использовали компьютерщики. В начале XX-го века вышло на рынок 7 игр с Чебурашкой.

Чебурашка, ищущий в сказке друзей, ассоциируется русским с **дружбой**. Благодаря этой символике игрушка стала талисманом русской Олимпийской сборной на летние Олимпийские Игры в 2004 году в Афинах. Два года спустя, на зимнюю Олимпиаду выбрали также Чебурашку, но его мех стал белым. На Олимпиаду в Пекине в 2008 Чебурашка был красного цвета, а в 2010 – голубого. Выбор героя на игрушку русской сборной аргументировали тем, что Чебурашка похож на предыдущий талисман России – медвежонка Мишку, который болел за сборную в 1980 году, во время Олимпиады в Москве. Чебурашка «участвовал» также в Олимпиаде в Сочи в 2014 году, но уже не как талисман сборной, а как герой работ Василия Слонова – художника, автора выставки под заглавием *Welcome! Sochi 2014*. Чебурашка представлен как гигантский монстр. На картине *Чебурашка-людоед*

показан огромный Чебурашка-мутант, вылезавший из-за сугроба, и поднимающий свои огромные мутантные лапы, чтобы схватить и сожрать спортсмена-лыжника. Надпись на английском гласит: «Welcome! Sochi-2014!»

Положительные черты зверька попытались использовать политики. Изображение Чебурашки сопровождало выборы в 2011 году. Тогда появились наклейки с героем, который был одет в красную футболку с белой лентой с надписью: «За честные выборы». Журналист «Радио Свобода» спросил создателя персонажа, почему этот образ был выбран активистами, на что Э. Успенский сказал: «Они считают, что Чебурашка молодец. Я тоже так считаю. Он такой крепкий, нормальный полубизнесмен современный. Он делает всякие дела, дом строит, решает проблемы с коррупционными чиновниками» [Байдакова 2011].

Мягкие игрушки вызывают ассоциации с **искусственным мехом**. Чебурашка дождался наименования одежды из искусственного меха, плохого качества от своего имени: «чебурашкин мех» или «чебурашка натуральный». Данное выражение содержит явно оценочный компонент («Я чебурашкин мех не ношу!», «чебурашкин мех, но очень приятный!»).

Имя Чебурашка стало частью многих эргонимов: зоопарков, детских садов, магазинов, ресторанов, кукольных театров, и т.д. В Москве находится музей героя, а многие памятники Чебурашке являются достопримечательностью парков в России (города Раменское или Хабаровск) и на Украине (Донецк, Харьков, Запорожье).

Предложенный лингвокультурологический комментарий, в единстве семантики, сигматики, прагматики и синтактики подготовит учащихся русскому языку к пониманию текстов с лингвокультуремой Чебурашка. Комментарий знакомит с фоновыми знаниями, а также их динамикой, что позволяет освоить культуру русского лингвоэтнического сообщества.

## Библиография

- Байдакова А., 2011, *Чебурашка за честные выборы*, Радио свобода, 23.12.2011.
- Велигжанова А./ Костенко А., 2011, *Почему у Чебурашки большие уши и нет хвоста*, Комсомольская правда в Украине, 29.07.2011.
- Воробьев В.В., 2006, *Лингвокультурология*, Москва: Издательство Российского университета дружбы народов.
- Даль В.И., 1909, *Толковый словарь живого великорусского языка*, Т. 4. Санкт-Петербург–Москва.
- Донцова Д., 2006, *Концерт для Колобка с оркестром*, Москва: Эксмо.
- Донцова Д., 2007, *Безумная кепка Мономаха*, Москва: Эксмо.
- Иванищева О.Н., 2007, *Язык и культура: учебное пособие*, Мурманск.
- Новикова Т.Ф. 2009, *Слова с национально-культурным компонентом значения на уроке русского языка // Современные проблемы глоттодидактики: сборник статей*, Rzeszów, 117–123.
- Ожегов С.И., 1968, *Словарь русского языка*, Москва: Советская энциклопедия.
- Россия. *Большой лингвострановедческий словарь*, 2007, ред. Прохоров Ю.Е., Москва: АСТ-ПРЕСС.



- Синячкин В.П./ Брагина М.А./ Дронов В.В./ Красс Н.А./ Тарасов Е.Ф., 2008, *Лингвокультурологические аспекты формирования языкового сознания иностранных студентов в процессе изучения русского языка*, ред. Филиппов В.М., Москва: РУДН.
- Orzechowska J., 2013, *Лингвокультурологический объект МЕДВЕДЬ в русском языке*, Acta Polono-Ruthenica, XVIII, 197–206.
- Orzechowska J., 2014, *Rola i struktura komentarza lingwokulturowego (na przykładzie Kolobka)*, Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego, nr 2(7), 102–115.

### Summary

#### CHEBURASHKA EXPLAINED IN LINGUO-CULTUROLOGICAL COMMENTARY DURING THE CLASSES OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

This article presents linguo-culturological commentary based on Vorobyev's semiotic description model of linguo-culturological objects. The commentary explains the notion of Cheburashka linguo-cultureme. An appropriate choice of texts for each fragment of the commentary allowed us to discover multi-plane semantics of the linguo-cultureme and its function in the modern Russian culture and language. Linguo-culturological commentary seems to be the best tool to explain phenomena characteristic for one culture to the representatives of other cultures.



**Светлана Смирнова**

Гуманитарный институт  
Северный Арктический федеральный  
университет имени М.В. Ломоносова

## СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ЛЕКСИКИ

**Key words:** Russian, church vocabulary, sociolinguistic aspect, questionnaire

В последние годы в области социолингвистики изучается использование различного класса слов носителями языка, при этом активно обсуждаемым остается вопрос о методах и приемах анализа языкового материала в названном аспекте. В предлагаемой статье обратимся к личному опыту в этой области и охарактеризуем методы социолингвистического описания церковной лексики, представим данные, полученные в результате научного изыскания.

В нашем исследовании в качестве ведущего избирается метод социолингвистического эксперимента, который должен обеспечить решение ключевого вопроса: как молодое поколение россиян, проживающих на территории Архангельской области, интерпретирует церковную лексику. Для организации и проведения эксперимента необходимо (1) определить критерии отбора респондентов, (2) разработать материалы для интерпретации и (3) проанализировать полученные реакции. Далее последовательно рассмотрим решение каждой задачи.

В качестве респондентов привлекались лица в возрасте от 17 до 35 лет, составляющие группу «нецерковное население»: студенты, преподаватели и служащие двух институтов Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова, т.е. молодые жители Архангельской области Российской Федерации. Для данного возрастного периода, соответствующего этапам «юность» и «взрослость», актуальными, по мнению российских педагогов и психологов, являются следующие признаки: отмечается подъем физической и интеллектуальной активности на качественно новый уровень, наблюдается «освоение новых социальных ролей», вырабатывается «собственный» стиль жизни, формируется свободное отношение к религии [см. об этом, напр. Абрамова 2006].

Объектом научного изыскания, как уже отмечалось выше, послужили единицы сферы «Церковь», которые в советское время из-за господства в России атеистической идеологии в плане употребления подлежали запрету и находились в пассивном лексическом фонде русского языка, о чем свидетельствует помета «устаревшее» в толковых словарях этого периода. Общественно-политические и культурные события, произошедшие в России в конце XX века, которые в средствах массовой информации квалифицировались как «духовное возрождение», «православный ренессанс» и под., способствовали возрождению в стране религиозной жизни и активизации функционирования религиозно-церковной лексики в речи носителей русского языка. Сложившаяся языковая ситуация способствовала появлению монографий, диссертационных сочинений, статей, в которых ранее «мертвые» для русистов лексические единицы стали привлекаться в качестве объекта научного изучения (И.В. Бугаева, С.В. Булавина, Р.И. Горюшина, И.А. Королева, И.А. Крылова, Н.Б. Мечковская, Ю.В. Митина, Ю.Н. Михайлова, М.Е. Петухова, М.В. Слаутина, К.А. Тимофеев, Г.А. Толстова и др.).

Изучение работ указанных авторов позволяет нам говорить о двух подходах в осмыслении термина «церковная лексика» (подробный анализ разных точек представлен нами в [Смирнова 2014]). При первом понимании единицы церковной сферы рассматриваются как составляющая часть религиозной лексики, при втором – как особая группа слов в системе русского языка, призванная отражать обрядовую, ритуальную сторону религии. Кроме того, у лингвистов нет единого мнения и при классификации слов церковной сферы, так как исследователи выделяют разное количество тематических групп, дают тематическим группам различные названия. Отсутствие единого мнения можно объяснить, во-первых, сложностью самого объекта научного изыскания; во-вторых, степенью осмысления объема и содержания понятия «церковь»; в-третьих, материалом, привлекаемым к анализу (общерелигиозная лексика, общехристианская лексика, частная христианская лексика); в-четвертых, источниками материала (толковые словари (исторические, современные), художественные тексты, живая речь и др.); в-пятых, уровнем знакомства лингвиста с религиозными и богословскими работами, святоотеческими трудами и др.

В моих публикациях отмечается, что характеристика религиозной и церковной лексики может осуществляться с опорой на православное понимание мироустройства. Православная Церковь, согласно идеям С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева, П.А. Флоренского и других русских религиозных мыслителей, представляет собой Церковь торжествующую, небесную и Церковь воинствующую, земную. Глава церкви – Всевышний. Торжествующую Церковь, не видимую человеком, представляют высшие духовные существа: Богородица, чины бесплотных, святые Божии (пророки, апостолы, святители, мученики, исповедники, преподобные, Христа ради юродивые). Воинствующая Церковь – это «видимый общественный орган», открытый только верующему человеку. По мысли А.С. Хомякова, «Церковь же видимая не есть видимое общество христиан, но Дух Божий и благодать таинств,

живущих в обществе. Посему и видимая церковь видима только верующему, ибо для неверующего таинство есть только обряд, и Церковь только общество» [цит. по Сабиров 2004, 83]. Единицы, которые соотносятся со сферой «Религия», отражают явления и реалии торжествующей Церкви и представляют собой религиозную лексику (в узком понимании); единицы, «обслуживающие» воинствующую Церковь, относятся к сфере «Церковь» и могут квалифицироваться как церковная лексика.

Таким образом, сферу «Церковь» верифицируют языковые единицы, которые характеризуют богослужение и его части, церковные обряды и таинства, именуют лиц, непосредственно участвующих в этих обрядах (имеющих право совершать эти обряды и соучаствующих в таинствах), называют места, где совершаются обряды и таинства, предметы, используемые в этих обрядах, а также церковные книги и праздники.

Из этого фонда церковной лексики для социолингвистического эксперимента были отобраны 15 стимулов в соответствии со следующими критериями.

Во-первых, для речевых реакций избирались языковые единицы, относящиеся к разным тематическим группам (далее ТГ): «Название церковных сооружений» – *храм, церковь, часовня*; «Наименования внутреннего и внешнего устройства храма» – *паперть, соля, амвон*; «Наименования церковных обрядов» – *треба, соборование, евхаристия*; «Наименование книг церковного содержания» – *триодь, часослов, минея*; «Наименования религиозных праздников» – *Прощеное воскресенье, Вербное воскресенье, Светлое Христово воскресенье*.

Во-вторых, слова-стимулы первой ТГ называют церковные сооружения, расположенные на территории Архангельской области, т.е. хорошо знакомые молодым россиянам; стимулы пятой ТГ именуют церковные праздники, которые отмечались в период проведения эксперимента.

В-третьих, с точки зрения современного русского языка 12 стимулов являются непроемными, т.е. не отражают «живые» словообразовательные связи и, соответственно, не позволяют респондентам объяснять церковные слова с опорой на их внутреннюю форму (исключение: *Христово* ← *Христос, воскресенье* ← *воскреснуть, соборование* ← *соборовать, вербное* ← *верба, прощенное* ← *простить*).

Среди методов сбора материала мы остановили свой выбор на сплошном анкетировании, которое предусматривает опрос всей генеральной совокупности изучаемых лиц, при этом респондент отвечает на вопросы анкеты в присутствии руководителя эксперимента. Аргументировать свой выбор мы можем следующими фактами. Во-первых, из всех методов сбора материала, как отмечают социолингвисты, анкетирование признается самым надежным. Во-вторых, анкетирование требует гораздо меньше времени на проведение исследования, чем остальные методы. В нашем случае респонденты заполняли анкеты одновременно, что позволило существенно снизить трудозатраты на получение информации по сравнению, например, с устным интервью каждого информанта. В-третьих, благодаря анкетированию все участники эксперимента находились в равных условиях.

Информантам предлагалось заполнить две анкеты. Цель первой анкеты – собрать информацию об участниках эксперимента и представить социальный портрет респондентов; цель второй – получить лингвистические сведения относительно единиц церковной лексики. Отметим, что при составлении вопросов первой анкеты мы опирались на имеющийся опыт социолингвистических работ, в которых отмечается, что на степень освоения единиц сферы «Церковь» могут влиять такие параметры, как пол, возраст, уровень образования, отношение к религии и вероисповеданию (см. научные сочинения И.А. Королевой, Ю.В. Лапатухиной, А.Ю. Романова).

Лингвистическая часть анкеты организуется социолингвистами по-разному: (1) предлагаются слова-стимулы, к которым просят привести ассоциации; (2) даются слова, словосочетания и др., значение которых предполагает пояснение; (3) формулируются конкретные вопросы свободной (ответы не задаются экспериментатором) и заданной формы (ответы прилагаются к вопросу). Формулировка нашей анкеты выглядела следующим образом: *Кратко поясните, как вы понимаете значение следующих слов* (далее приводился перечень 15 стимулов).

Одной из проблем, которая встает перед исследователями, является проблема отбора методов для оценки достоверности полученных данных. При анализе реакций мы опирались на лексикографические толкования. На данном этапе работы нужно было определить, какие из современных словарных источников наиболее адекватно отражают лексику с церковной семантикой и, соответственно, могут служить основанием для интерпретации полученных результатов. При ответе на этот вопрос мы опирались на положения диссертационного сочинения Ю.Н. Михайловой, в котором предпринимается попытка «систематизировать толковые словари, отражающие семантическую сферу религиозного, по типу дискурса и образу адресата» [Михайлова 2004, 6]. В соответствии с предложенным основанием современные толковые словари русского языка исследователь классифицирует на 4 группы: (1) словари, обслуживающие религиозный дискурс и ориентированные на адресата с православным мировоззрением – *Полный церковно-славянский словарь* Г. Дьяченко; (2) специальные словари, отражающие светский дискурс и рассчитанные на адресата с воинствующим атеистическим мировоззрением – *Карманный словарь атеиста* (ред. М.П. Новиков); (3) словари, относящиеся к светскому дискурсу и адресованные читателю с формирующимся атеистическим сознанием – толковые словари русского языка, изданные в советский период; (4) словари, обслуживающие светский дискурс и ориентированные на «адресата с формирующимся свободным отношением к религии» – *Толковый словарь русского языка XX века. Языковые изменения и Словарь православной церковной культуры* Г.Н. Скляревской [Михайлова 2004, 7]. В нашем исследовании интерпретации, полученные на стимулы, сравнивались с данными лексикографических изданий последней группы, которые в данном случае выступали в качестве так называемой «лакмусовой бумажки». Далее рассмотрим особенности речевых реакций молодого поколения Архангельской области, охарактеризуем основные типы (категории) интерпретаций.

В анкетах участников эксперимента лексемы *храм* и *церковь* определяются так: «*священное место*», «*место, где человек может побыть наедине с Богом*». Приведенные реакции иллюстрируют категорию «Личный жизненный опыт», так как при объяснении значений слов-стимулов респонденты пытались осмыслить предмет действительности, при этом они опирались на фоновые и собственные жизненные знания. Некоторые информанты, объясняя слова *храм* и *часовня*, отмечали размер помещений («*большое церковное сооружение*», «*маленькое здание*», «*церковь в уменьшенном размере*»); данные реакции соотносятся с категорией «Параметры», так как представляют собой мысленное воспроизведение зрительного образа. В ответах «*находится в городе, деревне*» и «*находится в крупных городах*», «*здание на кладбище*», зафиксированных на лексемы *церковь* и *часовня*, подчеркивается место нахождения церковных помещений, что соответствует реакциям группы «Локус». Толкования «*место служения Богу*» и «*где проходят молитвы и службы*» наименования *храм* включают указание на предназначение церковного сооружения и составляют, на наш взгляд, категорию «Функциональное назначение». Эту категорию иллюстрируют и реакции «*место, где можно помолиться и поставить свечи на упокоение умерших*», «*место, где крестят*», «*место, где можно исповедаться*» на стимул *церковь* и «*здание для молитвы*» на слово *часовня*. Кроме того, имя существительное *часовня* определяется и как «*церковное здание, где нет алтаря*», что соответствует группе «Дефиниции», так как в этой реакции называется главный признак церковного сооружения, отмеченный в словарном толковании: *часовня* – «*небольшая постройка для общественной молитвы с иконами, чаще всего без алтаря*» [Скляревская 2008, 408]. Думаем, что эти реакции можно отнести также к группе «Внутреннее устройство». Некоторые респонденты считают тождественными наименования *храм* и *церковь*, о чем свидетельствуют реакции «=*церковь*», «*то же, что и церковь*» на слово *храм*; приведенные ответы, с одной стороны, соответствуют категории «Явление синонимии», а с другой – группе «Дефиниции» (ср.: *церковь* – «*православный храм*» [Скляревская 2008, 407]). Встретились единичные пояснения «*мощная структура, которая пытается управлять людьми*» и «*деяние рук человека, оно не связано с верой*» на стимул *церковь* и «*унылое (печальное) здание на кладбище*» на лексему *часовня*, которые составляют реакции категории «Эмоционально-оценочные ответы», т.к. полученные высказывания отражают личное мнение участника эксперимента, представляющее собой или эмоциональное восприятие предмета, или его субъективную оценку.

У респондентов возникли сложности при определении стимулов ТГ «Наименование внутреннего и внешнего устройства храма» и «Наименования книг церковного содержания». Лексема *паперть* объясняется ими как «*место, где бедные люди просят милостыню*», «*место, где стоят нищие*» (группа «Личный жизненный опыт») и как «*крыльцо церкви*», «*вход в храм*» (группа «Внешнее устройство»). Пояснения «*место в церкви*» и «*возвышение (перед иконостасом)*» имени существительного *солея* характеризуют категорию «Внутреннее устройство». В лексикографических источниках слово *солея* определяется как «*возвышенная часть пола*

перед иконостасом» [Скляревская 2008, 336], что не соответствует полученным реакциям «*церковное чтение молитвы*», «*церковный атрибут*» и «*предмет одежды*» (категория «Ошибочное понимание»). В словарях имя *амвон* определяется так: «центральная часть солеи, расположенная напротив царских врат и служащая местом для чтения Евангелия, произнесения проповедей и т.п.» [Скляревская 2008, 25]. Интерпретации этого имени респондентами «*место внутри церкви*» и «*внутренняя часть храма*» соответствуют категории «Внутреннее устройство», а пояснения «*церковный обряд*», «*сосуд*», «*ароматическое средство*» являются неправильными (категория «Ошибочное понимание»). Толкование «*слово, написанное с ошибкой*» лексемы *солея* можно отнести к категории «Корректирование респондента», так как оно отражает поисковую активность участника эксперимента, его восприятие слова-стимула. Реакции на лексемы *триодь* («*чего-то три*»), *часослов* («*дядя с часами*», «*тот, кто с часами*») соответствуют категориям «Внутренняя форма слова» и «Ошибочное понимание». Наименования *триодь* и *часослов* респонденты определяют как «*книга*», «*священная книга*», «*церковная книга*», что соответствует категории «Родо-видовые отношения слов», так как в данном случае слова-стимулы выступают в роли гипонимов и раскрывают гиперонимы-реакции. Следует отметить, что в большинстве анкет напротив лексем ТГ «Наименования книг церковного содержания» частотным был ответ «*не знаю*».

В анкетах фиксировались редкие ответы на имена существительные ТГ «Наименования церковных обрядов». Субстантив *треба* объясняется как «*требование, которое нужно выполнить*»; в данном случае респондент пытается охарактеризовать единицу через внутреннюю форму, однако пояснение является ложным, так как *требы* – «богослужения, не входящие в суточный богослужебный круг и совершаемые по их необходимости («по требованию»)» [Скляревская 2008, 382]. Полагаем, что приведенную реакцию можно квалифицировать двояко: «Ошибочное понимание» и «Внутренняя форма слова». Ответы *треба* – это «*определенное место*», «*часть сооружения*», *евхаристия* – «*имя женщины*» также не соответствуют действительности (группа «Ошибочное понимание»). Интерпретация «*принятие святых тайн*» на существительное *евхаристия* синонимична слову *причащение*, следовательно, она иллюстрирует категорию «Явление синонимии». Толкования «*что-то связанное с соборами*», «*строение соборов, сбор денег на строительство*», «*рост соборов*» стимула *соборование* представляют собой попытку респондентов объяснить слово через его внутреннюю форму, в связи с этим мы относим их к категориям «Внутренняя форма слова» и «Ошибочное понимание» (ср.: *соборование* – «= елеосвещение» [Скляревская 2008, 366]). В ходе эксперимента некоторые участники самостоятельно трансформировали стимулы: имя существительное *миня* заменили составным наименованием *четыре минеи*, лексему *евхаристия* ввели в словосочетание *наложить евхаристию*. Подобные реакции характерны для категории «Корректирование респондента».

Большинство респондентов единицы ТГ «Наименование религиозных праздников» объясняют как «*церковный праздник*», что соответствует категории «Родо-



-видовые отношения». Стимул *Прощеное воскресенье* определяется как «христианский праздник, в который принято просить прощение за грехи», как «церковный праздник, во время которого принято всех прощать», которые соответствуют категориям «Внутренняя форма слова», «Дефиниции» и «Личный жизненный опыт» (ср. *Прощеное воскресенье* – «последнее воскресенье перед Великим постом, когда все верующие (священнослужители и миряне) просят друг у друга прощение» [Скляревская 2008, 323]. Категорию «Темпоральность» иллюстрируют реакции «конец масленицы, начало поста», «последнее воскресенье перед Великим постом», «последнее воскресенье зимы и ее проводов», поскольку в них указывается конкретный временной период этого праздника.

Составное наименование *Вербное воскресенье* интерпретируется как «вход Господа в Иерусалим» (группа «Дефиниции»: *Вербное воскресенье* – «= Ваий неделя; вход Господень в Иерусалим» [Скляревская 2008, 88]). *Вербное воскресенье* поясняется и как «ясный день, когда люди собирают вербу и ставят в вазу перед иконой», «дарят вербы, освещают их», «христианский весенний праздник, когда в дом приносят веточки вербы в качестве оберега». Приведенные интерпретации можно отнести к категориям «Внутренняя форма слова», «Личный жизненный опыт», так как респондент, с одной стороны, отмечает главный предмет, связанный с этим праздником, с другой – при пояснении значения высказывает собственные жизненные наблюдения/ знания. Ответ «Пасха» является неправильным (категория «Ошибочное понимание»).

Самое большое количество правильных реакций на стимул *Светлое Христово Воскресение* соответствовало одному слову – «Пасха», что характеризует категории «Дефиниции» и «Явление синонимии». Один участник данный стимул определил как «самый торжественный, радостный христианский праздник». Эта реакция соотносится с категорией «Эмоционально-оценочные ответы», поскольку включает слова, являющиеся оценкой стимула. В нескольких анкетах на *Светлое Христово Воскресение* фиксируется молитвенный возглас «Христос Воскрес, Воистину Воскрес»; данная реакция иллюстрирует группу «Прецедентный текст», так как эти слова произносятся в главный православный праздник.

Подведем итоги нашего исследования, основным методом которого является социолингвистический эксперимент, этапы которого можно обозначить следующим образом: (1) подготовка к проведению – определение группы респондентов, разработка материалов, (2) непосредственно эксперимент – собственно анкетирование, (3) обработка результатов. Последний этап осуществляется на основе сопоставления реакций респондентов с данными *Словаря православной церковной культуры* Г.Н. Скляревской – одного из авторитетных изданий, в котором «лексика православия впервые представлена и описана не только как принадлежность замкнутой (церковной) сферы употребления, но главным образом как составная часть современного русского языка» [Скляревская 2008, 6].

При анализе реакций участников эксперимента нами выделяется 15 категорий, которым мы даем свои названия с опорой на ключевые данные /сведения, содержащиеся в высказываниях. Между выделенными категориями, по нашему мнению,

нет непроходимых границ, в связи с чем считаем возможным некоторые пояснения информантов относить сразу к нескольким группам.

Полученные в результате анкетирования материалы позволяют нам утверждать, что молодые носители русского языка интерпретируют церковную лексику по-разному. Многие из них не испытывают затруднений и в большинстве случаев правильно поясняют значения лексем ТГ «Названия церковных сооружений» и ТГ «Наименования религиозных праздников». Реакции на слова-стимулы первой ТГ соответствуют лингвистическим категориям («Функциональное назначение», «Локус», «Эмоционально-оценочные ответы», «Явление синонимии», «Дефиниции») и категориям, связанным с личным восприятием информанта окружающего мира («Параметры», «Внутреннее устройство», «Личный жизненный опыт»); пояснения второй ТГ – лингвистическим группам («Дефиниции», «Внутренняя форма слова», «Явление синонимии», «Эмоционально-оценочные ответы», «Прецедентный текст», «Темпоральность», «Родо-видовые отношения») и группам «Личный жизненный опыт», «Ошибочное понимание». Последняя категория выделяется нами в связи с наличием неточных или неправильных толкований предложенных церковных слов. Однако у молодых жителей Архангельской области возникают сложности при толковании значений имен существительных *паперть*, *солея*, *амвон*. Полученные реакции на слова-стимулы отражают категории «Внешнее устройство», «Внутреннее устройство», что соответствует названию ТГ «Наименования внутреннего и внешнего устройства храма», а также группы «Личный жизненный опыт», «Корректирование респондента», «Внутренняя форма слова», «Ошибочное понимание». Незначительное количество пояснений на стимулы *треба*, *соборование*, *евхаристия* иллюстрируют категории «Внутренняя форма слова», «Корректирование респондента», «Ошибочное понимание». Характерными для ТГ «Наименование книг церковного содержания» являются реакции, соотносимые нами с категориями «Родо-видовые отношения», «Внутренняя форма слова», «Ошибочное понимание».

Респонденты, указавшие в анкете, что они являются верующими и посещают храм, давали более полные и подробные объяснения, чем лица, отметившие, что они не посещают храм и не веруют. Примечательно, что в каждой из этих групп наблюдается одинаковое количество бланков без ответов или бланков с неправильными толкованиями. При этом российские женщины не демонстрируют лучшего знания церковной лексики, чем мужчины. Параметр «уровень образования» также нельзя признать показательным в этом отношении.

В целом материалы нашего исследования подтверждают наблюдения А.Ю. Романова о том, что связь между знанием церковной лексики и уровнем воцерковленности, религиозности человека не является безусловной, а значительно увеличившаяся в конце XX века посещаемость храмов, которую фиксируют социологи, пока еще не влияет на активное владение молодых россиян церковной лексикой [Романов 2009].

## Библиография

- Абрамова Г.С., 2006, *Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов*, Москва.
- Королева И.А., 2003, *Православная сакрально-богослужебная лексика в художественном тексте: Диссертация (...) кандидата филол. наук*, Волгоград.
- Лапатухина Ю.В., 2000, *Индивидуальные и групповые маркеры православного дискурса (экспериментальное исследование): Автореферат (...) кандидата филол. наук*, Ульяновск.
- Михайлова Ю.Н., 2004, *Религиозная православная лексика и ее судьба (по данным толковых словарей русского языка): Автореферат (...) кандидата филол. наук*, Екатеринбург.
- Романов А.Ю., 2009, *Межпоколенческая коммуникация*, Москва.
- Сабиров В.Ш., 2004, *Любовь как откровение личности – божественной и человеческой*, Человек, № 1, 7–85.
- Склярёвская Г.Н., 2008, *Словарь православной церковной культуры*, Санкт-Петербург.
- Смирнова С.А., 2014, *О понятии «церковная лексика*, Научный диалог, Вып. 12 (36): Филология, 84–97.

## Summary

### SOCIOLINGUISTIC DESCRIPTION OF THE CHURCH VOCABULARY

This article deals with words associated with church, such as church, temple, chapel and others in a sociolinguistic aspect. The respondents are native speakers of the Russian language, inhabiting a specific region. The source of the analyzed material is experimental language data revealed by means of a questionnaire. As a result of the conducted analysis it is determined how church vocabulary is interpreted by young Russians and basic types of speech reactions are described.



**Ольга Касымова**

Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания  
Башкирский государственный университет

## ОБРАЗ ЛЕСА В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ)

**Key words:** lexical meaning, language picture of the world

Статья посвящена важной теме: способам выражения картины мира в языке. В современных исследованиях использование терминов «образа мира» и «картина мира» является очень актуальным и злободневным. Язык тесно связан с мышлением, хотя и не тождественен ему. Каждый язык имеет свой собственный способ выражения восприятия окружающей действительности, который заключается в национально-специфической системе взглядов, общих для всех его носителей. Это приводит к формированию уникальной национальной языковой картины мира, общей для всего данного сообщества.

Слово «лес» занимает важное место в нашем сознании, оно реализует универсальное понятие природы и имеет близкие значения в русской и польской языковых картинах мира. Эти значения – «территория, заросшая деревьями», «некое живое существо», «строительный материал». Поэтому слово «лес» имеет очень близкую сочетаемость в этих родственных языках.

Среди концептуально важных для любого общенационального языкового сознания явлений особо выделяются те, которые связаны с растительным миром. Представление о сложившемся в сознании людей мире растений, сопутствовавшем человечеству на всем протяжении его эволюции, издавна привлекало внимание исследователей. Неоднократно отмечалось, что у людей с растениями были особые отношения, которые отразились и закрепились в фольклоре, языке и артефактах культуры. Индивидуальные впечатления и коллективные мифологические представления послужили основой для формирования лексических значений слов, синтаксической сочетаемости слов и – в итоге – для формирования соответствующих языковых концептов, обозначающих мир растений. Лес как природное явление издавна сопровождает людей всю жизнь, являясь средой обитания и источником разнообразных занятий: младенца укладывали в деревянную колыбель, а последним

приютом человека была деревянная домовина (гроб). Поэтому это слово активно употребляется в речи, является многозначным и обладает богатым ассоциативным и коннотативным фоном. Оно входит в ограниченное число слов, вызывающих наиболее яркие образы [Попова, Стернин 2001, 58].

Лес всегда играл важную роль в жизни славянских народов. Дерево (как «представитель» леса) в языческой мифологии являлось символом жизни. У А.Н. Афанасьева мы находим следующие слова о «дереве-великане»: «Дождевые тучи, потемняющие небесный свод широко раскинутою и многолиственною сенью, в глубочайшей, незапамятной древности были уподоблены дереву-великану, ветви которого обращены вниз – к земле, а корни простираются до самого высокого неба» [Афанасьев 2006, 304]. Различные представления о дереве зафиксированы в разных индоевропейских языках. Дерево в древности считалось вместилищем душ или духов (как гора или вода), соотносилось с такими значениями, как «музыка, гармония, порядок», «чудо, волшебство», «время», «жизнь», «смерть», «огонь» [Маковский 1996, 135–141].

В последнее время в русской лингвистике исследование значения слова ведется с опорой на понятие концепт. Это позволяет более полно по сравнению с компонентным и семным анализом значения слова осмыслить разнообразные оттенки значения и особенности употребления слова. Учет способа соединения слова с другими именами является важным, так как позволяет судить о степени близости объектов в нашем представлении. Рассмотрение в совокупности объема лексического значения слова и лексической сочетаемости позволяет уточнить представления о концепте и лексическом значении соответствующего слова, в том числе обнаружить не отмеченные в словарях оттенки смысла. Неоценимую помощь в анализе лексического значения слова оказывают национальные корпуса. Большое количество примеров (в Национальном корпусе русского языка лексема лес употреблена 16936 раз), предоставляет исследователю богатые возможности для анализа значения и употребления слова. Примеры для нашей статьи взяты и русского (НКРЯ) и польского (НКПЯ) национальных корпусов.

Основное и прямое значение слова лес по данным словарей – 'деревья, стоящие на корню, а также пространство, обильно заросшее деревьями'. В словаре не разделены два разных смысла: 1) совокупность деревьев и 2) территория, на которой произрастают деревья, т.к. из-за онтологической смежности этих явлений (пространство – множество деревьев на нем) в нашем сознании они очень близки. Второе значение, представленное в словаре, – 'срубленные деревья как строительный, поделочный и т.п. материал'. Это второе значение является производным и переносным, тип переноса – метонимия [МАС, III, 176].

Центром концепта лес является зрительное и слуховое представление о денотате – совокупности деревьев. Эти компоненты ядерного значения регулярно реализуются в контекстах. Предметный (денотативный) образ леса представлен в русском и польском языковом сознании как совокупность деревьев – лиственных и хвойных, что типично для средней полосы:

*Plaża nad Bałtykiem to iglasty las parawanów* [Szlendak 2005, online];

Особенно досталось сосновым и дубовым лесам на западе Подмосквья [Орехин 2003, online].

Мереологическая характеристика леса заключается в том, что это явление членится на отдельные объекты – деревья, а само оно в свою очередь входит в понятие «растительный мир, флора»; любой лес делится на внешнюю часть (опушка) и внутреннюю (чаща, дебри), в языковом сознании отмечены отдельные пустые участки – поляны. Возможно деление «по горизонтали»: почва – стволы – крона. Таксономический класс (родо-видовая иерархия) выглядит так: лес является обобщенным названием для разных видов этого явления, которые различаются по месту нахождения (урема), размеру (роща), по месту и размеру (колок), по типу деревьев (дубрава, бор). Типичное функционирование имени связано с особенностями существования самого объекта: лес растет, лес горит, лес вырубает, леса сажают, изучают и пр. Лес имеет определенную структуру (густой, редкий):

*Sloneczne plamy tańczyły na pniach. A potem las rzedniał* [Mandalian 2009];

*Нас везли куда-то на телеге, а вокруг дороги стоял густой лес, который казался нам загадочным* [Архипова 1996].

В словарной дефиниции имеется намек на понятие совокупности («территория, поросшая лесом»), т.е. лес в нашем сознании представлен как нечто единое. Типичным для русского и польского национальных сознаний является представление о растительном мире вообще и о лесе как о едином живом организме, в чем-то подобном человеку, в частности:

*Tutaj las schodził aż do brzegu...* [Żandarska-Ochnik 2008];

*Лес, пятясь от человека, стал отступать, а бобры, уходя все дальше и дальше, оказались в самых глухих чащобах* [Иванов 2004].

Это же мифологическое представление обнаруживается в пословицах, поговорках, загадках: *Лес по топорщику не плачет.*

Лес в национальном сознании русских и поляков имеет количественные параметры (большой, маленький):

*Natomiast tuż za główną ulicą znajduje się mały las* [Wolnik 2007, online].

Лес исчисляется гектарами: *В нынешнем году в республике намечено посадить три с половиной тысячи гектаров леса* [Алексеев 1953, 4].

У обоих народов лес является объектом эстетической, эмоциональной оценки или отношения:

*Widząc podwładnego dopytuje: „Lubicie las sierżancie?”* [Solska 2000, 61];

*Я люблю лес, лес – это моя стихия* [Сотников 2003];

*В лесу всегда интересно* [Тихомиров 2002].

Таким образом, перечисленные оттенки значений, реализованные в словосочетаниях, являются частью концепта «Растительный мир», они отражают представления о лесе и во многом обусловлены социальным и культурным фоном коллективного языкового сознания. Языковая модель действительности – это результат осмысления миропорядка коллективным народным сознанием, результат осознания значимости составляющих мира и их взаимоотношений в культурно-историческом контексте. Широкий анализ значения слова и его употребления позволяет расширить представление о месте того или иного явления в общей картине мира.

## Библиография

- Алексеев С., 1953, *По ту сторону бранденбургских ворот. Последствия милитаризации Западного Берлина*, Вечерняя Москва, 4.03.1953, <http://oldgazette.ru/vm/04031953/text4.html> [17.05.2015].
- Архипова И.А., 1996, *Музыка жизни*, Москва: Вагриус
- Афанасьев А.Н., 2006, *Мифология Древней Руси*, Москва: Эксмо.
- Иванов Д., 2004, *Жил-был бобр*, Вокруг света, № 6.
- Маковский М.М., 1996, *Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и мир образов*, Москва: Гуманитарный издательский центр Владос.
- МАС – *Словарь русского языка. В 4-х т.*, 1981–1984, ред. Евгеньева А.П., Москва: Русский язык.
- Национальный корпус русского языка*, <http://www.ruscorpora.ru/> [17.05.2015].
- Национальный корпус польского языка*, <http://nkjp.pl/> [17.05.2015].
- Орехин П., 2003, *Вредители леса*, Независимая газета, [http://www.ng.ru/politics/2003-07-01/3\\_wood.html](http://www.ng.ru/politics/2003-07-01/3_wood.html) [17.05.2015].
- Попова З.Д., Стернин И.А., 2001, *Очерки по когнитивной лингвистике*, Воронеж: Истоки.
- Сотников А., 2003, *Коммунист*, Лебедь (Бостон), <http://lebed.com/2003/default.htm> [14.07.2003].
- Тихомиров О., 2002, *Мы из школьного лесничества*, Мурзилка, №7.
- Mandalian A., 2009, *Czerwona orkiestra*, Warszawa: SIC!
- Solska J., 2000, *Kasę wyprowadzić*, Polityka, nr 2262, 9.09.2000, 60–63, <http://archiwum.polityka.pl/szukaj/32.html> [17.05.2015].
- Szlendak T., 2005, *Plagi nadmorskie*, <http://szlendak.blog.polityka.pl/2012/07/31/plagi-nadmorskie/> [17.05.2015].
- Wolnik K., 2007, *Mieszkańcy Dąbrowki Malej nie wiedzą, jak się bronić przed złodziejami*, <http://katowice.naszemiasto.pl/archiwum/mieszkanicy-dabrowki-malej-nie-wiedza-jak-sie-bronic-przed,1501844,art,t,id,tm.html> [17.05.2015].
- Żandarska-Ochnik M., 2008, *Pan wichrów i powiewów*, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

## Summary

### THE IMAGE OF THE FOREST IN THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD (ON THE BASIS OF POLISH AND RUSSIAN)

This article is devoted to the basic theme „The ways of expressing the picture of the world in language”. In modern research, the usage of the expressions “the world image” and “picture of the world” is very urgent and topical. Language is closely connected with thinking, though is not identical with it. Each language has its own way of the expression of surrounding reality which is expressed in general national and specific systems of views for all its speakers. This leads to the formation of the unique national linguistic picture of the world, common for the whole community.

The word “forest” occupies an important place in our consciousness; it implements a generic meaning of “nature” and has similar meanings in Russian and Polish linguistic pictures of the world. There exist some meanings of this word in Russian and Polish: a terrain overgrown with trees, a certain living creature, and construction material. Thus the word “forest” has an identical combinability in the related languages.



**Татьяна Володина**

кафедра немецкой филологии и перевода

Киевский национальный лингвистический университет (KNLU)

## ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

**Key words:** translation, linguistic term, descriptor, systematicity, semantic field, paradigmatics

Неотъемлемой чертой всякой терминологии является ее системность [Винокур 1959; Гвишиани 1986, 30–38; Гринёв 1990; Лейчик 1990]. Первым, кто включил системность в список требований, предъявляемых к термину, был Д. С. Лотте, который утверждал, что „роль термина нельзя ограничить лишь функцией *наименования*. Научная терминология должна представлять собой не простую совокупность слов, а систему слов и словосочетаний, определенным образом между собой связанных, и в этом заключается одно из основных различий между *просто* терминологией и научной терминологией. Большое распространение имеет взгляд на термин только как на простое наименование какого-либо научно-технического понятия. Между тем, термин должен обладать определенными систематизирующими свойствами” [Анисимова 2010, 235]. Любая терминология, по мнению Лотте, должна отвечать трем требованиям, а именно: „терминологическая система должна основываться на системе понятий; необходимо выделять терминируемые признаки и понятия, основываясь на классификационных схемах; слова должны отражать общность терминируемого понятия с другими и его специфичность” [Лотте 1961].

По определению А.А. Реформатского: „Терминология как совокупность слов – слуга двух хозяев: системы лексики и системы научных понятий” [Реформатский 1968, 122]. О.С. Ахманова также выделяла категорию системности и писала о необходимости взаимосвязи между терминологической системой и системой научных понятий: „Терминология данной научной области – это не просто список терминов, а семиологическое выражение определенной системы понятий, которая, в свою очередь, отражает определенное научное мировоззрение” [Ахманова 1966а, 30–45].

Необходимо отметить, что „никакая система невозможна без четкой внутренней структуры, где все элементы расположены в определенном порядке и взаимодействуют друг с другом согласно установленным законам” [Анисимова 2010, 236].

Анализируя системность терминологии, О.С. Ахманова вводит понятие „дескриптор”, ср.: *A descriptor is defined as a word or word combination chosen because it brings out the nature of the phenomenon under consideration most adequately and can be most profitably used for the scientific interpretation and classification of the latter* [Akhmanova, Agapova 1974, 150–151]. Дескрипторы составляют основу любой терминосистемы, являясь опорными (родовыми) терминами. Необходимо помнить, что онтологически слово и понятие – два разных явления. Понятие определяется совокупностью фактов исследования (идеальный мир). Термин как слово зависит и выражается через конкретные материальные формы [Анисимова 2010, 238]. Дескрипторы должны иметь предельно четкое и ясное научное определение, мотивированную семантическую структуру и обладать деривационной способностью. Принцип *genus proximum et differentia specifica* является основополагающим для построения любой терминологической системы.

Так, например, в терминологии лингвистической науки лексема *Linguistik* является дескриптором и родовым термином: *Linguistik* (лингвистика) – *strukturelle Linguistik* (структурная лингвистика), *Soziolinguistik* (социолингвистика), *Psycholinguistik* (психолингвистика), *Computerlinguistik* (компьютерная лингвистика), *Antropolinguistik* (антропологическая лингвистика), *argumentative Linguistik* (аргументативная лингвистика), *Areallinguistik* (ареальная лингвистика), *Genderlinguistik* (гендерная лингвистика), *generative Linguistik* (генеративная лингвистика), *kognitive Linguistik* (когнитивная лингвистика), *Ethnolinguistik* (этнолингвистика), *diachrone Linguistik* (диахроническая лингвистика).

Если мы подвергнем видовые термины дальнейшему анализу, то станет очевидным, что почти все они становятся родовыми, подтверждая тем самым присущую им не только номинативную, но и сигнификативную функцию, т.е. способность выражать понятия, соотносящиеся определенным образом с другими понятиями данной системы. Так, например: ***strukturelle Linguistik*** (структурная лингвистика) – *strukturelle Grammatik* (структурная грамматика), *strukturelle Semantik* (структурная семантика) или ***kognitive Linguistik*** (когнитивная лингвистика) – *kognitive Grammatik* (когнитивная грамматика), *kognitive Semantik* (когнитивная семантика), *kognitive Wortbildung* (когнитивное словообразование); ***Areallinguistik*** (ареальная лингвистика) – *Dialektgeographie* (диалектгеография), *Dialektographie* (диалектография); ***Psycholinguistik*** (психолингвистика) – *Sprachpsychologie* (языковая психология), *Neurolinguistik* (нейролингвистика) *Klinische Linguistik* (клиническая лингвистика).

Следует отметить, что если термин относится к молодому направлению в современной лингвистике, охватывающей довольно продолжительный период в истории развития языкознания, то это отражается и на видовых терминах: количество их заметно возрастает. Например, ***kognitive Linguistik*** (когнитивная лингвистика):

*kognitive Semantik* (когнитивная семантика), *kognitive Grammatik* (когнитивная грамматика) и *kognitive Grammatiktheorien* (*Syntax, Morphologie*) (когнитивные грамматические теории – синтаксис и морфология), *kognitive Phonologie* (когнитивная фонология), *konzeptuelle Metaphorik* (концептуальная метафорика), *kognitive Neurowissenschaft* (когнитивная нейронаука), *Psycholinguistik* (психолингвистика), *konzeptuelle Semantik* (концептуальная семантика), *Prototypensemantik* (теория прототипов).

Необходимо отметить, что, безусловно имеются некоторые исключения, т.е. не все видовые термины от родового *Linguistik* (лингвистика) становятся позже родовыми. Такие исключения немногочисленны: *Antropolinguistik* (антропололингвистика). Любопытно, что в сфере лингвистики, чем объемнее понятие, тем большее количество видовых терминов относится к тому родовому термину, который отражает это понятие. Так, например, термин *Polysemie* можно рассматривать как: *многозначность, неоднородность значения, неоднозначность, семантическая деривация, вариативность, вариантность, варьирование, семантическая модуляция, двусмысленность* (*Vieldeutigkeit, Zweideutigkeit, Mehrdeutigkeit, semantische Ableitung, Variation, Varianz, Variation, semantische Modulation, Ambiguität*).

Если рассматривать это понятие с точки зрения различных взглядов лингвистов на тот же объект исследования или различных концепций, научных школ – тогда мы получим: *лексическую* (*lexikalische P.*), *концептуальную* (*konzeptuelle P.*), *когнитивную* (*kognitive P.*), *словообразовательную* (*wortbildende P.*), *грамматическую* (*grammatische P.*) или *фонетическую многозначность или полисемию* (*phonetische Polysemie oder Vieldeutigkeit*). Все вышеперечисленные видовые термины становятся родовыми при дальнейшей детализации, что можно показать на примере термина *лексическая полисемия* (*lexikalische Polysemie*). Этот термин можно рассматривать с двух позиций: 1) **по отношению к терминосистеме** существует: (внутри-системная, межсистемная, внутриотраслевая, межотраслевая многозначность) и 2) **по онтологическому статусу** (бисемия, энантиосемия, имплицитная полисемия).

Говоря о традиционных классических терминах лингвистики, которые описывают, с одной стороны, школы и направления, а также научные взгляды лингвистов, с другой – сам процесс создания термина, включая и его техническую сторону, можно отметить интересную особенность этой терминологии. Видовые термины оказываются нередко номенклатурными единицами, а также словами, образующими предметно-тематическую связку названий явлений и предметов, отражающих данный эпизод или фрагмент представляемой „картины мира”.

Это подтверждается возможностью дальнейшего развития этих значений и возникновения еще более специальных терминов, как, например, в случае *энантиосемии* (*die Enanthiosemie / die Enantiasemia*). **Энантиосемия лингвистических терминов** – непродуктивное явление, представленное двумя разновидностями: а) лексической / *lexikalische Enanthiosemie*; б) лексико-синтаксической / *lexikalisch-syntaktische Enanthiosemie*.

Вслед за А.А. Реформатским А.В. Суперанская детализирует понятие „семантического поля”. В работе „Общая терминология – вопросы теории” она пишет: „Поле для термина-понятия – это та система понятий, к которой он принадлежит, а для термина-слова – та совокупность других терминов-слов, с которыми он сочетается в рамках данной науки, на базе которых формируется сам и на которые оказывает влияние своей языковой формой” [Суперанская 1962].

Для О.С. Ахмановой семантическое поле – совокупность слов и выражений, составляющих тематический ряд, слова и выражения языка, в своей совокупности покрывающие определенную область значений [Ахмановой 1966б, 392]. Примером здесь может послужить родовой лингвистический термин *Translation*, который, являясь дескриптором, образует семантическое поле: 1) на основе тесной взаимосвязи его значений (лексико-семантических вариантов); 2) на основе гиперо-гипонимических отношений, которые связывают переводоведческие лингвотермины в отдельные группы, и формируют основу семантического пространства (см. рисунок 1) [Демидова 2011, 125].

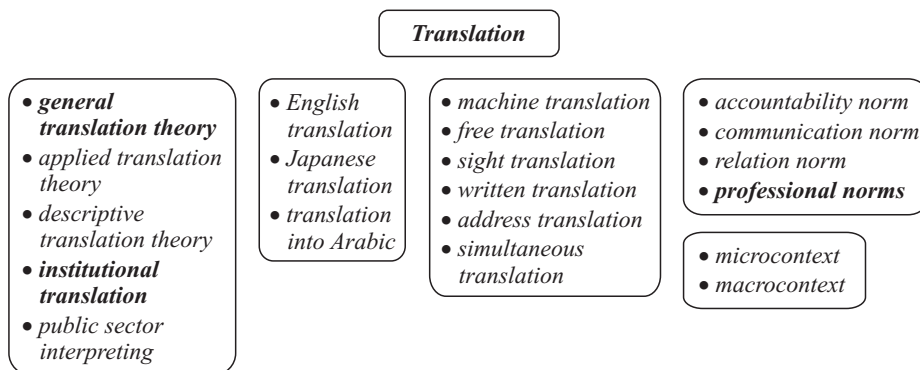


Рис. 1. Семантическое поле лингвистического термина „Translation”

Прокомментируем некоторые примеры, изображённые на Рисунке 1. *General translation theory* (общая теория перевода) является гиперонимом по отношению к терминосистемам, которые называют отдельные направления разделов общей теории перевода и являются его гипонимами: *applied translation theory* (прикладное переводоведение) и *descriptive translation theory* (описательное переводоведение), а также *institutional translation* (перевод, осуществляемый по заказу государственных структур), которому подчиняется термин *public sector interpreting* (устный перевод для государственных и муниципальных нужд). Терминосистема *professional norms* является гиперонимом по отношению к терминосистеме *accountability norm*, *communication norm* и „*relation*“ *norm*, которые являются разновидностями вышеуказанного гиперонима. Гипонимами термина *context* являются термины *microcontext* и *macrocontext*, входящие в одно словарное гнездо [Демидова 2011].

Обобщая работы лингвистов, занимающихся проблемами терминологии, можно выделить *пять* принципов отбора лингвистической терминологии с целью обучения студентов-филологов, а именно: *принцип выделения дескриптора* (О.С. Ахманова), *принцип построение словарного гнезда* (Е. В. Филиппова), *анализ парадигматических отношений между лексическими единицами лингвотерминопольа (антонимия, полисемия)* (С.З. Нога); *этимологическая составляющая* (А.И. Смирницкий, А.В. Иванов); *словообразующий принцип* (М.Н. Володина).

*Принцип выделения дескриптора* позволяет организовать материал с учетом наиболее значимых терминов, отражающих существенные признаки обозначаемых ими предметов. Системный характер лингвотерминологии предполагает, что в ее рамках термин взаимообусловлен другими терминами. Каждая терминологическая единица занимает определенное место в терминосистеме и обладает определенным значением, которое не совпадает со значением никакого другого элемента данной системы. При этом термины отражают взаимосвязи явлений и вещей, обозначаемых ими, и это может быть достигнуто правильной классификацией терминируемой действительности на основе выделения родовых и видовых явлений [Полторацкий 1974]. На основе родовидового принципа, прежде всего, устанавливаются некоторые таксономии, которые затем развиваются, отражая родовидовые связи между отдельными единицами. Таким образом, индивидуальный признак, отраженный только в видовом термине и не разделяемый с ним другими видовыми терминами, выступает как соподчиненное понятие, находящееся в определенной связи с подчиняющим понятием, выраженным родовым термином.

Основному принципу – *genus proximum et differentia specifica* подчиняется также и *второй принцип* систематизации лингвотерминологии для обучения переводу – *принцип построение словарного гнезда*, в который включаются в том или ином виде видовые термины. Так, например, в случае английской лингвистической терминологии установлено, что типология монологемных терминов, т.е. *genus proximum*, в морфологическом плане может быть представлена регулярно повторяющейся аффиксальной морфемой, в то время как *differentia specifica* – изменяющейся корневой морфемой; так, например, суффикс *-ing* имеет значение процесса: *breathing, blending, reducing, etc.*; суффиксы *-ity u -ness* выражают понятия „свойства”: *tonality, globality, softness, distinctiveness, etc.* Образование терминов при помощи определённых суффиксов позволяет отразить в структуре термина его категориальную принадлежность, т.е. установить прямое соответствие между конкретной морфемой и научным понятием; придает структуре термина системность, т.е. дает возможность без труда относить данные термины к определённой области; создает предпосылки для создания целостной системы наименований терминов; предоставляет возможность создания новых производных и сложнопроизводных терминов [Филиппова 1991, 15–16].

В лингвистической терминологии, например, мы не отмечаем большого количества деривационных гнезд: *нем. Laut/Ablaut/Umlaut; англ. off-glide/ on-glide; нем. Suffix/ Suffixoid/Suffixbildung/suffixal/Suffigierung; нем. Substantiv /substantivieren*

/substantivisch / desubstantiviert / Desubstantivierung / Verbalsubstantiv / Zahlsubstantiv; англ. *line / half-line*; англ. *Spooner / spoonerism* и так далее. Здесь можно обнаружить морфологически выраженные случаи родовидовых связей терминов.

Так, наиболее частотными встречающимися префиксами в английской лингвистической терминологии являются: *di(a)-, trans-, a-, amphi-, an(a)-, ant(i)-, syn-(sym~), hyper-, par(a)-, con-, ep(i)-, re-, de-, meta-, pari-, pro-, post-, bi-*; в немецкой лингвистической терминологии: *Di(a)-, Trans-, A-, Amphi-, An(a)-, Ant(i)-, Ep(i)-, Par(a)-, Pari-, Pro-*; суффиксы в данной терминосистеме: англ. *-al, -ans, -ee, -ic, -id, -ius, -tion, -ive, -y, -ean (-ian), -ance, -ism, -asis, -esis, -osis, -ing, -ism, -ist*; нем. *-ik, -tion, -al(is), -ans, -ant, -anz, -ar(is), -eus, -äus, -ius, -ie, -asis, -ase, -esis, -äsis, -ese, -äse, -ung, -tion, -er, -ler* [Иванов 2005].

Так, в немецком языке суффикс *-ismus* – суффикс заимствованных существительных мужского рода, продуктивный и частотный, греко-латинского происхождения часто соответствует в русском языке суффиксу *-изм*. Придаёт существительным: 1) значение общественно-политических течений, философских и научных направлений, в нашем случае: *Liberalismus, Binarismus, Ikonismus, Rhotazismus, Synharmonismus*; 2) значение явления или факта в разных областях лингвистики: *Anglizismus, Anthropomorphismus, Barbarismus, Archaismus, Distributionalismus, Euphemismus, Gallizismus, Germanismus, Mutismus, Parallelismus*. Возможность соотнесения суффикса или префикса с определенным понятием укрепляет системные связи в пределах лингвистической терминосистемы, подобных случаев оказалось достаточно много, что свидетельствует о выраженной по своему морфологическому характеру системности терминологии лингвистики.

**Третий принцип**, согласно которому происходит отбор лингвотерминологии для обучения переводу студентов-германистов, является *антонимия*, которая в большей степени свойственна лексике языка лингвистики, чем лексике общелитературной. Это происходит потому, что „существенные различия явлений объективной действительности отражаются как противоположные понятия в логике и антонимические значения в языке” [Нога 1985, 64]. Анализ лингвистических словарей указывает на большое количество антонимов, причем в языкознании антонимические связи выражены в основном аффиксально противоположными по значению префиксами, например, *Adjektivierung – Deadjektivierung* (адъективизация – деадъективизация / *verbal – nonverbal* (вербальный – невербальный) / *lateral – bilateral – trilateral – multilateral* (односторонний – двусторонний – трехсторонний – многосторонний); *monoset – polyset* (однозначный – многозначный); *monochrome – polychrome* / одноцветный – многоцветный; *coloured – discoloured* / цветной – бесцветный; *balanced composition – unbalanced composition* / сбалансированная – несбалансированная композиция; *complete fidelity (to the original) – incomplete fidelity* / полное сходство – неполное сходство (с оригиналом). Необходимо отметить также, что антонимия именно в лингвистической терминологии выражается как с помощью словообразующих аффиксов, так и лексически – это одна из важных типологических особенностей системы исследуемых терминов

ср.: *physical likeness – likeness of the “spiritual world” / сходство внешнее – внутреннее; typical features – original features черты типичные – отличные от других; freies Morphem, – gebundenes Morphem/ свободная морфема – связанная морфема.* [<http://www.disambiguierung.de-index.net/>].

Многозначность терминов не менее важный принцип отбора лексем, позволяющий разграничивать типологические свойства или признаки терминосистемы. Семантическая конкретность предполагает однозначность термина: вот почему большинство лингвистических терминов однозначны. Будучи абстрактными по своему характеру, исследуемый корпус лексем может быть отнесен к терминам многозначным. Так, например, можно отметить следующие случаи: *der Artikel* 1. *Warengattung* „артикул, товар”; 2. *Vertragspunkt* „статья, пункт”; *der Gipfel* I, 1) вершина (горы, дерева); верхушка, верх; апогей *der Gipfel der Vollendung* – верх совершенства; *auf dem Gipfel des Ruhmes* – на вершине славы; 2) встреча на высшем уровне, саммит; II 1) *вершина слога* (фонет.); 2) пик, максимум; *амплитуда*; *indirekt* 1. не прямой; опосредованный *indirekte Frage* – не прямой вопрос *indirekte Rede* – не прямая речь; 2. косвенно; *der Terminus*, .. *ni* 1) срок; день [дата] вступление в силу закона; 2) *термин, понятие*. Лингвистический термин *die Schwankung* (фонетические колебания) в физике имеет значение „флуктуация, отклонения”, в экономике – „колебания, незначительное изменение”, в математике „индекс, индексное число”, в экономической терминологии функционирует со значением „показатель, указатель”. Несмотря на различия в значении этих лексем, их объединяют общие стержневые семы: в первом случае „отклонение от чего-то”, во втором – „показатель”. Контекст снимает многозначность и помогает четко понять значение термина не только в его определении, но и в непосредственном функционировании.

Данные примеры показывают, что в терминологии лингвистической науки многозначность выражается особым образом, который зависит от степени развития данным термином коннотативно-метафорического значения.

При исследовании лингвотерминологии необходимо учитывать и **четвёртый принцип** отбора лингволексем – *этимологический состав* терминосистемы, тем самым, реализуя не только синхронический, но и диахронический подход к решению проблемы. Целый ряд терминологий строится на основе 2-х типов терминов: *исконные/приобретенные* (в современной лингвистике это термины, восходящие к греко-романо-латинской основе). Например, заимствования из старофранцузского языка и латыни привели к образованию ряда дублетов и синонимических пар в терминологической лексике английского языка. Их появление в среднеанглийском словарном составе обусловлено тем обстоятельством, что английский язык в разные периоды своей истории заимствовал соответствующее латинское, а затем связанное с ним этимологически французское слово [Смирницкий 1998, 35, 212]: *arphony – arhonia* (ср. совр. франц. *arphonie*), *dialepha – dialephe* (ср. совр. франц. *dialephe*), *synalepha – synalephe* (ср. совр. франц. *synalephe*), *synaphea – synaphy* (ср. совр. франц. *synaphie*), *septenarius – septenary* (ср. совр. франц. *septenaire*), *spondaic – spondean* (ср. совр. франц. *spondaïque*), *palinode – palinody* (ср. франц. *palinodie*).

*Займствованиа из древнегреческого языка: Aphärese, Aphäresis – Anlautschwund; Арокопе – Auslautschwund, Synkope – Ausstoßung; akatalektisch – unverkürzt, vollständig; katalektisch – verkürzt, unvollständig; hexasyllabisch – sechssilbig; Heptastichon – Siebenzeiler; Hemistichium, Hemistichion – Halbzeile, halbe Zeile; Daktylus – Doppelfaller; Anapäst – Doppelsteiger u m.д. Займствованиа из латинского языка: Akzent – Betonung, Betonen; akzentuiert – betont; Akkom(m)odation – Angleichung, Anpassung, Anähnlichung; akut – scharf; Affrikate, Affrikata – [stimmloser] Verschlussengelaut; Alliteration – Anreim, Stabreim; Assonanz – Halb reim, Stimmreim, Innreim; Zäsur – Einschnitt, Ruhepunkt, (Sprech)pause; Kadenz – Schlussphase; kopulativ – verbindend, Verbindungs-, Binde-; Kontraktion – Zusammenziehung; Dissimilation – Entähnlichung, Unähnlichwerden; u m.д. [Иванов 2005].*

Помимо всего вышеперечисленного есть еще один немало важный **принцип** терминологической системности – *словообразующий принцип* [Володина 1998, 176]. В современной лингвотерминологии влияние терминологии естественных наук обнаруживается в новых моделях образования терминологических словосочетаний: в них используются элементы *theory/die Theorie, law/das Gesetz, hypothesis/die Hypothese, rule/ die Regel, process/der Prozess*, etc. Такая модель традиционно используется в образовании терминов биологии, химии, физики и математики. В таких словосочетаниях в качестве второго компонента часто используются фамилии лингвистов: *Bach paradox, Zipfs law (закон Ципфа), Werner Gesetz (закон Вернера), Notkers Anlautgesetz (звуковой закон Ноткера), Behaghelsche Gesetze (законы Бегагеля), Grice maxims (максима Грайса), Chomsky adjunction (адъюнкт Хомского), Chomsky-Grammatik (грамматика Хомского), Montague grammar (грамматика Монтегрю)* и другие. Второй компонент словосочетаний также „выдает” их связь с понятиями естественных наук.

Необходимо подчеркнуть, что для лингвотерминологии продуктивными являются следующие словообразовательные модели: – **Adjective + Noun** (*Absoluter Kasus, Absolutes Objekt, partizipiales Adjektiv, Effizientes Objekt, Chromatischer Akzent, implizite Wiederaufnahme, kognitive Funktion, phatischer Akt, unikales Morphem*); модель – **Noun + Preposition + Noun** (*slip of the tongue, tip-of-the-tongue phenomenon, order of the derivation, part of the word, application of rule, degree of composition*); и **Noun + Noun**: *Vergleichssatz, Volksetymologie, Genusschwankung, Bedeutungspostulat, Prototypensemantik* и т.д. Следовательно, системность терминологии отражается в наличии устойчивых, морфологических моделей, по которым строятся терминологические сочетания.

При отборе лингвотерминов для обучения переводу студентов-филологов следует принимать во внимание все вышеизложенные факторы, а именно: 1) система терминов отражает систему понятий, следовательно, построение и изучение понятийной системы – первоочередной шаг; 2) базовым правилом методики преподавания является „от простого к сложному”, поскольку правильным является построение понятийной системы области знания на родном языке; 3) выделение семантических полей и дескрипторов, словообразовательных моделей.



Используя вышеупомянутый принцип *genus proximum et differentia specifica*, можно разграничить родовые и видовые термины, определить типичные морфологические модели и характерные для данной терминосистемы устойчивые терминосочетания, а также описать парадигматические отношения в рамках исследуемой терминосистемы.

Таким образом, благодаря выше перечисленным принципам студентам-германистам можно продемонстрировать глубину понимания предметной области, взаимосвязь понятий и терминов, а также логику построения исследуемой терминосистемы и основы перевода профессионально ориентированной лексики, а нашем случае – лингвотерминологии.

### Библиография

- Akhmanova, O., Agarova, G., 1974, *Terminology: Theory and Method text*, Москва: MSU.
- Анисимова А. Г., 2010, *Методология перевода англоязычных терминов гуманитарных и общественно-политических наук*, дис. ... докт. филол. наук: 10.02.04, 10.02.20, Сравнительно-историческое, типологическое языкознание, Москва.
- Ахманова О.С., 1966а, *О принципах и методах лингвостилистического исследования*, Москва: Изд-во МГУ, 30–45.
- Ахманова О.С., 1966б, *Словарь лингвистических терминов*, Москва: Сов. Энциклопедия.
- Винокур Г.О., 1959, *Заметки по русскому словообразованию* // Винокур Г.О., *Избранные работы по русскому языку*, Москва, 419–442.
- Володина М.Н., 2000, *Когнитивно-информационная природа термина*, Москва: Издательство Московского университета.
- Гвишиани Н.Б., 1986, *Содержание термина и его функционирование в метаречи (на материале лингвистической терминологии)* // Гвишиани Н.Б., *Смысл и значение на лексическом и синтаксическом уровнях*, Калининград: Изд-во КГУ, 30–38.
- Гринев С.В., 1990, *Основы лексикографического описания терминологии*, автореф. дис. ... на соискание ученой степени докт. филол. наук: спец. 10.02.04, Германские языки, Москва: МГУ.
- Демидова Г.В., 2011, *Структурно-семантические характеристики англоязычной переводоведческой терминологии*, дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04, Германские языки, Самара.
- Иванов А.В., 2005, *Метаязык фонетики и метрики*, дис. ... докт. филол. наук: 10.02.19, Северодвинск.
- Лейчик В.М., Шелов С.Д., 1990, *Лингвистические проблемы терминологии и научно-технический перевод*, Москва: Всесоюзный центр переводов науч.-техн. лит. и документации.
- Лотте Д.С., 1961, *Основы построения научно-технической терминологии*, Москва: Изд-во АН СССР.
- Нога С.З., 1985, *Английская терминология марксистско-ленинской философии в языке и речи*, дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04, Германские языки, Москва.
- Полторацкий А.И., 1974, *Английская терминология лингвистической стилистики*, автореф. дисс. на соискание научной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04, Германские языки, Москва.
- Реформатский А.А., 1968, *Термин как член лексической системы языка. Проблемы структурной лингвистики*, Москва.

- Суперанская А.В., 1962, *Заимствование слов и практическая транскрипция*, Москва: Академия наук СССР И-т языкознания.
- Смирницкий А.И., 1998, *Лексикология английского языка*, Москва: Омен.
- Филиппова Е.В., 1991, *Типология онкологических терминов в современном английском языке*: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04, Германские языки, Москва, 15–16.

### Summary

#### LINGUISTIC TERMS' SELECTION PRINCIPLES OF TEACHING TRANSLATION FOR PHILOLOGY STUDENTS (ON THE BASIS OF GERMAN AND ENGLISH)

The article represents the author's attempt to systematize the selection principles of the linguistic terms for optimizing the learning process of translation for the Germanic Philology Faculty. The author analyzes in detail the criteria of systematicity of the linguistic terminology on the material of the English and German language scientific dictionaries and monographs; highlights the basic construction principles of the linguistic terms system and the concepts they denote.

## LITERATUROZNAWSTWO I PRZEKŁADOZNAWSTWO

**Joanna Getka**

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej  
Uniwersytet Warszawski

### MEDYCYNA W DRUKACH BAZYLIAŃSKICH XVIII W.

**Key words:** Basilan printings, medical advice, medical methods, 18th century, calendars

#### Wprowadzenie

„Oświecony” wiek XVIII to okres racjonalnych, cywilizacyjnych ulepszeń. Prężnie rozwijała się nauka, transport, a także sztuka. Dzięki dokonaniom Lavoisiera w latach 80. jako odrębna gałąź wiedzy zaczęła funkcjonować chemia<sup>1</sup>.

Postęp niósł za sobą odkrycia i ulepszenia w sztuce medycznej, szczególnie zaś położnictwie [Rostworowski 1977, 16]. Dzięki temu, choć z braku dokładnych danych jest to trudne do oszacowania, liczba ludności w Europie rosła. Również w Rzeczypospolitej imponujący był przyrost naturalny: tylko w latach 1772–1791 wyniósł ok. 20% [Rostworowski 1977, 21].

Rzeczpospolita nie mogła jednak w tym czasie konkurować z Zachodem – koniec XVIII wieku był okresem upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, której podziały stanowe uniemożliwiły harmonijny rozwój społeczeństwa. Upadek gospodarczy końca XVIII wieku nie był wydarzeniem niespodziewanym – kryzys (zastój w rolnictwie i handlu, degradacja miast) pogłębiał się od połowy XVII stulecia. Na sytuację gospodarczą nakładała się fatalna sytuacja polityczna Rzeczypospolitej w końcu wieku XVIII.

Ówczesne statystyki są zatrważające: mimo dobrych wskaźników narodzeń, odsetek dzieci, które w zdrowiu dożyły dorosłości był mały. Średnia długość życia kobiet

---

<sup>1</sup> Wśród racjonalizacji w gałęzi przemysłu można wymienić maszynę parową J. Watta, piec hutnicze, prasę hydrauliczną J. Bramaha, automatyczny młyn zbożowy O. Evansa, turbinę wodną J.A. Segnera i Gerarda; w dziedzinie transportu – wprowadzenie tramwaju konnego, pierwsze loty balonem, a w 1785 r. przelot balonem Blancharda i Jeffriesa nad kanałem La Manche, pierwszą udaną podróż okrętu parowego „Doubts”, pierwszy skok ze spadochronem cywilizacyjnych. Rozwój przemysłu innych gałęzi umożliwiał rozwój nauki, szczególnie chemii (otrzymanie kwasu siarkowego, solnego czy azotowego, odkrycie niklu, wodoru, azotu w powietrzu, chloru, tlenu i in.). XVIII wiek to również czas wynalezienia piorunochronu B. Franklina, budowy pierwszego mostu żelaznego w Coalbrookdale w Anglii, wprowadzenia na ulice oświetlenia gazowego, uruchomienia telegrafu optycznego.

w Polsce w XVII–XVIII wieku wynosiła 22,3 lata, mężczyźni zaś – 21,8 (dane te nie różniły się znacznie od danych w innych krajach Europy), a wieku rozrodczego dożywało około 35% populacji [Ślękowa 1991, 59, 80].

Przyczyną tego stanu rzeczy była bardzo słaba dostępność do pomocy lekarskiej, niezajomość podstawowych metod leczenia i wiara w umiejętności medyczne różnego rodzaju szarlatanów. Problem ten nurtował elity intelektualne kraju, które wraz z powołaniem Komisji Edukacji Narodowej próbowały nie tylko uczyć młodzież, ale przede wszystkim wykorzystać ciemnotę.

W akcję propagowania nowych metod leczenia włączyli się bazylianie (Ordo s. Basilii Magni Ruthenorum, katolicki zakon obrządku greckiego), korelowało to bowiem ze stosowaną przez zakonników praktyką łączenia pracy misyjnej z oświatową i wychowawczą. Na potrzeby działalności oświatowej zorganizowano cieszącą się zaufaniem miejscowej ludności siatkę szkół, rozbudowaną znacznie po rozwiązaniu zakonu jezuitów i przejęciu przez bazylianów części placówek pojezuickich. Temu celowi służyły także drukarnie organizowane przy klasztorach bazylikańskich. Zakonnicy posiadający na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej 6 zakładów typograficznych (Wilno, Supraśl, Mińsk, Poczajów, Uniów, Lwów), których oferta wydawnicza uwzględniała zróżnicowanie stanowe, językowe i edukacyjne swoich odbiorców, mieli ogromne możliwości popularyzatorskie.

Celem artykułu jest analiza tych treści edukacyjnych bazylianów, które poruszały problematykę zdrowia czytelników. Treści tego typu można było znaleźć w poradnikach medycznych, a także w wydawanych przez zakonników kalendarzach i kluczach prognostykarskich (wydaniach typu kalendarzowego, ale bardziej uniwersalnych, ze względu na fakt zamieszczania w nich informacji ponadczasowych, aktualnych dłużej niż rok).

Drukowane przez bazylianów porady medyczne, które dzisiejszemu czytelnikowi mogą wydawać się śmieszne lub wręcz szkodliwe, odpowiadały ówczesnemu poziomowi wiedzy. Zakonnicy kierowali się przy tym pierwszą zasadą medycyny: „po pierwsze nie szkodzić”. W jednym z kalendarzy czytamy: *ciekawe, choćby nie koniecznie użyteczne wiadomości, (zwłaszcza gdy są dowodem postępu ludzi w naukach) sprawiedliwie (...) umieścić się mogą, byleby szkodliwymi nie były*<sup>2</sup>.

Analiza treści porad skłania do sformułowania tezy, że zakonnicy pragnęli zachęcić swoich odbiorców do podnoszenia poziomu wiedzy, jednocześnie dążąc do ograniczenia tych metod leczenia, które uważali za nadużywane.

---

<sup>2</sup> *Kalendarz polski y ruski na rok pański przestępny na rok 1788 pod znakiem księżycy. Wyrażający Święta rzymskie i ruskie, tudzież aspekty wybory, bieg planet odmiany powietrza czas siania, szczepienia, lekarstw używania, dni feralne, wschód y zachód słońca, zaćmienia y inne ciekawe obserwacye* [Supraśl].

## Druki bazylińskie zawierające tematykę medyczną

Informacje o charakterze medycznym znajdujemy w bazylińskich wydaniach poradnikarskich, których celem było propagowanie najnowszych osiągnięć wiedzy, a dzięki temu dokształcanie czytelników<sup>3</sup>. Była to praktyczna wiedza z różnych dziedzin: uprawy roli i przechowywania produktów, przygotowywania pomieszczeń gospodarskich, edukacji i wychowania młodzieży, a także medycyny domowej.

Zakonnicy podkreślali walor użytkowy poradników: *nie tylko lekarzom, gospodarzom y rozmaitym rzemieślnikom, ale zgoła każdemu stanowi oboiey płci rozmaitych zabaw są potrzebne...*<sup>4</sup>.

Trzeba pamiętać, że wiele dworów i dworków szlacheckich, ze względu na odludne położenie, było odciętych od pomocy lekarskiej. Wiedza na temat pierwszej pomocy oraz profilaktyki chorób była niezbędna, by *każdy czasu swej choroby zwłaszcza w niebytności lekarza, albo w ubóstwie swoim mieć pogotowiu lekarstwo, częstokroć łatwe, a doświadczone. Wiele teraz rzeczy potrzebnych y sztuk pożytecznych Polacy w tych księgach opisanych robią, które niemal dotąd cudzoziemcy do nas przywozili, albo ich tu robiąc, przed nami taili...*<sup>5</sup>.

Uczono więc, jaki typ zajęcia, „porządek” życia, jest najlepszy dla określonego wieku, płci oraz temperamentu (w XVIII wieku powszechnie stosowano typologię czterech temperamentów – krwistego, flegmistego, cholerycznego i melancholicznego) oraz jak samodzielnie przygotować lekarstwo. Drukowano szczegółowe opisy ziół, omawiano ich właściwości, a także przedstawiano domowe sposoby leczenia ziołami, korzeniami i jagodami<sup>6</sup>. Jednocześnie propagowano osiągnięcia przemysłu farmaceutycznego. *Krótko*

<sup>3</sup> Upowszechnianiu wiedzy z dziedziny geografii służył *Lexykon geograficzny, dla gruntownego pojęcia gazet i historii z różnych autorów zebrany...* Hilariona Karpińskiego [1766], historii: *Historia Indyi Wschodnich skrócona* Tadeusza Podleckiego [Wilno 1776]; *Krótkie Zebranie Historii y Geografii Polskiej* Teodora Wagi [Supraśl 1767], *Thron oyczysty abo palec wieczności w krótkim zebraniu monarchów, xiążąt y królów polskich...* Augustyna Kołudźkiego [Supraśl 1727]; *O początku i dziejach narodu rzymskiego, Powieści ksiąg IV. Albo historia Wielmożnego tego Narodu...* Juliusza Flory [Wilno 1790]. Wśród poradników najbardziej znanym opracowaniem były *Przepisy rolnictwa i ogrodnictwa, Naynowszemi przykładami wzorami, i planami Ekonomiki objaśnione i potwierdzone. Zebrane i w szkołach Białostockich narodowych... dawane...* Bartłomieja Dziekońskiego [Supraśl 1796]; *Traktat o pszczolach z francuskiego wydany...* ojca de La Ferriere [Supraśl 1783, 1789]; *Zabawa ogrodowa* [Począjów 1798]; *Gospodarstwo domowe...* Jana Hermanna [Wilno 1791]; *Informacya praktyczna o paleniu wodek pedzeniu dobrych alembikowych gorzałek y likworów z przyłączonymi wraz sposobami robienia różnego gatunku przednich essencyi. Na pożytek gospodarzom, osobliwie zaś pisarzom ekonomicznym i browaru dozorcóm* Jana Chrystiana Simona [Supraśl 1796] i inne. Por. też: Getka 2013, 232–245.

<sup>4</sup> Por. wstęp do: Alexego Pedemontana Medyka y Philosopha, *Tajemnice Wszystkim Oboiey Płci nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorób, począwszy od głowy, aż do stop, bárzo potrzebne; ale y Gospodarzom, Rzemieślnikom, zwłaszcza przedniejszych y subtelniejszych robot, do ich rzemiosł należących, y innym wiele pożyteczne. Z Łacińskiego Języka na Polski przedtem przełożone, y w porządek dobry wpráwione; przez Sebastýana Slaskowskiego; do których przydáne są lekárstwa wyborne y doświadczone, ná rozmaite choroby, teráz dla żądania wielu Godnych Osób przedrukowane.* W Supraslu W Drukárni WW. OO. Bazyliánów, Roku 1737.

<sup>5</sup> Por. ibidem.

<sup>6</sup> Zob. np. *Porządek życia...* Szymona Tissota przetłumaczony przez Ludwika Perzynę i trzykrotnie przedrukowany poradnik medyczny Jana Pawła Bieretowskiego. Por.: Szymon Andrzej Tissot, *Porządek życia, w czerstwości zdrowia w długie prowadzący lata za wszystkich dzieł P. Tyssota w jedno zebrany...* [Supraśl 1789]; Paweł Jan Biretowski, *Wiadomość ciekawa każdemu wielce pożyteczna o skutkach y mocy zboż wszelakich,*

specyfikacja medykamentów w *Hali Magdeburgskiej preparowanych z informacją należytą zażywania y ich skutków* Chrystiana Zygmunta Richtera<sup>7</sup>, twórcy bardzo popularnej w zbiorach szlachty polskiej tak zwanej *Apteczki Halskiej*, prezentuje spis podstawowych składników leków wraz z ich cenami oraz instrukcjami sporządzania lekarstw. Rejestr alfabetyczny dolegliwości znajdujący się na końcu książki daje przy tym wyobrażenie o jednostkach chorobowych znanych w XVIII wieku.

Uczono także, jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Bardzo ciekawym w tym kontekście jest poradnik supraski z 1776 roku: *Nauczanie przez jakie sposoby nagle zginione i za umarłe poczytane osoby ratowane być mogą ku pożytkowi publicznemu na żądanie znanych osób*.

Ze względu na rolę, jaką w gospodarstwie pełniły zwierzęta, zainteresowaniem czytelników cieszyły się teksty dotyczące leczenia ich chorób i urazów. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wydany w 1788 roku w Poczajowie poradnik *Książka lekarstw końskich*.

Wszelkie książki, również te o charakterze poradnicarskim, w końcu XVIII wieku były „towarem” dostępnym tylko dla wąskiego kręgu odbiorców. Drobną szlachta, a także niższe warstwy społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej nie były zainteresowane kupnem książki ze względów finansowych oraz przeświadczenia o niedostępności ich treści.

Tam, gdzie nie docierała żadna literatura naukowa, trafiały kalendarze i wspomniane wyżej klucze prognostyckie<sup>8</sup>. Nieodłączną ich częścią były porady lecznicze.

---

*jarzyn i zioł różnych... ku zdrowiu ludzkiemu wielce służąca... z poważnych autorów zebrana... Teraz zaś przedrukowana* [Supraśl 1774, 1779, 1797]; *Apteka domowa dla poratowania zdrowia potrzebna z autorów różnych zebrana, tak też lekarstwa dla koni, bydła i innego drobiu. Z przydatkiem ciekawych wiadomości za pozwoleniem zwierzchności do druku podana* [Poczajów 1788].

<sup>7</sup> Zygmunt Chrystian Richter, *Krótką specyfikacją medykamentów w Hali Magdeburgskiej preparowanych z informacją należytą zażywania y ich skutków... Wydana naprzód łacińskim językiem, teraz na polski przetłumaczona i do druku podana przez Dawida Samuela Madaj medicinae doktora w Hali* [Supraśl 1745].

<sup>8</sup> Retzen Jan (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski, święta roczne, biegi miesięczne. Signa zodiacy. Aspecta. Wybory. Prognostyk generalny, y pertykularny w sobie zawierający. Na rok Pański 1713, bez przybyśzu i przestępu. Przez Jana Retzena, Astrologa pruskiego z wielką czułością wyrachowany y do druku podany...* [Supraśl]; Jan Retzen (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski, święta roczne, biegi miesięczne. Signa zodiacy. Aspecta. Wybory. Prognostyk generalny, y pertykularny w sobie zawierający. Na rok Pański 1714, po przestępnym wtóry. Przez Jana Retzena, Astrologa pruskiego z wielką czułością wyrachowany y do druku podany...* [Supraśl]; Retzen Jan (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski, święta roczne, biegi miesięczne. Signa zodiacy. Aspecta. Wybory. Prognostyk generalny, y pertykularny w sobie zawierający. Na rok Pański 1718, po przestępnym wtóry. Przez Jana Retzena, Astrologa pruskiego z wielką czułością wyrachowany y do druku podany...* [Supraśl]; *Kalendarz polski y ruski na rok pański przestępny na rok 1788 pod znakiem księżycy. Wyrażający Święta rzymskie i ruskie, tudzież aspekty wybory, bieg planet odmiany powietrza czas siania, szczepienia, lekarstw używania, dni feralne, wschód y zachód słońca, zaćmienia y inne ciekawe obserwacje* [Supraśl]; *Kalendarz polski y ruski na rok 1790 pod znakiem księżycy. Wyrażający Święta rzymskie i ruskie, tudzież aspekty wybory, bieg planet odmiany powietrza czas siania, szczepienia, lekarstw używania, dni feralne, wschód y zachód słońca, zaćmienia y inne ciekawe obserwacje...* [Supraśl]; *Kalendarz polski y ruski na rok 1796 pod znakiem księżycy. Wyrażający Święta rzymskie i ruskie, tudzież aspekty wybory, bieg planet odmiany powietrza czas siania, szczepienia, lekarstw używania, dni feralne, wschód y zachód słońca, zaćmienia y inne ciekawe obserwacje* [Supraśl]; *Klucz prognostycki to iest: rzetelne objaśnienie słów y przewisk niewyrozumiałych, których... Astrologowie w Kalendarzach y prognostykach swoich używają, a przez to miasta i osoby pewne rozumieją z przydatkiem słonecznego Wschodu y Zachodu; y praktyki gospodarskiej na Meridianach przeznaczonych Xięstw W. X. L. i Pruskiego a naprzód na ich stołeczne miasta, Wilno i Gdańsk, do których na 30 mil y daley, okoliczne odległe mieysca, iakoto: Żmudzkie, Siewierskie*

Ze względu na bardzo wysoki jak na owe czasy nakład (od pięciu do siedmiu tysięcy<sup>9</sup>), można je było znaleźć w każdym domu – od salonów arystokracji, poprzez gospodarstwa drobnej szlachty i mieszczan, po wiejskie plebanie i chaty [Gorczyńska 1999, 8]. Nierzadko były one jedyną książką w dworku szlachty zagrodowej czy mieszczan<sup>10</sup>, dlatego trudno przecenić ich rolę w popularyzacji wiedzy wśród mieszkańców Rzeczypospolitej. Wiedza podawana w przystępnej formie odzwierciedlała osiągnięcia epoki i uwzględniała poziom ówczesnego czytelnika<sup>11</sup>.

## Bazylińskie porady medyczne

Przeanalizowane porady można podzielić na następujące grupy tematyczne: zapobieganie chorobom, leczenie oraz postępowanie powypadkowe. Z punktu widzenia osiągnięć współczesnej medycyny treści te można podzielić na przydatne i szkodliwe.

Wśród porad związanych z prewencją zachorowań można wymienić poruszaną już wcześniej Galenowską (Galen II w. n.e.) teorię medycyny humoralnej, zgodnie z którą każdy człowiek ma w sobie cztery podstawowe żywioły (ogień i powietrze, woda i ziemia), w różnej proporcji, o której decyduje układ gwiazd w dniu urodzin. Żywioły te

---

y Czernichowskie Xięstwa, także Kujawy, Pomorszczyzna ect. ect. ... bez znaczney dyfferencyey stosować się mogą każdego dnia na kilkaset niemal lat następujących lat służącego..., [b.m. 1754]; *Klucz prognostykarski to iest: rzetelne objaśnienie słów y przewisk niewyrozumiałych, których... Astrologowie w Kalendarzach y prognostykach swoich używaią, a przez to miasta i osoby pewne rozumieią z przydatkiem słonecznego Wschodu y Zachodu...* [1768]; *Klucz prognostykarski to iest: rzetelne wiadomości o roku i jego częściach, o poprawie kalendarza i sposobie jego używania, o biegu słonecznym przez XII Zodyacyjnych znaków, tudzież wykłady lat klimaterycznych, dni feralnych, podeyrzanych lub krytycznych, przyczyny zaćmienia Słońca, Xiężyca i innych planet, przestrogi do puszczania krwi i używania lekarstw, wiadomości starożytne ciekawe, doświadczenia i wieszczby względem odmian powietrza, urodzaiu, zdrowia, trzęsienia ziemi. Zawieraiący z przydatkiem kalendarza poprawnego i starego Wschodu i Zachodu; słońca, czasów i świąt pryncypalnieyszych, w które dni ubywaią lub przybywaią, dla wygody nakręcania Zegarów i praktycznych gospodarskich na horyzont Krakowski i blisko sto mil w okolo niego służący... przedrukowany. W Supraslu WW. OO Bazilianow* [b.m. 1781].

<sup>9</sup> Np. nakład kalendarza na rok 1796 wyniósł 5000 egzemplarzy, co zostało zapisane w supraskim *Obra-chowaniu różnych xiąg 10 I 1795–10 I 1796*. Por. też: Baczko, Hinz 1975, 7; Cubrzyńska-Leonarczyk 1993, 177. Ponieważ kalendarze drukowano najczęściej dwukrotnie – jesienią roku poprzedzającego, ten na który kalendarz był szykowany i – w razie dobrej sprzedaży – wiosną roku ukazanego na kalendarzu, przy charakterystyce tych wydawnictw podawana będzie data – rocznik kalendarza, nie zaś potencjalny rok jego wydania.

<sup>10</sup> Twierdzenie takie można wysnuć na podstawie tekstów ówczesnych autorów, por. np. Naruszewicz 1972, 143–144, por. też: Baczko, Hinz 1975, 13.

<sup>11</sup> Ze względu na ukształtowany już w XVIII wieku i utrwalaony później stereotyp o treści i czytelnikach kalendarzy, zgodnie z którym kalendarze przedstawiane są jako źródło zabobonów i ciemnoty dla zaściankowej i przesądnej szlachty prowincjonalnej, literatura tematu jest dość szczupła. Jako literatura straganowa kalendarze przez niektórych literaturoznawców są w często pomijane w badaniach historyczno-literackich. Na tym tle warto podkreślić, że pojawiło się kilka interesujących i wartościowych opracowań wydawnictw kalendarzowych, podkreślających znaczenie dodatków kalendarzowych i ich funkcję popularyzatorską, Bogdan Rok *Kalendarze polskie czasów stanisławowskich* [Wrocław 1985], Małgorzata Gorczyńska *Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737–1821)* [Lublin 1999], Maciej Janik *Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej* [Warszawa 2003]. Niestety, tylko w małej części obejmują one druki bazylińskie. Wynika to z opinii, iż te nie odegrały takiej roli jak kalendarze innych zgromadzeń zakonnych – jezuitów i pijarów i że zawierały najczęściej treści dewocyjno-liturgiczno-hagiograficzne, informacje administracyjne zakonu, spisy dobroczyńców, czy też powieły typ *kalendarza prognostykarskiego* [Gorczyńska 1999, 40].

pozostają w ścisłym związku z *wilgotnościami* człowieka, których zadaniem było odżywianie różnych tkanek ciała. Równowagę organizmu miała zapewnić odpowiednia proporcja czterech płynów (*wilgotności*): czarnej i żółtej żółci, flegmy i krwi. Na podstawie różnych proporcji płynów życiowych, wyodrębniono cztery podstawowe temperamenty człowieka – krwisty, flegmacyjny, choleryczny i melancholiczny. Do każdego z nich przyporządkowano odpowiedni styl życia<sup>12</sup>.

Bazylianie mieli świadomość, że problemy zdrowotne XVIII-wiecznego społeczeństwa były w dużej mierze powodowane trybem życia, złą, ciężkostrawną dietą i nadużywaniem alkoholu. Zalecano umiar, podając pozytywne przykłady z Włoch i Turynii, *dłużej pospolici Włosi żyją, bo w jedzeniu i piciu miarę mają, w Polsce wielu ludziom bankiety, y pijaństwa ukróciły życia*<sup>13</sup> czy *Roku 1613 Fridericus Fornarus Suffragenus Bambergensis, będąc visitorem Thuringie, znalazł w nich dwieście ludzi po sto dziesięciu mających lat, a jednego sto pięćdziesiąt lat żyjącego (...)* Nie znajdziemy w Polsce tego szczęścia, bo pijaństwo dla poratowania zdrowia byź wynalezione rozumiemy<sup>14</sup>. Ukazywano zwyczaję innych narodów, co miało skłonić zapewne do refleksji: *Egipczykowie chwalebny wymyślili sposób, dla uskromienia pijaństwa, gdy na bankietach trupa stawiali na stole i z czaszy trupiej częstowali*<sup>15</sup>. W swych przestroгах odwoływali się do religii (*Bogu obmierzłe obżarstwa*)<sup>16</sup>, wiedząc, że uregulowania prawne tu nic nie pomogą. W Niemczech na sejmach Augustyńskich lat 1500, 1512, 1530 i 1548 wprowadzono „srogie konstytucje”, ale na nic się to zdało, gdyż już na tych sejmach z nich sztydono i co więcej: *pijāk – wznoszono toasty za pomyślność nowych uregulowań*<sup>17</sup>.

Przestrogi przed nadmiernym pijaństwem i objadaniem się bazylianie zamieszczali także w wydawanych przez siebie satyrycznych broszurach, np. *Bando przeciwko gorzałce y wszystkim iey naśladowcom*<sup>18</sup>. Poza dbaniem o dietę, zakonnicy zalecali odpowiedni tryb życia, dbanie o moralność, „cnotę”: *Niecnotliwy żywot skraca dni życia, a cnotliwy przyczynia. Miej dobre sumienie, (...) pracuy, miej w pokarmach i napoiach wielką baczność, dobre zdrowie twoie i dni twe zaprowadzisz w długie lat przeciāgi miej w życzliwej i niechętnej fortunie wesolā, a nie zmyślōną serca żywot*<sup>19</sup>. Między radami, dotyczącymi zdrowia, bazylianie przemycali poparte autorytetem „naukowca” myśli na temat poszanowania wartości rodzinnych i społecznych: *Śluchay Matematyka: Kto chce byź długoletnim na ziemi (obietnicę Bóg wypelni) niechay szanuie Rodzicōw swoich*<sup>20</sup>.

<sup>12</sup> Por. Szymon Andrzej Tissot, *Porządek życia...*, op. cit.; Paweł Jan Biretowski, *Wiadomość ciekawa...*, op. cit.; *Klucz prognostykarski...* [1754], op. cit.

<sup>13</sup> Jan Retzen (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski... Na rok Pański 1713*, op. cit.

<sup>14</sup> Jan Retzen (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski... Na rok Pański 1718*, op. cit.

<sup>15</sup> Jan Retzen (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski... Na rok Pański 1713*, op. cit.

<sup>16</sup> Jan Retzen (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski... Na rok Pański 1718*, op. cit.

<sup>17</sup> Jan Retzen (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski... Na rok Pański 1713*, op. cit.

<sup>18</sup> *Bando przeciwko gorzałce y wszystkim iey naśladowcom. Na rekwiżycję różnych osób gorzałkę się bawiacych, tak w Polsce, w Litwie iako y po inszych krajach etc. etc. z przydatkiem odzowu tabaki do przyjaźni z gorzałką, tudzież kalumnij włożonych od niektōrego na te dwie siostry filozofa, a refutacyami, przez wziętych w ich szkolach studentōw Moczy-wąsa y Tabakułskiego objaśnionych* drukowano w XVIII wieku trzykrotnie [Supraśl 1720, 1758, 1782].

<sup>19</sup> *Klucz prognostykarski* [1781].

<sup>20</sup> *Ibidem*.



Wszystkie te porady wskazywały, że aby cieszyć się długim, szczęśliwym życiem, należy zachować umiar w jedzeniu i picu. Radzono, by w zdrowiu i w chorobie zawieńczyć osobom, które mają doświadczenie – stąd nawoływanie o szacunek dla starszych (rodziców) i postępowanie wedle ich rad, w razie choroby zaś – zdać się na wykształconych w tej dziedzinie ludzi, nie zaś stosować na wpuł magiczne i do tego często szkodliwe środki.

Popularyzowana przez zakonników wiedza szerzyła powszechną w społeczeństwie teorię, że stan chorobowy jest wynikiem zachwiania proporcji wymienionych wyżej płynów w organizmie człowieka [por. Baczek, Hinz 1975, 162–165; Kowalski 2000, 174, 292]. Dodatkowo, każda choroba miała swoje dni krytyczne, kiedy to *w Pacyencie mieszaia się humory i choroba się mieni na polepszenie, albo na pogorszenie*<sup>21</sup>. Czasem wręcz wymieniano je dokładnie (i wskazywano 7, 14, 21, 28, 35 itd.<sup>22</sup> dzień od początku choroby), choć zastrzegano przy tym, że *raz prędzey, drugi leniwiej postępuje, tedy nie zawsze w te dni przypadają Crises. Kto ie chce doskonale wiedzieć, trzeba mu się znać na Astronomij*) i radzono, by zawczasu zaopatrzyć pacjenta w odpowiednie lekarstwa. W niektórych wydaniach sugerowano wprost: *wybicie z głowy niepotrzebney skrupulacyi chorych, że gdy trzeba wziąć z recepty Pana Medyka lekarstwo, zarzucaia*<sup>23</sup>. Aby zadziałać mocniej na wyobraźnię czytelników, zalecano: *Dies Feralis u Panów Astronomów nie znaczy tego, co u Panów Grammatyków. U Panów Grammatyków bowiem znaczy „in polonico”: śmiertelny*. Jest oczywiste, że tego typu przestrogi sugerowały, by nie czekać, aż nastąpi dzień feralny, ale kurować się od początku wystąpienia objawów. Tego typu rady należałoby więc klasyfikować jako racjonalizację zachowań medycznych.

Mimo że zakonnicy cieszyli się wśród ludu opinią dobrych znawców, informacje dotyczące leczenia chorób niejednokrotnie można uznać za dyskusyjne z punktu widzenia ich skuteczności. W dość luźny sposób łączyły one cechy medycyny ludowej z osiągnięciami nauk medycznych i farmakologii. Podawane metody leczenia zwalczały

<sup>21</sup> Np. *Klucz prognostykarski to iest: rzetelne objaśnienie słów y przezwisk niewyrozumiałych, których... Astrologowie w Kalendarzach y prognostykach swoich używają, a przez to miasta i osoby pewne rozumieją z przydatkiem słonecznego Wschodu y Zachodu; y praktyki gospodarskiej na Meridianach przeznaczonych Xięstw W. X. L. i Pruskiego a naprzód na ich stołeczne miasta, Wilno i Gdańsk, do których na 30 mil y daley, okoliczne odlegle mieysca, iakoto: Żmudzkie, Siewierskie y Czernichowskie Xięstwa, także Kujawy, Pomorszczyzna ect. ect. ... bez znaczney dyfferencyey stosować się mogą każdego dnia na kilkaset niemal lat następujących lat służącego... [1754].*

<sup>22</sup> Z magiczną wiarą w znaczenie liczb związany był również przesąd wiary w dni i lata tzw. klimakteryczne, czyli cyklicznie powtarzające się, przynoszące ze sobą jakieś ważne wydarzenie, które odczytywano jako potencjalnie niebezpieczne w życiu. *Klucze prognostykarskie* zawierają na przykład zestawienie dni podejrzanych każdego miesiąca, opracowane na podstawie wyliczeń różnych autorów – świętego Hieronima, świętego Adelfonsa, Wolfgangusa, Tychona Bracho, astronoma duńskiego, Homera, Stanisława Słowakowicza, astronoma polskiego. Bazylianie wskazywali na lata feralne w życiu, które wypadały różnie w zależności od tego, w jakim znaku zodiaku kto się urodził (tak na przykład dla ludzi urodzonych w znaku Barana krytycznym miał być 22., 30. i 75. rok życia, dla ludzi spod znaku Wagi – 15., 25., 42., 85. itp.). Według innych przepowiedni, lata klimakteryczne były wielokrotnością liczby siedem i dziewięć (a najgorszy był 63. rok życia, jako iloraz obu tych liczb).

<sup>23</sup> *Klucz prognostykarski to iest: rzetelne objaśnienie słów y przezwisk niewyrozumiałych, których... Astrologowie w Kalendarzach y prognostykach swoich używają, a przez to miasta i osoby pewne rozumieją z przydatkiem słonecznego Wschodu y Zachodu... [1768].*

raczej objawy choroby, nie lecząc jej samej. Stawiano przy tym na samowystarczalność leczącego się. Dlatego wśród proponowanych lekarstw dominowały ziołowe specyfiki pochodzenia roślinnego, łatwe do przygotowania i zastosowania w domu. Radzono, by korzystać z opieki lekarzy, ale jednocześnie przestrzegano przed licznymi konowalami, którzy nieraz zapewne więcej zaszkadzili niż pomogli<sup>24</sup>. Popularnym w XVIII wieku, a praktykowanym do dziś sposobem radzenia sobie ze słabościami, było stawianie baniek. W zależności od miejsca przyłożenia, bańki miały leczyć różne dolegliwości<sup>25</sup>.

Powszechnym sposobem leczenia chorób w XVIII wieku były puszczenie krwi oraz stosowanie środków przeczyszczających (*purganse*). Dokładne informacje na ten temat zawierają artykuły *Niektóre reguły o sposobnym czasie do używania lekarstw i purgansów* oraz *Wiadomość o Krwi puszczaniu, tak puszczadłem jako i bańkami*<sup>26</sup>. Krew puszczano przez nacięcie żył przy pomocy puszczadła, stawianie baniek bądź też przystawianie pijawek. Ze względu na towarzyszącą temu otoczkę tajemniczości połączoną z zabobonami, na pierwszy rzut oka informacje te były sprzeczne z trendami oświeceniowymi<sup>27</sup>.

Z druków bazylikańskich wynikało, że puszczenie krwi stosowano w dwóch przypadkach: przy leczeniu chorób (m.in. w *powietrzu, pleurze, skwinancyi, szaleństwie, apoplexyi*) bądź też z „obierania”, czyli bez uzasadnienia medycznego. Bazylianie stwierdzali kategorycznie, że w wypadku choroby, jeśli zapadła taka decyzja lekarza, krew należało puszczać niezwłocznie, nie zważając na układ planet, wiek chorego czy pogodę. W innych wypadkach, tj. w profilaktyce lub bez wskazań lekarskich, radzono poczekać na „czas wyborny”. Wskazywano przy tym na liczne ograniczenia, gdy należało się wstrzymać od puszczenia krwi, by nie było więcej szkód niż pożytku. W dniu puszczenia krwi nie powinno być zbyt gorąco, ani też zbyt zimno. Znaczenie miał wiek chorego – nie powinno się puszczać krwi u osób mających mniej niż 14 lat i więcej niż 50. Osoby w odpowiednim przedziale wiekowym miały się poważnie zastanowić, czy rzeczywiście istnieje konieczność zabiegu. Zalecano, by latem i na wiosnę krew puszczać z prawej strony ciała, zimą i jesienią zaś – z lewej. Należało przy tym zwracać uwagę na księżyc – niewskazanymi do procedury były dwa dni przed i po nowiu, kiedy to księżyc *wilgotności swojej, której ciała ludzkie wielce potrzebują cale pozbywa*. Jeśli wówczas utoczy się z człowieka krew, to – przestrzegano – raz, że skraca mu się życie, a dwa – osłabia, przez co staje się podatny na nowe infekcje. Nie należało puszczać krwi również na jeden dzień przed i po pełni księżyca, a także w okresie dwunastu godzin po pierwszej i ostatniej kwadrze księżyca, w czasie kanikuly i innych. Szczegółowe informacje kierowano do przedstawicieli różnych typów charakterów – terminy puszczenia krwi melancholików

<sup>24</sup> Jan Retzen (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski, święta roczne, biegi miesięczne, Signa zodiaci. Aspecta. Wybory. Prognostyk generalny, y pertykularny w sobie zawierający. Na rok Pański 1718...* Przez Jana Retzena, *Astrologa pruskiego z wielką czułością wyrachowany y do druku podany...*; Jan Retzen (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski, święta roczne, biegi miesięczne, Signa zodiaci. Aspecta. Wybory. Prognostyk generalny, y pertykularny w sobie zawierający. Na rok Pański 1719...* Przez Jana Retzena, *Astrologa pruskiego z wielką czułością wyrachowany y do druku podany...*

<sup>25</sup> *Klucz prognostykarski...* [1768], op. cit.; *Klucz prognostykarski...* [1781], op. cit.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> Taką tezę zawiera m.in. praca Małgorzaty Gorczyńskiej *Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach* [Gorczyńska 1999].

różniły się od terminów zabiegu w przypadku choleryków czy flegmatyków<sup>28</sup>. Udzielano także praktycznej rady jak nie zemdleć podczas puszczenia krwi: *nie zemdleje ten, który zimną wodę w gębie trzyma, albo sól na języku*<sup>29</sup>.

Dokładna analiza przytoczonych treści skłania więc raczej ku zarysowanej już wyżej tezie, że bazylianie swoimi popularnymi wydawnictwami pragnęli wpłynąć na racjonalizację postępowania swoich odbiorców.

W bazylińskich drukach często odnajdujemy informacje, jak udzielać pierwszej pomocy w wypadkach. Ratunek ludziom *utopionym, powieszonym, zaduszonych czadem i innymi gazami* oraz *odmrożonym* miało zapewnić postępowanie według instrukcji lekarza *województwa kijowskiej – Potockiej, Chirnesa*<sup>30</sup>. Podobnie jak rady dotyczące stosowania innych zabiegów – np. purgansów, z punktu widzenia dzisiejszej medycyny ich skuteczność jest wątpliwa. Wyciągniętego z wody topielca, który leży *bez czucia i pulsu*, nie zaleca się reanimować na miejscu. Krytykowano metody uznawane za przestarzałe, polegające na próbie pozbycia się wody z płuc przez położenie poszkodowanego na beczkę, jednak sugerowane „nowoczesne” porady niewiele w skuteczności się od nich różniły. Radzono, by topielca delikatnie przewieźć do domu, a tam zaaplikować mu tytoniową lewatywę (podobne zalecenie dotyczyło wisielca) i nacierać mu skronie octem. Także w tych przypadkach zalecano puszczenie krwi, choć procedurę tę traktowano jako sposób sprawdzenia stanu poszkodowanego (gdy krew nie spływa, należy kontynuować procedury reanimacyjne). W przypadku odmrożenia odradzano natychmiastowe przeniesienie poszkodowanego do nagrzanego pomieszczenia, co jest zgodne z dzisiejszymi zaleceniami o stopniowym ogrzewaniu organizmu, jednak porada, by zamrożonego człowieka najpierw zakopać w śniegu, budzi wątpliwości.

Poradnik nie zasługuje jednak na pełną krytykę. Znajdujemy tu choćby zalecenia stosowania nowatorskiej metody sztucznego oddychania metodą usta-usta. Poszkodowanego trzeba *natchnąć świeżym powietrzem. To się stanie najkrótszym sposobem, kiedy zdrowy i silny człowiek usta swoje na ustach mniemanego umarłego położy, y za kilkakrotnym powtórzeniem z przyciskiem wiele tchu napuści, lecz przy tym nos chorego zatkany być musi, ażeby się tym pewniej do płuc dostało powietrze.*

<sup>28</sup> Kalendarze tłumaczyły przy tym jak określić temperament, umieszczając cechy każdego z nich. Np. *Klucz prognostykarski...* [1768], op. cit.; *Klucz prognostykarski...* [1781], op. cit.

<sup>29</sup> Np. *Klucz prognostykarski...* [1768], op. cit.; *Klucz prognostykarski...* [1781], op. cit. Podobne treści, nawołujące do umiaru w leczeniu, zawierają również wydania kalendarzy z pierwszej połowy XVIII wieku. Por. Jan Retzen (Rhetz), *Kalendarz Polski y ruski... Na rok Pański 1715*, op. cit.

<sup>30</sup> *Nauczanie przez jakie sposoby nagle zginione...*, op. cit. W dziele *Uwagi polityczne do prawideł religii 1789*, na stronie XXXIII, wspomina się, że *Chirnes lekarz niegdyś Potockiej Wojew. Kijows. wydał w Zamościu książeczkę: Sposoby ratowania ludzi.* Choć *Bibliografia polska* odnosi tą adnotację do broszur Biretowskiego, to wydaje się celowe odnieść ją raczej do opisywanej książki.

## Podsumowanie

Powodowani troską o swoich niewykształconych czytelników, bazylianie w swoich poradnikach posługiwali się językiem i obrazami do nich przemawiającymi. Czyniąc z przyjmowania leków i procedur medycznych swoistą, niemal magiczną ceremonię, obwarowaną licznymi warunkami, zakonnicy skłaniali czytelników do refleksji nad stosowaniem pewnych zabiegów (takich jak purgansy czy puszczenie krwi). Niejednokrotnie bowiem stosowanie popularnych procedur leczniczych nie tylko nie pomagało w walce z chorobą, ale wręcz zagrażało zdrowiu i życiu osoby im się poddającej. Bazylianie piszą zresztą o tym wprost: *Wszyscy tak młodzi, jako i starzy, którzy jeszcze przy dobrym zdrowiu zostają, i do tego czasu żadnego szwanku i szkody w życiu swoim nie odnieśli, niechaj swojej natury, albo przyrodzenia Lekarstw, osobliwie purgującymi nie obciążają, ani często onych używają, aby przyrodzona gorącość nie osłabiała, i rozmaite wilgotność zbyteczne, albo gwałtowne onym nie zaszkodziły*<sup>31</sup>.

Bazylikańskie poradniki, poza innymi ważnymi ich aspektami, wpisywały się w założenia nauki polskiej w XVIII wieku, która kładła nacisk nie tyle na badania podstawowe, ile na konieczność w wykorzenianiu ciemnoty. Główne wysiłki kierowano na upowszechnianie wiedzy praktycznej – dla „pożytków społeczności” [Opalek 1971]. Bazylianie adresowali swe teksty zwłaszcza do średniej szlachty – głównego czytelnika na wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej, do plebanów, za których pośrednictwem docierały one do prostego ludu, a także do mieszczan. To z myślą o tych warstwach, niezbyt gruntownie wykształconych, bazylianie wydawali popularne kalendarze i poradniki. Zawarte w nich informacje z jednej strony świadczą o tym, jak wielkie było zapotrzebowanie na wiedzę o sposobach leczenia, z drugiej zaś, jak słabo umiano sobie radzić w chorobie.

Do drukowanych przez siebie kalendarzy bazylianie podchodzili ze sporą dozą ironii, co wielokrotnie znajduje wyraz w tekstach. Ostrzegali przy tym, że zalecane porady nie są *Ewangelią, w którą koniecznie wierzyć trzeba*, ale ponieważ dawni autorzy nie bez racji je wynaleźli, to można zwrócić na nie uwagę<sup>32</sup>. Wskazane problemy były przyczyną podjęcia analizy, której rezultaty przedstawiono w niniejszym artykule. U jego podstaw legło założenie, że bazylianie mieli jasno sprecyzowany cel popularyzacji dostępnej im wiedzy medycznej. Wskazując na różne istniejące procedury medyczne, często je ośmieszając, zakonnicy chcieli skłonić czytelnika do refleksji nad powszechnymi i stosowanymi bezkrytycznie metodami, sugerując bardziej racjonalne sposoby zachowania.

Zamieszczone w analizowanych poradnikach i kalendarzach porady na temat leczenia stanowią znakomity materiał do badań nad historią rozwoju medycyny i weterynarii na ziemiach Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Przybliżają ówczesny stan medycyny, znane choroby i sposoby ich leczenia, a także wskazują na uniwersalną determinację ludzi, bezkrytycznie podejmujących śmiertelne niekiedy ryzyko, aby poprawić stan swojego zdrowia.

<sup>31</sup> Ibidem.

<sup>32</sup> Np. *Klucz prognostykowski...* [1768], op. cit. i *Klucz prognostykowski...* [1781], op. cit.

## Bibliografia

- Baczko B., Hinz H., 1975, *Kalendarz półstuletni 1750–1800*, Warszawa.
- Cubrzyńska-Leonarczyk M., 1993, *Oficyna supraska 1695–1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni bazylianów*, Warszawa.
- Getka J., 2013, *Polskojęzyczne druki bazylińskie (XVIII wiek)*, Warszawa.
- Gorczyńska M., 1999, *Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737–1821)*, Lublin.
- Kowalski P., 2000, *Theatrum świata calego i poćciwy gospodarz*, Kraków.
- Opalek K., 1971, *Nauka w Polsce okresu Oświecenia* // Leśnodorski B. (red.), *Polska w epoce Oświecenia*, Warszawa.
- Rostworowski E., 1977, *Historia powszechna. Wiek XVIII*, Warszawa.
- Ślękowa L., 1991, *Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku*. Wrocław.
- Naruszewicz A., 1772, *Chudy literat* // Naruszewicz A., 2002, *Satyry*, Kraków.

## Summary

### BASILIAN MEDICAL ADVICE (18TH CENTURY)

Advice on the treatment of humans and animals published in Basilans' handbooks and calendars are an excellent material for studying the history of the development of medicine and veterinary medicine in the territories of the Republic of Poland in the eighteenth century. They provide information about the state of medicine, known diseases and their treatment.



**Ewa Kujawska-Lis**

Katedra Filologii Angielskiej  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

**Andrzej Lis-Kujawski**

Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## ZATOPIONE W TŁUMACZENIU. KILKA UWAG O (NIE)KOMPETENCJI TŁUMACZA W KONFRONTACJI Z WIEDZĄ CZYTELNIKA

**Key words:** translation, translator's competence, meta-competence, specialist language, military and naval terminology

W roku 1972 ukazał się przełomowy artykuł Jamesa S. Holmesa *The Name and Nature of Translation Studies*, który powszechnie uznawany jest za podwaliny dziedziny naukowej nazywanej w krajach anglojęzycznych *Translation Studies* [Gentzler 2001, 93], a w Polsce translatoryką, translatologią bądź przekładoznawstwem. Autor zdefiniował w nim, czym powinna się zajmować nowa wówczas dyscyplina. Od tego czasu dynamicznie zaczęły się rozwijać między innymi badania nad kompetencjami tłumacza. Nie znaczy to oczywiście, że nikt wcześniej nie pisał o tym zagadnieniu. Choćby w Polsce Wacław Borowy chwalił specyficzną umiejętność zdobywania przez tłumacza wiedzy, którą współcześnie nazwać można by kompetencją: „Julian Brona, jeden z tłumaczy Tołstoja, znalazłszy w tekście jakiś obcy sobie szczegół z zakresu budownictwa drzewnego, nie poprzestał na słownikowym wyjaśnieniu, ale poszedł na pobliską budowę, żeby rzecz na własne oczy zobaczyć i od cieśli się dowiedzieć, jak ją po polsku nazywają. Podobnie u muzyczki informował się o wyrażeniach muzycznych” [Borowy 1955, 28]. Niemniej jednak James S. Holmes stworzył projekt opisujący zadania nowej dyscypliny, w którym kwestie związane z kompetencjami tłumacza badacze mogli rozpatrywać zarówno z punktu widzenia teorii (*Theoretical Translation Studies*), jak i praktyki, w odniesieniu do nauczania przyszłych tłumaczy w ramach *Applied Translation Studies* (translatoryki stosowanej). Powstały zatem różnorodne typologie i kategoryzacje kompetencji tłumacza.

W tradycyjnym i powszechnym ujęciu kompetencje tłumacza obejmują wszystkie umiejętności niezbędne do wykonania przekładu międzyjęzykowego. Mona Baker, kontrastując kompetencję (*competence*) z wykonaniem (*performance*), określa tę pierwszą jako „poziom opis, pozwalający teoretykowi na sporządzenie listy opcji, dostępnych tłumaczowi w danym kontekście”, a wykonanie to „podzbiór opcji, które tłumacze wykorzystują w rzeczywistości” [Baker 2005, 164; tłum. z j. angielskiego E. Kujawska-Lis]. Widać tu wyraźnie rozróżnienie między konstruktem teoretycznym (kompetencja) a jego realizacją w praktyce (wykonanie). Kompetencja tłumaczeniowa to termin ogólny, a składa się na nią kilka różnych typów kompetencji, między innymi: językowa, kulturowa/encyklopedyczna, pragmatyczna oraz psychologiczna i logiczna<sup>1</sup>. Podstawową kompetencją tłumacza jest bez wątpienia kompetencja językowa odnosząca się do obu języków: wyjściowego i docelowego. Obejmuje ona kompetencję leksykalną, składniową, prozodyczną, stylistyczną, dyskursywną [Pisarska, Tomaszkiwicz 1998, 82]. Kompetencja encyklopedyczna to, ujmując rzecz w skrócie, cały bagaż wiedzy i informacji, które ma do dyspozycji tłumacz, czyli cały bagaż kognitywny, który zgromadził w ciągu swojego życia [Pisarska, Tomaszkiwicz 1998, 82]<sup>2</sup>. Kompetencja pragmatyczna, bądź retoryczno-pragmatyczna, to wiedza dotycząca funkcjonowania dyskursu, reguł rządzących procesem komunikacji, czyli orientowanie się w relacjach między uczestnikami aktu komunikacji [por. Dąbska-Prokop 2000, 110; Pisarska, Tomaszkiwicz 1998, 84–88].

Więcej uwagi chcielibyśmy poświęcić kompetencji nazywanej psychologiczną. Wspólnie z kompetencją logiczną miałyby ona przyczyniać się do rozumienia i interpretowania znaczenia tekstu, dzięki procesom logicznego rozumowania. W takim ujęciu przebieg procesów poznawczych zależy od predyspozycji psychicznych (w tym umiejętności koncentracji, opanowania itp.), a także od strategii samokontroli, które potrafi stosować tłumacz. Podkreśla się także potrzebę uświadamiania sobie przez tłumacza operacji dokonywanych w czasie pracy, umiejętność ich porządkowania oraz zdolności do wyciągania wniosków [por. Dąbska-Prokop 2000, 109].

Innym, szczególnie istotnym aspektem wydaje się aspekt społeczny związany z kompetencjami tłumacza, gdyż przekład traktowany jest jako swego rodzaju interakcja między uczestnikami aktu tłumaczenia, zwłaszcza nadawcą komunikatu (tłumaczem) i jego odbiorcą [Risku w: Dąbska-Prokop 2000, 110]. W przypadku przekładu pisemnego, w którym interakcja jest wyłącznie teoretyczna, aspekt społeczny oznacza, że na tłumaczu spoczywa cała odpowiedzialność za sukces aktu komunikacji: to tłumacz musi zrozumieć tekst wyjściowy, wykorzystując do tego wszystkie dostępne mu kompetencje, a następnie podjąć takie decyzje przekładowe (wykonanie), aby odbiorca prawidłowo zinterpretował i zrozumiał tekst docelowy.

Kończąc pierwszą część rozważań dotyczących kompetencji tłumacza, zauważyć należy, że traktowane są one w literaturze w sposób komplementarny i równorzędny, jako

<sup>1</sup> Por. hasło „Kompetencje tłumacza” w *Małej encyklopedii przekładoznawstwa* pod redakcją Urszuli Dąbskiej-Prokop, w której omówiony jest dokładnie każdy z tych typów kompetencji [2000, 109–110].

<sup>2</sup> Marianne Lederer dodatkowo rozpatruje kompetencję encyklopedyczną w odniesieniu do wiedzy pozajęzykowej i kontekstu kognitywnego [por. Pisarska, Tomaszkiwicz 1998, 82–83].



zbiór równoważnych i uzupełniających się umiejętności. W założeniu tłumacz powinien posiadać je wszystkie w stopniu wystarczającym do efektywnego pełnienia swojej roli. Innymi słowy, w literaturze przedmiotu nie podkreśla się nadrzędnej roli którejkolwiek z tych kompetencji. Harmonijne ich połączenie powinno, teoretycznie, skutkować przekładem, który można uznać za wolny od błędów.

Zdarzyć się jednak może, że brak określonych kompetencji tłumacza (lub niedostateczne przełożenie posiadanych kompetencji na wykonanie zadania, jakim jest przekład międzyjęzykowy) zostaje wychwycony przez odbiorcę docelowego, którego wiedza i kompetencje przewyższają te, jakimi dysponuje tłumacz. Prowadzi to do zaburzenia przebiegu komunikacji, gdyż efekt pracy tłumacza zamiast spełniać swe podstawowe funkcje związane z kontaktem międzykulturowym i międzyjęzykowym (a w przypadku przekładu tekstu literackiego – dostarczenia przeżyć natury estetycznej) prowadzi do uzasadnionej frustracji czytelnika docelowego.

Przedmiotem niniejszych rozważań będzie wpływ, jaki brak określonych kompetencji tłumacza ma na recepcję tekstu przez czytelnika (w tym przypadku czytelnika posiadającego wiedzę fachową na temat poruszany w czytany dziele). Nie jest naszym celem jedynie wytykanie błędów tłumacza, bo jak wskazywał Holmes, tropienie błędów i piętnowanie tłumacza samo w sobie nie powinno być przedmiotem badań nad przekładem. Chcemy przyjrzeć się skutkom, jakie niesie ze sobą niekompetentne tłumaczenie (wykonanie) oraz spróbować odnaleźć przyczynę popełnionych błędów<sup>3</sup>. Podstawą naszych rozważań i materiałem empirycznym będzie polska wersja książki Alexa Kershawa *Ucieczka z głębin. Historia legendarnego okrętu podwodnego i jego walecznej załogi* w przekładzie Anny Sak<sup>4</sup>. W oryginale książka ukazała się pod tytułem *Escape from the Deep. The Epic Story of a Legendary Submarine and Her Courageous Crew* w roku 2008<sup>5</sup>. Jak zachęca na swojej witrynie internetowej wydawnictwo Znak, jest to:

Niezwykła opowieść o katastrofie najślynniejszego amerykańskiego okrętu podwodnego oraz walce o przetrwanie, którą musiała stoczyć jego załoga. USS Tang – okręt podwodny amerykańskiej marynarki wojennej – jest legendą: zatopił więcej jednostek nieprzyjaciela, uratował więcej zestrzelonych lotników i przeprowadził więcej ataków niż jakakolwiek inna aliancka łódź podwodna działająca w rejonie Pacyfiku. W październiku 1944 jego dobra passa się skończyła. Odpalenie ostatniej torpedy zamiast spodziewanego spokojnego rejsu do domu spowodowało śmierć niemal połowy załogi. Pozostali, uwięzieni w spoczywającym na dnie wraku, musieli podjąć heroiczną walkę o przetrwanie – zagrożeniem były nie tylko kurczące się zapasy tlenu, ale i grad zrzuconych przez Japończyków bomb głębinowych. Uratowało się zaledwie dziewięciu marynarzy<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Ponieważ zasadniczym celem artykułu jest rozważenie kompetencji przekładowych oraz wpływu niekompetentnego przekładu na recepcję tekstu przez czytelnika-fachowca, nie podejmujemy się tu próby całościowej oceny omawianego przekładu. Nie będziemy zatem pisać o pozytywnych aspektach przedmiotowego przekładu.

<sup>4</sup> Nasze rozważania zainspirowane zostały niezwykle krytycznymi uwagami dotyczącymi tego przekładu, przedstawionymi nam przez miłośnika morza i literatury marynistycznej, który wolał pozostać anonimowy. Składamy mu ogromne podziękowania za podzielenie się z nami swoimi uwagami i fachową wiedzą.

<sup>5</sup> Ukazywała się następnie ze zmienionym podtytułem: *A True Story of Courage and Survival during World War II*.

<sup>6</sup> <http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,2587,Ucieczka-z-glebin> [1.07.2014].

Już z tego opisu wynika wyraźnie, że jest to książka, która obfituje w słownictwo specjalistyczne dotyczące terminologii morskiej. I tak rzeczywiście jest, zatem tłumacz powinien być przygotowany na poszerzenie swojej wiedzy w tym zakresie, jeśli nie jest specjalistą w tej dziedzinie. Wymienione wcześniej kompetencje tłumacza nie uwzględniają jednej, bardzo ważnej naszym zdaniem, umiejętności, która polega na zdobywaniu wiedzy niezbędnej do przetłumaczenia danego tekstu. Trudno bowiem oczekiwać, że kompetencja encyklopedyczna każdego tłumacza (czyli wiedza, jaką zgromadził przez całe życie) jest wystarczająca do przetłumaczenia każdego tekstu. Wręcz przeciwnie – kompetencja encyklopedyczna nie jest stała, jest wciąż rozbudowywana, a niezbędna do jej rozszerzania jest właśnie umiejętność ciągłego zdobywania wiedzy i dostrzegania jej braków. Wiąże się ona ze swego rodzaju wyczuciem, że za komunikatem, często zupełnie dla tłumacza zrozumiałym, kryje się coś więcej, co trzeba odkryć lub sprawdzić. Taka właśnie umiejętność wydaje się niezbędna w przypadku tłumaczenia tekstów, w których pojawiają się terminy fachowe z jakiegokolwiek dziedziny. Umiejętność taką można byłoby traktować jako oddzielną „kompetencję badawczą”. Może być ona jednak ujęta jako poszerzenie rozumienia kompetencji psychologicznej tłumacza – do tej dyskusji powrócimy w dalszej części artykułu. Na razie będziemy ją nazywać roboczo właśnie „kompetencją badawczą”.

Problemy z przekładem tekstów zawierających terminologię dotyczącą realiów morskich mają w Polsce długą historię. Już na początku XX wieku, gdy pojawiły się pierwsze przekłady utworów Josepha Conrada o tematyce morskiej, tłumaczom zarzucano brak wiedzy w tym zakresie bądź starano się ich pomyłki wytłumaczyć i usprawiedliwić. Wskazywano, że w tym okresie słownictwo morskie w języku polskim było wypadkową frazeologii zaczerpniętej z języka holenderskiego, przejmowanej od XVII wieku, z niemieckiego, z którego zapożyczali Kaszubi, oraz z angielskiego [Najder 1975, 201], co było znacznym utrudnieniem dla tłumaczy, szczególnie, że nie mieli oni fachowej wiedzy. Żargon ten był tak obcy przeciętnemu czytelnikowi, że w *Międzymorzu* Stefan Żeromski zamieścił słowniczek terminów, uzasadniając: „Dla uniknięcia niejasności oraz posądzeń o tworzenie neologizmów, co może się nasunąć wskutek wprowadzenia pewnych nowych nazw i określeń, podaję tutaj miejsce narodzin każdego z tych przybłędów do literackiego, wielkomięjskiego języka” [Żeromski 1949, 363]. Źródłem większości terminów stosowanych przez tłumaczy był *Słownik morski* z roku 1930, który był adekwatny w pierwszej połowie XX wieku. W miarę rozwoju języka morskiego w Polsce stał się on pozycją anachroniczną, a mimo to czerpali z niej także późniejsi tłumacze Conrada [Milewski 1964, 7]. O tym, że terminologia związana z realiami morskimi wciąż jest wyzwaniem dla tłumaczy, świadczy przedmiot niniejszej analizy<sup>7</sup>.

W *Ucieczce z głębin* wielokrotnie używane jest słowo „kapitan” w odniesieniu do dowódcy okrętu podwodnego USS Tang, jak również dowódcy okrętu japońskiego.

<sup>7</sup> Nadużywanie terminów „marynista”, „marynistyka”, „marynistyczny” i wyrażen, takich jak: „terminologia nautyczna” oraz „słownictwo żeglarskie”, gdy chodzi o terminologię morską, w której skład wchodzi terminy nautyczne i żeglarskie, krytykował Brocki [por. Brocki 1961a, b; Brocki 1972], dlatego w niniejszych rozważaniach staramy się unikać tych terminów.

Pojawia się ono już w drugim akapicie: „Niewielu kapitanów okrętów podwodnych zdecydowałoby się w tej sytuacji na atak” [Kershaw 2010, 19]. W zasadzie wydaje się, że nie ma w tym przekładzie nic zdrożnego. Jest to dość bliski, żeby nie powiedzieć dosłowny, przekład oryginału: „Few submarine captains would have pressed on with their attacks” [Kershaw 2009, 3]. Laik nie dostrzeże tu problemu, który widoczny jest gołym okiem dla czytelnika, mającego choćby podstawową wiedzę z zakresu terminologii morskiej i wojskowej. Otóż rozróżnić należy kierownika jednostki handlowej, który nosi tytuł „kapitana”, a dowódcę jednostki wojennej. W tym drugim przypadku, dowódca może mieć stopień wojskowy kapitana marynarki wojennej, ale tylko w odniesieniu do polskiej Marynarki Wojennej, ponieważ w amerykańskiej stopień taki wśród niższych oficerów nie istnieje. Przy czym osoba posiadająca stopień wojskowy kapitana nie musi być na danym okręcie jego dowódcą. Innymi słowy, w przekładzie nagminnie dochodzi do mylenia funkcji (dowódcy) ze stopniem (kapitan). Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że nazwy stopni wojskowych nie pokrywają się w różnych systemach. I tak: odpowiednikiem *captain* – stopnia wojskowego w marynarce wojennej USA jest *komandor* w polskiej Marynarce Wojennej; natomiast odpowiednikiem polskiego stopnia wojskowego kapitana marynarki jest w marynarce wojennej USA *lieutenant*. Przy czym bohater opowieści Dick O’Kane nie ma stopnia kapitana w polskim rozumieniu tego terminu. Tłumaczka nie dostrzega, że rzeczownik *captain* stosowany jest w książce w odniesieniu do funkcji, jaką O’Kane spełnia na swojej jednostce – czyli dowódcy. *Captain* w języku angielskim definiowany jest jako „the person in charge of a ship or boat, especially an officer in the navy” (osoba dowodząca okrętem lub statkiem, zwłaszcza oficer marynarki) [Collins Cobuild 1990, 204], co ewidentnie odnosi się w tym kontekście do spełnianej funkcji. Anna Sak nie uwzględnia zasadniczej różnicy między funkcją i stopniem i albo wybiera pierwszy ekwiwalent ze słownika, albo mamy tu do czynienia z typowym „fałszywym przyjacielem”<sup>8</sup>. Jest to błąd zaliczany przez Krzysztofa Hejwowskiego do kategorii błędów tłumaczenia syntagmatycznego, niezależnie czy zinterpretujemy wybór tłumaczki jako *dictionary equivalent* czy *false friend* [Hejwowski 2004, 203–204]<sup>9</sup>. Wynika on z braku adekwatnej kompetencji encyklopedycznej (rozróżnianie między funkcją a stopniem) i opieraniu się na intuicji<sup>10</sup>, co z kolei prowadzi do nielogiczności wewnątrztekstowych: „Niewielu kapitanów okrętów podwodnych zdecydowałoby się w tej sytuacji na atak. Tylko ci najbardziej wojowniczy, tacy jak komandor porucznik O’Kane, braliby pod uwagę możliwość podjęcia walki” [Kershaw 2010, 19]. Niezorientowany czytelnik ma uzasadnione prawo zadać sobie w tym momencie pytanie, czy

<sup>8</sup> *Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford* podaje: „captain 1. Mil kapitan; naval – komandor 2. (on plane, merchant ship) kapitan” [2004, 172].

<sup>9</sup> Termin „fałszywy przyjaciel” to tłumaczenie z języka angielskiego (*false friend*) oraz francuskiego (*faux amis*), który dobrze oddaje złudność opierania się przez tłumacza wyłącznie na intuicji. W Polsce w odniesieniu do tego typu błędu stosowany jest termin „heterofemia międzyjęzykowa”, który oznacza „błędne użycie jednostki jednego języka podobnej pod względem formy (wymowy lub pisowni) do jednostki innego języka, mającej znaczenie odmienne” [Grosbart 1984, 31–32].

<sup>10</sup> Nie jest to zatem błąd, który można skwitować stwierdzeniem, że tłumaczka nie zajrzała do słownika. Ekwiwalenty podawane przez słowniki nie rozjaśniają sytuacji – niezbędna jest w tym przypadku szersza wiedza fachowa, czyli kompetencja encyklopedyczna.

O’Kane był kapitanem czy komandorem porucznikiem; czytelnik, który ma wiedzę na temat terminologii wojennomorskiej od pierwszych akapitów książki zaczyna odczuwać frustrację. Wiadomo bowiem, że O’Kane ma stopień komandora porucznika, opisywany jest jednak jako kapitan.

Irytacja czytelnika narasta, gdy napotyka on na następujący dialog:

- Kapitanie – rzekł Savadkin – gdybym wiedział, że tak wygląda bombardowanie głębinowe, chyba bym został na okrętach nawodnych.
- Wydawało ci się, że bomby wybuchają blisko, bo nie przywykłeś do takich ataków – odparł O’Kane. [Kershaw 2010, 25]

Nie jest przyjęte na jednostkach wojskowych zwracać się do dowódcy per „kapitanie”. Jest to możliwe na jednostkach handlowych, ale w opisywanym przypadku kontekst jest ewidentny. I choć w oryginale Kershaw nie decyduje się w tej wymianie na regulaminowe *Sir!*, wybierając bardziej nieformalny zwrot: „Captain – said Savadkin – if I had known that depth charges would be like those, I might have stayed in surface ships” [Kershaw 2009, 9], to tłumacz powinien uwzględnić zwyczaj panujący w marynarce i wybrać odpowiednik „dowódca”, ponieważ w takim właśnie sensie użyte jest słowo *captain*. Rozpoczęcie dialogu od „Dowódco...” wydaje się jednak sztuczne. Można zatem było tu całkowicie pominąć bezpośredni zwrot do interlokutora i zacząć od: „Gdybym wiedział, – rzekł Savadkin”. Wówczas i wilk byłby syty (czytelnik-fachowiec, którego nie raziłby zwrot „kapitanie”) i owca cała (czytelnik-laik, który odebrałby wypowiedź jako całkiem naturalną).

Frustracja czytelnika-fachowca osiąga apogeum, gdy widzi zdjęcie z następującym podpisem: „Kapitan Richard O’Kane w Annapolis przed ukończeniem Akademii Marynarki Wojennej, 1934” [Kershaw 2010, wkładka po stronie 64]. Zawiodła tu tłumaczkę nie tylko kompetencja encyklopedyczna, czego skutkiem jest używanie odpowiednika „kapitan”, lecz także logiczna i retoryczno-pragmatyczna. Rozumując logicznie, przed ukończeniem akademii czy nawet w momencie jej ukończenia O’Kane nie mógł mieć stopnia kapitana, lecz stopień najniższy. Jeśli chodzi o kompetencję retoryczno-pragmatyczną, tłumaczka ignoruje interpunkcję oryginału: „The captain. Richard O’Kane at Annapolis before his graduation in 1934” [Kershaw 2009, 128]. Kropka po wyrażeniu *the captain* oznacza, że traktować je należy jako odrębne wypowiedzenie, a nie łączyć z następującym po nim nazwiskiem. Zatem biorąc pod uwagę cały tekst, podpis pod fotografią to po prostu: „Dowódca. Richard O’Kane...”. Kompetencja badawcza, a więc umiejętność dostrzeżenia, że „coś tu nie pasuje” i trzeba to sprawdzić, zaowocowałyby zdobyciem informacji, że absolwenci po ukończeniu czteroletnich studiów na Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis otrzymują stopień wojskowy podporucznika marynarki (*ensign*), co notabene widać na fotografii – na rękawie munduru O’Kane’a widnieją dystynkcje najniższego stopnia oficerskiego – *ensign* właśnie<sup>11</sup>. Kompetencja retoryczno-pragmatyczna związana z funkcjonowaniem dyskursu

<sup>11</sup> Powszechnym zwyczajem wojskowym jest fotografowanie się w taki sposób, aby widoczne były dystynkcje.

pomogłaby lepiej zinterpretować podpis pod fotografią. Wykorzystanie kompetencji badawczej pozwoliłoby na sprawdzenie, co oznacza liczba pasków (dystynkcji) na rękawie munduru bądź zdobycie informacji dotyczącej stopnia przyznawanego przy ukończeniu wspomnianej akademii, co w dobie powszechnego dostępu do Internetu zajmuje około 10 sekund.

Odwrotna sytuacja – czyli mylenie stopnia z funkcją – również zdarza się w przykładzie *Escape from the Deep*. W polskiej wersji dowódcy okrętów określani są mianem „komandor”, na przykład: „O’Kane i inni komandorzy okrętów podwodnych” [Kershaw 2010, 36], „Miał nadzieję, że na piątym patrolu, dla niego zapewne ostatnim w roli komandora, Tang ostatecznie przypieczętuje swój rekord” [Kershaw 2010, 41], czy „Culp spojrział uważnie na amperomierz, wiedząc, że jeśli komandor zarządzi całą naprzód, będzie to olbrzymie obciążenie dla akumulatorów” [Kershaw 2010, 57]. W tych i innych podobnych przykładach z kontekstu wynika, że chodzi o osoby dowodzące danymi jednostkami. W języku polskim „komandor” to stopień oficerski w polskiej Marynarce Wojennej. Już z tej definicji wynika, że zastosowany ekwiwalent nie pasuje do realiów. Jak podaje najprostsze źródło, jakim może posłużyć się współcześnie tłumacz – wielojęzyczna Wikipedia – „W związku z tym, że w Wielkiej Brytanii i USA *captain* to polski *komandor*, a *commander* to *komandor porucznik*, często występują omyłki w tłumaczeniach”<sup>12</sup>. I rzeczywiście z takimi pomyłkami mamy do czynienia w *Ucieczce z głębin*. O ile prawidłowo tłumaczony jest stopień O’Kane’a, który faktycznie miał stopień *Commander*, jako komandor porucznik, na przykład na stronie 19, o tyle przytoczone powyżej przykłady są całkowicie błędne. Nie można bowiem występować w roli komandora (nawet jeśli przyjmiemy, że tłumaczka chciała uniknąć dwuczłonowej nazwy „komandor porucznik”), skoro jest to stopień. Stopień albo się ma, albo się go nie ma. W tych przypadkach błędnie przetłumaczone zostało słowo *commander*, które w języku angielskim ma dwa znaczenia: „an officer in an army, navy, or air force who is in charge of a particular military operations or organization”, czyli po prostu dowódca (funkcja), oraz „an officer with a particular rank in the Royal Navy” [Collins Cobuild 1990, 276], czyli stopień. Zwykle rozróżnienie to jest ewidentne na poziomie graficznym, gdyż słowo to odnoszące się do funkcji pisane jest małą literą, a do stopnia – wielką. Ponownie zawodzi tłumaczkę kompetencja encyklopedyczna (brak wiedzy) oraz kompetencja logiczna (wnioskowanie na podstawie kontekstu), a przy tym uwidacznia się problem z kompetencją językową, która obejmuje także znajomość ortografii. Pisownia tego samego wyrazu wielką lub małą literą stanowi w tym przypadku zasadniczą różnicę i powinna wyculić tłumacza, że coś się za różną pisownią kryje (brak kompetencji badawczej).

Problem z odpowiednim zaszeregowaniem tekstu pod względem retorycznym, wynikający bezpośrednio z nieadekwatnej kompetencji encyklopedycznej (znajomość realiów) dotyczy także kolejnego słowa odnoszącego się do dowódcy, mianowicie *skipper*. Kershaw kilkakrotnie używa tego rzeczownika w swoim tekście, przykładowo: „The bond was special, for a submarine skipper has absolute power over life and death, far more than the commander of a surface ship” [Kershaw 2009, 25]. W tym zdaniu, aby uniknąć

<sup>12</sup> <http://pl.wikipedia.org/wiki/Komandor> [1.07.2014].

powtarzania tego samego wyrazu autor wprowadza *skipper* dla dowódcy okrętu podwodnego i *commander* dla dowódcy jednostek nawodnych. W kolejnych przykładach: „But, he added, his skipper had never cracked” [Kershaw 2009, 195] czy „Get up there and talk to the skipper, said Springer” [Kershaw 2009, 68] z kontekstu wynika, że chodzi o dowodzącego jednostką, w tym przypadku okrętem wojennym. Kershaw w sumie sięga po ten rzeczownik 6 razy. W oryginale nie jest to słowo rażące, gdyż oznacza po prostu „the captain of a ship or boat” [Collins Cobuild 1990, 1363], zatem jest to osoba dowodząca jednostką pływającą<sup>13</sup>. Najbliższym polskim odpowiednikiem jest „szyper”, co stanowi adaptację fonetyczną słowa pochodzącego z języka niemieckiego lub holenderskiego<sup>14</sup>. O ile jednak w języku angielskim *skipper* ma szersze znaczenie jako dowódca jednostki pływającej, o tyle „szyper” w języku polskim zarezerwowany jest dla określenia osoby dowodzącej jednostką handlową bądź rybacką<sup>15</sup>. Innymi słowy, „szyper” może być potraktowany w kategoriach hiponimu (słowo o węższym polu semantycznym) w odniesieniu do *skipper* i stosowany jako jego odpowiednik wyłącznie w kontekście niewielkiego statku cywilnego. W innych przypadkach, takich jak okręt wojenny, ekwiwalentem powinien być „dowódca”. Nieświadoma tego faktu tłumaczka popełnia ten sam błąd, co wcześniej – tłumaczy syntagmatycznie („fałszywy przyjaciel”). Dla znawcy przedmiotu taki wybór ekwiwalentu brzmi obraźliwie, gdyż nazywanie oficera marynarki wojennej szyprem jest nie tylko nietaktem, ale go dyskredytuje. Przykładowo: „Z reguły [wiceadmirał Lockwood] nie dawał swoim szyprom możliwości wyboru misji” [Kershaw 2010, 39] brzmi tak, jakby Lockwood nie znał się na terminologii morskiej (co jest mało prawdopodobne) bądź traktował podlegających mu dowódców z wyższością czy wręcz pogardą (co jest niezgodne z rzeczywistością). „Wyjdź na górę i pogadaj z szyprem! – polecił [Frank Springer] Caverly’emu” [Kershaw 2010, 80] ma podobny wydźwięk – tym razem nietaktem wykazuje się Springer w odniesieniu do swego dowódcy O’Kane’a. Tłumaczenie syntagmatyczne bądź poleganie wyłącznie na intuicji, bez gruntownego sprawdzenia, w jaki sposób funkcjonują i używane są dane słowa w języku docelowym w określonych kontekstach, skutkuje przekładem, który zaburza jego recepcję przez czytelnika docelowego o odpowiedniej wiedzy. Można argumentować, że w dialogach, kiedy o swoim dowódcy wypowiadają się podwładni, *skipper* może zostać zastąpiony ekwiwalentami dynamicznymi, np. „szef” czy nawet „stary”. W końcu jest to historia fabularyzowana i zadbać można o naturalność wypowiedzi postaci, zakładając, że rozmawiający ze sobą marynarze nie zawsze posługują się terminem oficjalnym. O ile takie wykorzystanie

<sup>13</sup> W drugim znaczeniu tego słowa jest to jeszcze bardziej ewidentne: „the captain of a team in sport such as football” [Collins Cobuild 1990, 1363], a więc po prostu kapitan jako funkcja.

<sup>14</sup> Etymologia tego rzeczownika w języku angielskim jest dość skomplikowana. Podstawą słowotwórczą *skipper* jest słowo *skip* pochodzące z języka gockiego z IV wieku. Słowo angielskie mogło zostać zapożyczony z holenderskiego *scipper* (od *scip*) bądź średnioniemieckiego. W języku średnioniemieckim (i skandynawskim) *schifherre* bądź *schiphere* oznaczało „kapitan jednostki pływającej”. We współczesnym języku szwedzkim jest to *skeppsherre*. Forma *schiphere* znana jest od 1292 roku, a w XV wieku przekształcona została w *schipper* [http://www.bruzelius.info/Nautica/Etymology/skipper.html, 1.07.2014].

<sup>15</sup> Por.: „skipper 1 Naut. (of merchant ship, fishing boat) szyper; (of yacht) kapitan” [Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford 2004, 1091]; „szyper – kapitan, dowódca mniejszego statku (np. holownika, portowej jednostki pomocniczej, statku rybackiego)” [Słownik języka polskiego 1989, 3, 438].

ekwiwalencji dynamicznej byłoby akceptowalne, o tyle przykład syntagmatyczny „szyper” nie, gdyż w języku marynarzy byłoby to obraźliwe.

Przykładów na niefrasobliwość Anny Sak jest znacznie więcej, a większość ma swoje źródło w braku wystarczającej kompetencji encyklopedycznej w połączeniu z nagminnym przykładem syntagmatycznym (pierwszy ekwiwalent słownikowy bądź „fałszywy przyjaciel”), a także nieodpowiednim do kontekstu wyborem ekwiwalentu. Porównajmy: „O’Kane poprosił jednego ze swoich oficerów, aby wypoziomował łódź” [Kershaw 2010, 38]. Nietrudno się domyślić, że w oryginale użyto słowa *level* [poziom]. Porównanie z *Escape from the Deep* potwierdza te podejrzenia: „O’Kane asked one of his officers to hold her level” [Kershaw 2009, 24]. Podczas gdy nie razi to w języku angielskim (wyrażenie potoczne: „trzymać prosto”), to w języku polskim w tym kontekście na pochylenie okrętu podwodnego dziobem bądź rufą w górę/dół używa się określenia „trym” i tego właśnie słowa powinna była użyć tłumaczka, zamiast poszukiwać najbliższego ekwiwalentu wyrazu *level*. Notabene polskie „trymować” jest zapożyczeniem angielskiego czasownika *trim*. Kershaw używa go w swojej książce, np. „Larry Savadkin trimmed the boat as she dived to forty-five feet (...)” [Kershaw 2009, 45], co tłumaczka przekłada w miarę poprawnie: „Larry Savadkin strymował łódź” [Kershaw 2010, 56]. Całkowicie prawidłowo byłoby „wytrzymał okręt”. W przypadku zwrotu *hold her level*, żeby uniknąć oskarżeń o brak wiedzy, tłumaczka również powinna była użyć tego terminu.

Kolejnym przykładem przekładu syntagmatycznego jest wybór ekwiwalentu „dyżurny” w tłumaczeniu zdania: „Suddenly, the duty chief’s messenger burst into his cabin” [Kershaw 2009, 55] – „Nagle do kajuty wpadł posłaniec od oficera dyżurnego” [Kershaw 2010, 66]. „Oficer dyżurny” to określenie z wojsk lądowych (*duty* – dyżur), w marynarce wojennej funkcjonuje określenie „oficer wachtowy” i ten odpowiednik należałoby zastosować w kontekście okrętu USS Tang. Innym przykładem tego typu jest tłumaczenie rzeczownika *cabin* [kabina, kajuta] jako „kajuta”: „O’Kane and Lockwood sipped it [coffee] in the captain’s cabin for several minutes” [Kershaw 2009, 30] – „O’Kane i Lockwood przez kilka minut delektowali się nią [kawą] w kajucie kapitana” [Kershaw 2010, 43]. Subtelna różnica między „kabiną” a „kajutą” polega na tym, że ta druga odnosi się do statku wycieczkowego, ale nigdy do pomieszczenia oficera dowodzącego okrętem, dla którego zarezerwowana jest „kabina (dowódcy)”. Podobnie wybór najbliższego ekwiwalentu „mostek (kapitański)” dla wyrazu *bridge* nie uwzględnia kontekstu: „O’Kane ordered the lookouts to come below, leaving senior watch officer Larry Savadkin alone on the bridge” [Kershaw 2009, 35]. Od początku książki wiadomo, że rzecz dzieje się na okręcie wojennym, co więcej na okręcie podwodnym, na którym pomieszczenie, skąd kieruje się okrętem, znajdujące się na kadłubie nazywa się „kiosk”. W kiosku z kolei znajduje się „pomost bojowy”. Nazywanie tego miejsca „mostkiem” jest całkowicie nieadekwatne, gdyż wyrażenie to stosowane jest w marynarce handlowej.

Mylenie określeń z marynarki wojennej i handlowej jest głównym powodem irytacji czytelnika, który ma znaczną wiedzę z dziedziny realiów morskich. Ilustruje to nieodpowiedni wybór ekwiwalentu dla określenia pomieszczenia umieszczonego wewnątrz, z którego kieruje się okrętem. W terminologii wojennomorskiej jest to „centrala”,

a w języku angielskim *maneuvering room* i tym wyrażeniem posługuje się Kershaw: „When they stepped from the maneuvering room, where the thermometer showed 125 degrees (...)” [Kershaw 2009, 23]. Tłumaczka wybiera wyraz „sterówka”: „Kiedy wychodzili ze sterówki, gdzie termometr wskazywał ponad pięćdziesiąt stopni Celsjusza (...)” [Kershaw 2010, 37]. Już samo spojrzenie w definicję w Wikipedii wystarczyłoby, aby uświadomić sobie, że sterówka nie może znajdować się pod pokładem: „Mostek kapitański (lub mostek, sterówka, pomost, pomost nawigacyjny, pomost bojowy) – najwyższa kondygnacja w dominującej nadbudówce lub samodzielna nadbudówka na statku (żaglowcu, małej jednostce pływającej). Znajduje się tam centralny punkt kierowania statkiem”<sup>16</sup>. Sprawdzenie znaczenia wyrazu „sterówka” w jakimkolwiek słowniku języka polskiego także umożliwiłoby uniknięcie tego błędu. Ponownie uwidaczniają się braki w kompetencji badawczej – tłumaczka nie zdaje sobie sprawy, że należy dany termin sprawdzić, gdyż może on funkcjonować odmiennie w języku fachowym w odniesieniu do jednostek cywilnych i wojskowych.

Wydaje się, że w wielu z tych przykładów mamy do czynienia z bagażem kognitywnym tłumaczki (nagromadzoną wiedzą), który wręcz przeszkadza w dokonaniu poprawnego terminologicznie przekładu. Innymi słowy, kompetencja encyklopedyczna tłumaczki obejmuje pewne słowa kojarzone potocznie z terminologią morską: kajuta, mostek kapitański, sterówka, kapitan, komandor, szyper itp., w związku z tym nie poszukuje ona odpowiedników najbardziej adekwatnych do konkretnego kontekstu, w jakim się one pojawiają w oryginale, tylko posługuje się przekładem syntagmatycznym, co prowadzi do błędów, negatywnie wpływających na recepcję tekstu docelowego. Potwierdzeniem tej hipotezy jest wymienne stosowanie określeń statek i okręt oraz okręt podwodny i łódź podwodna. W potocznej polszczyźnie rzeczywiście słowa te są stosowane wymienne i prawdopodobnie składają się na bagaż kognitywny przeciętnego użytkownika języka. Tłumacz jednak przeciętnym użytkownikiem języka nie jest i nie powinien polegać jedynie na zgromadzonej wiedzy, lecz weryfikować ją na bieżąco w zależności od przekładanego tekstu. I tak, w języku fachowym istnieje wyraźne rozróżnienie na jednostkę bojową marynarki wojennej – okręt, oraz jednostkę cywilną – statek. W terminologii wojennomorskiej używanie wymienne tych słów jest niedopuszczalne. Wydaje się to raczej uzusem, tradycją terminologii wojennomorskiej, gdyż słownik języka polskiego nie precyzuje dokładnie, że statek nie może być jednostką bojową, choć podane przykłady wskazują, że jest to raczej jednostka cywilna<sup>17</sup>. Problem w przekładzie polega na tym, że w języku angielskim *ship* to jednostka cywilna/handlowa (*vessel*), a *battleship/warship* to jednostka bojowa (okręt)<sup>18</sup>, ale często, jeśli kontekst jest oczywisty, stosowana jest forma skrócona *ship*. Dla laika wybór między „statkiem” a „okrętem” nie ma negatywnego wydźwięku, dla fachowca jest to rażący błąd, świadczący o braku szacunku dla czytelnika i braku wiedzy, jak w zdaniu: „W oficjalnej adnotacji zawierającej raport kapitana statku z patrolu nie wspomniano o tym, co niektórzy z członków załogi okrętu uznali za mord

<sup>16</sup> [http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek\\_kapita%C5%84ski](http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_kapita%C5%84ski) [1.07.2014].

<sup>17</sup> Por. hasło „statek” [Słownik języka polskiego 1989, 3, 325].

<sup>18</sup> Por. hasło „battleship” [Collins Cobuild 1990, 107].



z zimną krwią na bezbronnych żołnierzach” [Kershaw 2010, 65], w którym w odniesieniu do tej samej jednostki pojawiają się dwa słowa: statek i okręt.

Analogiczna dowolność, która jest niedopuszczalna w uzusie terminologii morskiej, dotyczy wymiennego stosowania wyrażen „okręt podwodny” i „łódź podwodna”. To drugie to wyrażenie potoczne<sup>19</sup>, może odnosić się do jednostek cywilnych (np. badawczych czy turystycznych), które nigdy nie jest stosowane w terminologii wojсковej. Jest to błąd pojawiający się nagminnie, wyrażeniem tym posługują się zarówno publicyści, jak i tłumacze<sup>20</sup>. „Łódź podwodna” weszła do języka polskiego jako kalka z języka rosyjskiego (*podwodnaja łodka*) bądź niemieckiego (*Unterseeboot*), a rozpowszechniła się w świadomości zbiorowej być może za sprawą przetłumaczenia tytułu filmu muzycznego z 1968 roku z muzyką zespołu The Beatles *Yellow Submarine* jako *Żółta łódź podwodna*. Pomimo powszechności użycia, tłumacząc tekst zawierający terminologię fachową, jakim niewątpliwie jest książka o losach okrętu podwodnego, nie należy stosować nieadekwatnego wyrażenia, gdyż jest ono rażące dla odbiorcy-fachowca. I znów teoretycznie można zakładać, że podejście dynamiczne do przekładu pozwala tłumaczowi na swobodę – w tym przypadku nazywanie okrętu „łodzią” czy „łódką”. Jest to jednak przekonanie błędne. W społeczności, jaką stanowią marynarze, wyrażenie „łódź podwodna” skracane do „łódź” nie jest stosowane.

Rażące są także błędy wynikające nie tyle ze stosowania potocznych wyrażen, ile z całkowitego braku wiedzy fachowej, które skutkują tekstem przeczącym logice, a takie passusy również zdarzają się w *Ucieczce z głębin*. Przykładowo zdanie: „Larry Savadkin trimmed the boat as she dived forty-five feet, opening vents that allowed air to escape and tons of saltwater to rush in through flood parts” [Kershaw 2009, 45] opisuje sytuację, w której Savadkin otworzył znajdujące się u góry zbiorników balastowych odwietrzniki (*vents*), skutkiem czego ciśnienie wody otaczającej okręt wepchnęło ją do tych zbiorników. W oryginale zdanie jest przejrzyste i klarowne. W przekładzie już takie nie jest: „Larry Savadkin strymował [sic!] łódź [sic!], która zeszła na głębokość trzynastu metrów, otwierając odpowietrzniki [sic!] pozwalające odprowadzić powietrze z balastów [sic!] i wpuścić przez śluzy [sic!] tony morskiej wody” [Kershaw 2010, 56]. Oprócz nieodpowiednich ekwiwalentów, mamy tu wprowadzony element dodatkowy – śluzy – który na okrętach podwodnych po prostu nie istnieje. Nie mając wiedzy na temat budowy okrętu, tłumaczka wyobrażała sobie być może, że trzeba przez coś (śluzy) tę wodę wpuścić, stąd rzeczona amplifikacja. Innym błędem rzeczowym, wynikającym z braku zrozumienia oryginału, jest nowatorski przekład opisu wodowania okrętu: „Then the Aegis-guided missile destroyer slid down ways into the Kennebec River of the Bath Iron Works shipyard” [Kershaw 2009, 209]. Innymi słowy, niszczyciel, wyposażony w system

<sup>19</sup> Por. hasło „podwodny” [Słownik języka polskiego 1989, 2, 755].

<sup>20</sup> W polskiej wersji *Niespokojnego człowieka* pojawiają się, na przykład, takie zdania: „Z kolei on zadawał pytania dotyczące łodzi podwodnych” [Mankell 2012, 36] lub „Taką wersję podano, kiedy inna rosyjska łódź podwodna weszła na mieliznę pod Karlskroną” [Mankell 2012, 65]. Na usprawiedliwienie tłumaczki dodać można, że zasadniczo wyrażenie to pada z ust Kurta Wallandera (policjanta), co można uznać za jego brak wiedzy fachowej, natomiast Hakan von Enke (oficer marynarki wojennej) zwykle posługuje się wyrażeniem „okręt podwodny”.

AEGIS, czyli zintegrowany (sieciowy) system wykrywania, naprowadzania i kierowania ogniem, został zwodowany w stoczni. W przekładzie doszło do tragicznego wypadku: „Potem ten niszczyciel raketowy, sterowany systemem naprowadzania Aegis, zniknął pod falami rzeki Kennebec, nieopodal stoczni Bath Iron Works” [Kershaw 2010, 206]. Ze zdania tego wynika, że jakiś system naprowadzania najwyraźniej nie zadziałał i okręt zatonał, a przynajmniej taka może być jedna z interpretacji. Pierwszy z błędów, dotyczący systemu AEGIS, wynika z przypisania wyrażenia *AEGIS-guided* do naprowadzania (*guide*) okrętu, czyli w rozumieniu tłumaczki – sterowania okrętem. Jest to typowy błąd interpretacji oryginału, którego można by uniknąć, sprawdzając, czym w rzeczywistości jest rzeczony system. Błąd drugi można zaliczyć do kategorii błędów metaprzekładowych – poprawianie oryginału. Nie wystarczyło napisać, że okręt „zsunął się do rzeki”. Anna Sak zdecydowała się na bardziej poetycki opis „zniknąć pod falami”, który prowadzi do niejednoznaczności<sup>21</sup>.

Jakie wnioski płyną z niniejszych rozważań oprócz tego, że USS Tang został storpedowany i zatopiony w tłumaczeniu? Otóż wszystkie omawiane tu błędy należą do kategorii błędów, które dostrzec może czytelnik bez porównania tekstu oryginalnego z docelowym<sup>22</sup>. Mamy tu na myśli czytelnika, orientującego się w opisywanej tematyce, a taki, między innymi, sięgnie po historię legendarnego okrętu podwodnego<sup>23</sup>. W związku z tym recepcja przekładu przez czytelnika-fachowca lub choćby miłośnika zagadnień wojennomorskich będzie zdecydowanie negatywna. Zamiast przyjemności z lektury odczuwać on będzie narastającą frustrację, zwłaszcza że omawiane problemy nie są jednostkowe, lecz powtarzają się wielokrotnie. Gdyby były to pojedyncze lapsusy tłumaczki, czytelnik skłonny byłby je wybaczyć. Jeśli są to elementy leksykalne występujące systematycznie, wówczas czytelnik ma prawo czuć się zawiedziony jakością przekładu. Tak jest właśnie w przypadku *Ucieczki z głębin*: kapitan jako określenie dowódcy pojawia się 30 razy; komandor zamiast dowódcy – 7 razy; łódź podwodna zamiast okręt podwodny – 30 razy; sterówka – 17 razy; szyper – 4 razy; kajuta na określenie kabiny dowódcy – 4 razy; oficer dyżurny zamiast wachtowy – 2 razy. Nie są to zatem przypadkowe wybory, lecz jednostki leksykalne wprowadzane świadomie. Powodują głębokie rozczarowanie czytelnika, które wyraża najdobitniej fragment listu do redakcji: „Książek morskich mnie jako miłośnikowi zagadnień marynistycznych nigdy nie będzie dość, mam ich mnóstwo i chętnie kupię następne. Ale tym razem wyrzuciłem pieniądze w błoto, a poza tym nie miałem z lektury nabytej książki żadnej przyjemności, bo wściekłość mnie ogarniała przy lekturze tekstu prawie na każdej stronie”<sup>24</sup>. Społeczny aspekt związany z rolą tłumacza i jego kompetencjami jest tu ewidentny. W stosunku do czytelnika-fachowca

<sup>21</sup> Poetyckość przekładu uwidacznia się już w spisie treści, w którym tłumaczka dwukrotnie przekłada *The Deep* jako „otchłani” (rozdział 6 – W otchłani, rozdział 15 – Powrót z otchłani), choć w oryginale Kershaw nawiązuje w tytułach rozdziałów do tytułu książki, powtarzając kluczowe słowo.

<sup>22</sup> Hejwowski dzieli błędy na dwie główne kategorie: te, które wychwytyje czytelnik bez konfrontacji z oryginałem, oraz te, które dostrzec można tylko po porównaniu z tekstem wyjściowym [Hejwowski 2004, 200].

<sup>23</sup> Wszystkie omawiane błędy wskazane zostały przez czytelnika, który nie miał styczności z tekstem oryginalnym.

<sup>24</sup> Jest to fragment listu wysłanego do redakcji, na potrzeby niniejszego artykułu autor wolał pozostać anonimowy.

tłumacz ma obowiązek dostarczenia produktu, który nie jest sprzeczny z jego wiedzą. Bez wątpienia grupą docelową powieści historycznej czy fabularyzowanego dokumentu nie są wyłącznie osoby o profesjonalnej wiedzy. Po książkę taką sięgają także czytelnicy, których doświadczenie w sprawach wojennomorskich może być ograniczone. W stosunku do czytelnika-laika rola tłumacza ma wymiar informacyjno-edukacyjny, zatem stworzone przez niego dzieło nie powinno wprowadzać go w błąd i utrwalać niepoprawne stereotypy językowe. Omawiany tekst nie jest tekstem fachowym, lecz beletrystyką. Niemniej jednak w oryginale napisany jest językiem, który z wiedzą fachową jest niesprzeczny, w wielu przypadkach z wykorzystaniem terminów specjalistycznych. Tłumacz takiego tekstu, łączącego język typowy dla tekstu literackiego z wyrażeniami fachowymi, powinien zadbać o to, by przekład był stylistycznie poprawny, a jednocześnie możliwie wolny od błędów rzeczowych i terminologicznych. Omawiany typ tekstu – zbeletryzowana historia dziejąca się w określonym środowisku – ma zwykle podwójnego odbiorcę: czytelnika-fachowca i czytelnika-laika. Tłumacz powinien zachować lojalność w stosunku do obu grup. Nie chodzi wszak o to, żeby powstał tekst hermetyczny, zrozumiały jedynie dla pierwszej grupy odbiorców, a zupełnie niejasny dla drugiej czy stylistycznie niezgrabny. Chodzi raczej o stworzenie przekładu, który będzie mógł funkcjonować jako dobry tekst beletrystyczny w języku docelowym, nie rażąc przy tym brakiem fachowości. Osiągnięcie takiej równowagi wymaga nie tylko talentu, lecz także określonych kompetencji.

Wymieniane przez teoretyków typy kompetencji to konstrukty teoretyczne, które przez każdego tłumacza realizowane są odmiennie. W omawianym przypadku największym problemem wydaje się nieadekwatna do tłumaczonego tekstu kompetencja encyklopedyczna (wiedza), ale przecież nie jest realne oczekiwać od tłumacza, aby był omnibusem. Gdy omawia się kompetencje tłumacza, wydaje się słuszne przywołanie kompetencji wymienianych przez Umberto Eco w odniesieniu do aktu lektury tekstu literackiego. Przede wszystkim „akt lektury jest (...) interakcją pomiędzy kompetencją czytelnika (jego znajomością świata) a kompetencją, którą postuluje dany tekst, aby mógł być odczytany w sposób oszczędny” [Eco 1996, 67]. Kompetencja czytelnika obejmuje znajomość reguł językowych (fonetycznych, ortograficznych, morfologicznych, składniowych, semantycznych) i słownictwa oraz wytworzonych przez ten język konwencji kulturowych, wcześniejszych interpretacji różnych tekstów oraz tekstu aktualnie interpretowanego. Kompetencja postulowana przez tekst zakłada zasób wiedzy niezbędny do weryfikowania hipotez dotyczących interpretacji, co wiąże się z uwzględnieniem zaplecza kulturowego i językowego utworu, wraz z zachodzącymi różnorodnymi procesami, takimi jak zmiana bądź rozszerzanie znaczeń jednostek leksykalnych, konwencji obyczajowych, odwołań intertekstualnych. W przypadku tekstu zawierającego terminologię fachową, jest to, między innymi, odpowiednia znajomość tematyki danego tekstu. Ponieważ każdy tekst jest inny, porusza inną tematykę, to kompetencja postulowana przez tekst nie jest stała, lecz uzależniona od danego tekstu. Skoro tak, to wracamy do punktu wyjścia – tłumacz nie jest omnibusem. Musi być zatem jeszcze jeden element, który umożliwi mu poruszanie się we wszechświecie tekstów. Jest to, nazywana tu roboczo, kompetencja badawcza, czyli gotowość tłumacza do wchodzenia w rolę badacza i krytyka, który skrupulatnie

wyszukuje informacje niezbędne do prawidłowego przetłumaczenia danego tekstu. Jest to umiejętność dostrzeżenia w tekście miejsc, często pozornie oczywistych, łatwych do przetłumaczenia, które wymagają dogłębnej analizy czy to pod względem fachowym, czy językowym. Bez połączenia różnych typów kompetencji (językowej, encyklopedycznej, logicznej, pragmatyczno-retorycznej, które w zasadzie składać się powinny na kompetencję postulowaną przez tekst), wzbogaconych o kompetencję badawczą, nie można myśleć o przekładzie, którego jakość zadowoli czytelników.

Na koniec wypada powrócić do postawionego wcześniej problemu – czy kompetencja, którą nazwaliśmy roboczo na potrzeby tego tekstu „kompetencją badawczą”, jest niezależną i możliwą do wyodrębnienia kompetencją, czy też jest częścią kompetencji psychologicznej. Należy zwrócić uwagę na to, że kompetencja psychologiczna zazwyczaj rozumiana jest dość wąsko – jako sprawny przebieg procesów poznawczych tłumacza, które odbywają się przy określonym poziomie samokontroli i uświadomienia. Ujęcie takie pomija wpływ osobowości tłumacza i jego doświadczenia (życiowego i zawodowego) na jakość dokonywanego tłumaczenia. Szersze ujęcie kompetencji psychologicznej powinno uwzględniać takie cechy osobowości tłumacza jak, na przykład, samokrytycyzm i świadomość własnych ograniczeń. Takim tłumaczem świadomym i samokrytycznym był przywołany na początku tego tekstu Julian Brona, którego uznać można za wzór otwartości na nowe informacje oraz samoświadomości własnych ograniczeń.

Kiedy rozszerzymy ujęcie kompetencji psychologicznej i uznamy, że cechy osobowości, np. takie jak skłonność do samozadowolenia (narcyizmu) lub obsesji dokładności, mogą wpływać na podejmowanie dodatkowych czynności badawczych i, w konsekwencji, na jakość tłumaczenia, uznajemy, że de facto jest to kompetencja nadrzędna. Skłonność do samozadowolenia i nadmierne zaufanie do własnych umiejętności i wiedzy (cechy narcystyczne) zmniejszają motywację do poszerzania wiedzy (kompetencja encyklopedyczna). Z kolei tłumacz, wykazujący skłonności do obsesyjnej dokładności oraz mający ograniczone zaufanie do własnego warsztatu, z większym prawdopodobieństwem wychwytywać będzie fragmenty wymagające dodatkowych, pogłębionych studiów. Przyczyniać się to będzie do lepszej jakości przekładu. Reasumując, to kompetencja psychologiczna w decydującym stopniu wpływa na rozszerzanie innych kompetencji (np. encyklopedycznej) i ich wykorzystywanie. Umiejętności nazywane do tej pory kompetencją badawczą są zatem częścią kompetencji psychologicznej w jej szerszym rozumieniu, powiązanych z szeroko pojętą osobowością tłumacza. Jeśli tak rozumianej kompetencji zabraknie, inne nie są w stanie skompensować jej braku, ponieważ nie zostaną wykorzystane w optymalnym stopniu. Na odwrót – dobrze rozwinięta kompetencja psychologiczna może sama w sobie skłonić tłumacza do rozwoju innych umiejętności, co doprowadzi do powstania tłumaczenia dobrej jakości.

Ponownie odwołując się do tekstu, który był podstawą naszych rozważań, należy stwierdzić, iż jest on wymowną ilustracją tego, że wąskie rozumienie kompetencji psychologicznej nie jest wystarczające. Procesy poznawcze tłumaczki z pewnością funkcjonowały bez zarzutu, przy odpowiednim dla niej poziomie samoświadomości i samokontroli. Tym, co zawiodło tłumaczkę, były inne zdolności psychologiczne

– samokrytycyzm i otwartość na nowe doświadczenia i informacje, oraz motywacja do poszerzania kompetencji encyklopedycznej i językowej. Niewątpliwie, samokrytycyzm i docieklivość nie okazały się jej najmocniejszymi stronami.

Rozważania nasze prowadzą do wniosku, że – być może – celowa jest rewizja dotychczasowego podejścia do kompetencji tłumacza. Tradycyjne podejście, w którym kompetencje ujmowane są jako równoważne i równorzędne, powinno zostać zastąpione podejściem hierarchicznym. Problemy związane z omawianym tłumaczeniem dowodzą, że to kompetencja psychologiczna jest kompetencją najważniejszą. Można ją uznać za metakompetencję, warunkującą wykorzystywanie i rozwijanie innych kompetencji. Położenie szczególnego nacisku na rozwój tego typu zdolności wydaje się niezwykle ważne w kształceniu oraz doskonaleniu zawodowym tłumaczy.

### Bibliografia

- Baker M., 2005, *Norms // Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, red. Baker M., Malmkjaer K., London, New York: Routledge, 163–165.
- Borowy W., 1955, *Dawni teoretycy tłumaczeń // O sztuce tłumaczenia*, red. Rusinek M., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 23–40.
- Brocki Z., 1961a, *Polscy marynarze w terminologicznym konflikcie z Conradem*, Poradnik Językowy, nr 4, 148–155.
- Brocki Z., 1961b, *O spuszczeniu kotwicy słów kilkoro*, Tygodnik Morski, nr 51/52, 14.
- Brocki Z., 1972, *Jeszcze o nowej edycji Conrada*, Życie Literackie, Kraków, nr 42, 13.
- Collins Cobuild English Language Dictionary*, 1990, red. Sinclair J., London and Glasgow: Collins.
- Eco U., 1996 et al., *Interpretacja i nadinterpretacja*, przeł. Bieroń T., Kraków: Znak.
- Gentzler E., 2001, *Contemporary Translation Theories. Revised 2nd Edition*, Clevedon: Multilingual Matters.
- Grosbart Z., 1984, *Heterofemia międzyjęzykowa, czyli skutki nadmiernego zaufania do intuicji translatorskiej // Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego*, red. Balcerzan E., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 29–44.
- Hejwowski K., 2004, *Translation: A Cognitive-Communicative Approach*, Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.
- Holmes J.S., 1988, *Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies*, Amsterdam: Rodopi.
- Kershaw A., 2009, *Escape from the Deep. A True Story of Courage and Survival during World War II*, Philadelphia: Da Capo Press.
- Kershaw A., 2010, *Ucieczka z głębin. Historia legendarnego okrętu podwodnego i jego walecznej załogi*, przeł. Sak A., Kraków: Wydawnictwo Znak.
- Mala encyklopedia przekładoznawstwa*, 2000, red. Dąbbska-Prokop U., Toruń: Educator.
- Mankell H., 2012, *Niespokojny człowiek*, przeł. Walczak-Larsson B., Warszawa: Wydawnictwo ab.
- Milewski S., 1964, *O korsarzu pod piracką flagą*, Tygodnik Morski, nr 13, 7.
- Najder Z., 1975, *Conrad w przekładach Anieli Zagórskiej // Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga*, red. Pollak S., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 197–210.
- Pisarska A., Tomaszewicz T., 1998, *Współczesne tendencje przekładoznawcze*, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

- Słownik języka polskiego*, 1988, 3 tomy, red. Szymczak M., Warszawa: Wydawnictwo PWN.
- Wielki słownik angielsko-polski. English-Polish Dictionary. PWN Oxford*, 2004, red. Linde-Usiekniewicz J., Warszawa: Wydawnictwo PWN.
- Żeromski S., 1949, *Międzymorze // Wiatr od morza i inne utwory*, Pisma, t. V, red. Pigoń S., Warszawa: Czytelnik, 289–366.
- <http://www.bruzelius.info/Nautica/Etymology/skipper.html>. Updated 1998-06-29 by Lars Bruzelius. [1.07.2014].
- [http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek\\_kapita%C5%84ski](http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_kapita%C5%84ski) [1.07.2014].
- <http://pl.wikipedia.org/wiki/Komandor> [1.07.2014].
- <http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,2587,Ucieczka-z-glebin> [1.07.2014].

### Summary

#### SUNK IN TRANSLATION. SOME REMARKS ON THE TRANSLATOR'S (IN)COMPETENCE WHEN CONFRONTED WITH THE READER'S KNOWLEDGE

This article attempts to revise a thesis concerning an equivalent status of various translator's competences (linguistic, encyclopaedic, logical, psychological, rhetoric-pragmatic). When discussing mistakes made in the Polish translation of *Escape from the Deep*, relating the fate of a submarine, we demonstrate how the lack of specialist knowledge (insufficient encyclopaedic competence) and linguistic knowledge influence a negative reception of the translation by a reader whose knowledge of the subject-matter is rather extensive. We suggest that a broadly understood psychological competence, embracing the translator's readiness to extend his/her knowledge, may be treated as a kind of superior competence (meta-competence) that conditions a creation of a high quality translation in terms of the subject-matter.

**Anna Alsztyniuk**

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej  
Uniwersytet w Białymstoku

## ДА ЖАНРАВА-СТЫЛЯВЫХ АСАБЛІВАСЦЕЙ РАМАНА ЯНКІ БРЫЛЯ *ПТУШКІ І ГНЁЗДЫ*

**Key words:** novel, lyricism, autobiography, hero, patriotism

Вырашальным этапам на творчым шляху Янкi Брыля назвала Вольга Нікіфарава працу над раманам *Птушкі і гнёзды* (1964). Даследчыца мела на ўвазе: “падагульненне ўсяго папярэдняга вопыту, перамога над буйной апавядальнай формай, наватарская распрацоўка жанравай разнавіднасці лірычнага рамана, увядзенне ў актыўны літаратурны ўжытак мініяцюры і нататкі” [Нікіфарава 2013, 140–141]. Відавочна, шматгадовая праца Янкi Брыля над адзіным дагэтуль у беларускай літаратуры лірычным раманам *Птушкі і гнёзды* адыграла значную ролю ў далейшым творчым развіцці гэтага выдатнага беларускага пісьменніка.

Янка Брыль вярнуўся да матэрыялу напісаных раней аповесцей *Сонца праз хмары* (1942–43) і *Жывое і гніль* (1943), відавочна, вырашыўшы, што толькі “раман, – па словах Паўла Дзюбайлы, – здольны адлюстраваць рэчаіснасць, жыццё герояў у руху, бесперапынных зменах і развіцці, чаго пазбаўлена апавяданне і ў чым абмежавана аповесць” [Дзюбайла 1971, 378]. Пасля выдання рамана пісьменніку трэба было вызначыць далейшы творчы шлях, адказаць на пытанне: “стане ён раманістам ці вернецца да даўно знаёмых жанраў апавядання і аповесці” [Нікіфарава 2001, 511]. Лірычнае мысленне Я. Брыля наклала моцны адбітак на стыль і жанравую структуру *Птушак і гнёздаў* і пісьменнік аддаў перавагу лірычнаму, звярнуўся да мікражанру, у якім “найважнейшае – сам аўтар: як ён бачыць тое, пра што гаворыць” [Брыль 1993, III, 276].

Праўда, зварот да жанру мініяцюры, да лірычнай прозы не быў выпадковым, бо схільнасць да лірычнага праявілася ў творчасці Я. Брыля яшчэ ў 1938 годзе: першымі яго творчымі вопытамі былі менавіта вершы, надрукаваныя ў часопісе “Шлях моладзі”, але амаль адразу ён аддаў перавагу лірычнай прозе, робячы занатоўкі ў раннім юнацтве і нават у лагеры для ваеннапалонных. Аднак сацыяльна-палітычны клімат, што ўсталяваўся ў краіне ў пасляваенны час, зусім не спрыяў працы над

лірычнай прозай. Відаць, творы аўтабіяграфічнага, лірычнага характару пісаліся, але толькі для “шуфляды”. Умовы апошніх сталінскіх гадоў змусілі і самога Янку Брыля знішчыць некаторыя рукапісы. Ды хоць “адліга”, звязаная з развянчаннем эпохі культуры асобы ў другой палове 50-х гадоў, так і не выспела ў “вясну”, але беларуская літаратура набыла новае дыханне. Пасля выхаду *Птушак і гнёздаў* у часопісе “Маладосць” была надрукавана першая падборка лірычных запісаў Янкі Брыля – *Рамонкавы россып*. Прыхільныя водгукі чытачоў і сяброў канчаткова пераканалі пісьменніка ў тым, што ён павінен працаваць у жанры, які найбольш яму адпавядае і найвыразней раскрывае яго ўнутраны свет і талент.

Ужо ў самой назве рамана выяўлена асноўная думка Янкі Брыля, якая “вызначае яго філасофскі план і лірычны настрой” [Андраюк 1999, 12]. Назвы асобных частак рамана “Сцюдзёны вырай” і “Гнёзды за дымам” выразна карэспандуюць з агульнай. Асноўны сімвалічны лейтматыў рамана – птушка, якая ляціць да роднага гнязда, прасякае ўвесь твор. Галоўны герой рамана Алесь Руневіч імкнецца выбавіцца з палону і як тая птушка вярнуцца дадому. Я. Брыль найчасцей гаворыць не проста пра ўцёкі з канцлагера ў Германію на Радзіму, а метафарычна – пра вяртанне птушкі да гнязда. Сімвалічнай з’яўляецца, безумоўна, і сцэна, вяртання з выраю дзікіх гусей, якой пачынае пісьменнік эпілог “Ноч на прадвесні”:

Сутуняецца.

Дзікія гусі зноў праляцелі нізка над лесам. Нібы ўцякаючы ці даганяючы, – так яны гегаюць на лятэ і спяшаюцца...

Будзе вясна.

Хоць адвечорак у пушчы яшчэ ўсё як быццам зімовы. З рэшткамі хлюпкага, вадзяністага снегу. З нізкім, нудна панурым небам... [Брыль 1968, III, 347]

У пралогу рамана пісьменнік прызнаецца, што ў аснову *Птушак і гнёздаў* леглі факты з яго біяграфіі, але адначасова адзначае: “А ўсё ж яна – “не аўтабіяграфія, а – біяграфія адной душы”, расказ пра яшчэ адзін шлях да святла, пра яшчэ адно месца ў страі яго абаронцаў” [Брыль 1968, III, 6]. Нават падзагаловак рамана (“Кніга адной маладосці”) засяроджвае ўвагу чытачоў і крытыкаў на асаблівасцях задумы аўтара – расказаць пра лёс аднаго героя, яго пошукі свайго месца ў барацьбе з фашызмам. Галоўны герой *Птушак і гнёздаў* – гэта, безумоўна, своеасаблівы тып лірычнага героя, які прэзентуе лёс не толькі Я. Брыля, але і ўсяго яго пакалення. Праз індывідуальны вопыт Алеся Руневіча пісьменнік “змож па-новаму, у гісторыка-філасофскім плане асэнсаваць сацыяльны, маральны і эмацыянальны вопыт цэлага пакалення заходнебеларускай моладзі” [Дзюбайла 1971, 317].

Як вядома, характэрная рыса лірычнага рамана – прысутнасць у ім аднаго цэнтра, а менавіта аднаго героя, якім у *Птушках і гнёздах* з’яўляецца Алесь Руневіч, малады хлопец з заходнебеларускай вёскі, прызваны ў польскую армію ў 1939 годзе. На асаблівую аўтарскую прысутнасць у творы звяртае ўвагу В. Нікіфарова, адзначаючы, што аўтар “становіцца нябачным апавядальнікам, які выяўляе сябе толькі ў тоне, настроі, стылі – то натхнёна-ўзнёслым, то іранічным” [Нікіфарова 2001, 506].



Алесь Руневіч прымае ўдзел у шматлікіх падзеях: баях, уцёках з палону, бунце ў нямецкім маёнтку, трапляе ў штрафную каманду, турму, вяртаецца на Радзіму, дзе ўступае ў партызанскі атрад. Аднак у адпаведнасці з законамi лірычнага жанру для Я. Брыля вызначальнымi з’яўляюцца не самi падзеi, а iх эмацыянальны след, уражаннi ад iх i пiсьменнiк засяроджваецца на прыгодах душы [Калеснiк 1990, 203] героя, якi, як вiдаць ужо з першых старонак рамана, вылучаецца сярод натоўпу:

Калi б знiзу заглянуць пад гэтыя насупленыя бровы над зямлэй – убачыў бы ў ва-  
чых, вiдама, i нянавісьць, рознай сiлы i адкрытасцi, i стому, у залежнасцi ад узросту  
таксама розную: каму не на карысьць, а каму дык i проста не на жыццё.

Найменш заўважыў бы страху, – прывычка.

А вось смяшынкамi свецяць адны толькi вочы.

Усмихаецца правафлаговы.

I вiдно гэта толькi, бадай, яму аднаму.

Схiлiўшы долу светлачубую галаву, на якой нейкiм чудам, толькi па ўласнай ахво-  
це, трымаецца пiлотка, хлопец успамiнае [Брыль 1968, III, 7–8].

Вобраз галоўнага героя паступова раскрываецца ва ўсёй яго складанасцi i не-  
паўторнасцi. Адарваны ад роднага, апынуўшыся ў непрыязных абставiнах, Алесь  
Руневіч стараецца застацца самiм сабою: любiмым у кнiгi, свет прыроды. Ён ма-  
рыць аб тым, каб некалi яго лiтаратурныя спробы пабачылi дзённае святло. Аднак  
хлопец “толькi яшчэ ўсё “багацее”, “набiраецца”. Хоць як жа цягне яго... Не, не да  
вершаў, да прозы. Суровай, радаснай, дужай, трывожнай – як само жыццё...” [Брыль  
1968, III, 364]. Вельмi важнае месца ў яго жыццi з раннiх гадоў займае лiтаратура.  
Ён захапляўся творами Аляксандра Пушкiна, Мiхаiла Лермантава, Максiма Горкага,  
Мiкалая Гоголя, Антона Чэхава, Фёдара Дастаеўскага, Адама Мiцкевiча, Генрыха  
Сянкевiча. Аднак, у значнай ступенi, менавiта iдэi Льва Талстога выратавалi га-  
лоўнага героя *Птушак i гнёздаў* Алеся Руневіча i самога Янку Брыля ад сляпой  
нянавісцi да немцаў, бо Я. Брыль вырашыў “не дазволiць да такой банальнасцi,  
што вось ён, мой Алесь Руневіч, паблытаўся трохi ў талстоўстве i стаў, як усе,  
савецкiм чалавекам” [Брыль 1993, III, 255]. Рашэнне не прымаць iдэалогiй, якiя ад-  
кiдалi талстоўства, выцякала, вiдавочна, не толькi з асабiстых перакананняў аўтара  
ў актуальнасцi iдэi новага гуманiзму, але i вестак, што прыходзiлi з Радзiмы. Чытач  
становiцца сведкам унутранай барацьбы Алеся Руневіча, якi хоча верыць у чудоў-  
нае жыццё ў Савецкай Беларусi i адначасова лiчыць сябе нявартым таго жыцця:

Як зразумець усё гэта? Як спалучыць з чудоўным вобразам Радзiмы?... Вось жа  
i Толя мой, шчыры i не дурны, пiша пра шчасце быць там. Не проста *дома*, а iмен-  
на там – “на чудоўнай савецкай Радзiме”... I я хачу толькi туды... I мне вось ра-  
дасна цяпер, што я ўжо блiзка да шчасця – да волi, мне вось i брыдка, да горычы  
брыдка, нават страшна, што ў думках я не такi.. ну, не зусiм такi, хто там трэба...  
[Брыль 1968, III, 274]

Я. Брыль паказвае, як паступова з духоўным ростам Алеся Руневіча дзіцячае разуменне паняцця Радзіма пачынае набываць для яго новае значэнне, глыбокі сэнс. Беларус ужо не толькі тужыць па роднай старонцы, але і пачынае клапаціцца пра яе лёс. Вось Алесь Руневіч трапляе ў кіно, глядзіць “Усходнюю хроніку” – пра баі на Беласточчыне:

Па родным блакіце паўзлі белыя воблакі з папялястымі донцамі, а пад імі сіва-зялёнай сталлю хваляваліся жытнія нівы... Так ён іх бачыў, Алесь, хоць хроніка была некаляровая. (...)

Гараць нявінныя хаты. Галосыць маткі, плача дзетвара. Гіне праца і хлеб...

А ў рэдкім сасонніку, каля пакінутых ці перавернутых гармат, ляжаць... валяюцца трупамі хлопцы і дзядзькі, уткнуўшыся хто тварам, хто астрыжанай патыліцай у стапаную, глыбокую, квяцістую траву...

[Брыль 1968, III, 296–297]

Жахлівыя карціны праходзілі перад Алесем-салдатам неаднойчы ў час ваеннай завірухі. Аднак кадры з экрана ўспрымаюцца ім глыбей, больш балюча, бо ён бачыць вайну амаль што ў сваёй вёсцы. Нават са здзіўленнем Алесь Руневіч усведамляе: “Свецце мой ясны! Гэта ж выходзіць так: калі чужога б’юць, далёкага, дык можна гаварыць пра аперацыі; калі ж на карце родныя назвы – за гэтым словам ужо не стратэгія, а чалавечая, родная кроў!.. Забойства пад рогат, песню и свист” [Брыль 1968, III, 296].

На працягу дзвюх частак рамана і эпілога пісьменнік збліжае падзеі, што адбываюцца ў розных часе і прасторы, у якіх адпаведна разгортаецца вобраз Алеся Руневіча. Характар героя, як заўважыў П. Дзюбайла, раскрываецца ў “асацыятыўным патоку, у якім зліліся мінулае, сучаснае і будучае” [Дзюбайла 1971, 419]. Якраз лірычнай прозе ўласціва адсутнасць строгай лагічна-храналагічнай паслядоўнасці. Я. Брыль распавядае пра жыццё маладога беларуса ў палоне і падае яго ўспаміны пра сям’ю, родную вёску, дзяцінства, парог сталасці. “Як і належыць лірычнаму герою, сваім светам Руневіч лічыць не прымусова навязанае яму акаляючае асяроддзе, а ўсё тое, што засталася ў памяці, стала вопытам, духоўным набыткам” [Нікіфарова 2001, 507]. Пачутае і пабачанае можа стаць імпульсам, які выклікае неабходнасць перажыць некаторыя факты ранейшага, перадваеннага жыцця. Вось закончыўся канцэрт, але беларус ўсё яшчэ чуе песню “Паломы” “і кажа той песні душою, без слоў:

“Не, ты не кліч мяне да тых халодных і тужлівых хваль, дзе дні і ночы бушавала агнём і жалезам нянавісць, дзе толькі чудам мяне абміналі асколкі і кулі, дзе без пары абарваліся шчасце, свабода і маладосць!

Вядзі цяпер да сонечных, да непаўторна радасных, што калыханкай шумелі мне ў самым пачатку!...” [Брыль 1968, III, 33]

Словы песні пераносяць палоннага ў “шчодро напоены святлом, далёкі і блізкі, нібыта ў радасным сне, вялікі чарнаморскі горад” [Брыль 1968, III, 33] і ён адбывае “падарожжа ў найлепшае”. Перад вачыма ўзнікаюць дарагія сэрцу малюнкi, якія

сонечнымі промямі дасягаюць жыццё ў зняволенні, узмацняюць дух, падтрымліваюць палоннага, які не чакае пасіўна вызвалення, але плануе ўцёкі. Такім чынам, “прошлое выступае на передний план не как развлечение, отвлечение или простое воспоминание. Оно активно работает на настоящее, формирует будущее” [Тваранович 1986, 61].

Хуткі, часам нечаканы пераход ад аднаго ўспаміну да другога, нібыта незавершанасць пэўных думак Алесья Руневіча ўласцівыя “плыні свядомасці”. Выкарыстоўваючы прыём “плыні свядомасці”, Янка Брыль прасочвае пачуцці, рэфлексіі, настрой свайго героя, высвятляе тыя моманты, якія фарміравалі яго характар. Брылёўскі лірызм грунтуецца “на інтэрпрэтацыі з’яў рэчаіснасці, падзей, сцэн з жыцця цераз прапусканне іх праз яго свядомасць, афарбоўваючы гэтую рэчаіснасць эмоцыямі героя, які ў многім тоесны аўтару” [Казлоўскі 2006, 64–65]. Сам пісьменнік знаёміць чытача толькі з немцамі Шмітке і Груберам (пачатак часткі “Гнёзды за дымам”), астатнія героі падаюцца праз успрыманне Алесья Руневіча. Адносіны Алесья Руневіча да герояў выяўляюцца ў яго думках, радзей – паводзінах:

Першае месца займаў у яго думках Крушына. Нешта блізкае было ўжо нават у тым, што ён і імя, і гадамі напамінаў Алесю брата Сяргея (...)

Печку Алесь недалюбваў за саладжавасць усмешчкі і лясканне абцасамі, хоць гэта вельмі тут прыдалося. Асабліва нямілы ён стаў пасля таго, калі не вытрываў усё-такі і брахнуў Бязменавай кампаніі, што і “Руневіч таксама паэт”. (...)

Трайны Марцін трохкі не падабаўся Алесю па-свойму. Заданне сваё, улашчыць Бязмена, вусач выконваў так старанна, што проста, відаць, упадабаў тыя выпівачкі, прывык да іх. Алесь наогул не ведаў яшчэ гарэлкі, нават на смак, і п’яныя былі для яго не столькі пацешныя, колькі агідныя, вартыя жалю [Брыль 1968, III, 218–219].

У час вымушанага блукання па чужыне галоўны герой рамана індывідуальна пералалямляе ў сваім уяўленні характары людзей і імкнецца зразумець іх паводзіны, заўсёды спрабуе зазірнуць ў глыбіню душы, зразумець кожнага напатканага чалавека. Яшчэ ў маентку Алесь Руневіч знаёміцца са старым батраком Ракавым – немцам, у якім палонны бачыць героя з аднаго прачытанага ім некалі апавядання:

Там нейкі дзядзька, як заўсёды стомлены, размарыўся ў царкве дрымотай і заснуў у зацішным кутку. (...) І пачалася ў іх (*дзядзькі і Бога – А. А.*) размова пра жыццё – і пра часовае, на грэшнай зямлі, і пра вечнае, на небясі. Абараняючыся ад праведных боскіх папрокаў, мужычок узмаліўся:

“Пане божа, то ж колькі бунту ў маёй душы, столькі і пуду ў нагах!..”

Такое вельмі пасавала і да гера Ракава.

Бунт у ягонай душы быў [Брыль 1968, III, 93].

Алесь Руневіч добра разумее, што выказваемыя тайком жарты пра Гітлера, ці спачуванні ахвярам вайны з’яўляюцца своеасаблівым спосабам змагання старога немца з фашызмам. Аднак не толькі антыфашысцкі падыход, але, найперш, працавітасць Ракава, яго здольнасць па-дзіцячы ўспрымаць прыгажосць навакольнага свету, збліжаюць палоннага з немцам.

Адносіны да прыроды – адзін з важных кампанентаў лірычнага светабачання Янкі Брыля, які не адзін раз падкрэсліваў, што дзіцячае эмацыйнае ўспрыманне наваколля ў душы адбываецца назаўсёды. Усёй творчасці пісьменніка і, зразумела, *Птушкам і гнёздам* уласціва жывое і глыбокае праніканне ў беларускі пейзаж. Вось яго героя агортваюць успаміны, у якіх паўстае сад:

...Вакол хаты быў сад. Пад каравымі стваламі разгалістых яблынь і высокіх груш, паабгрызаных у вайну казацкімі коньмі і прысмаленых ды прысушаных палявымі кукнямі, густы малінік змяшаўся з куслівай крапівой і вялізнымі лапухамі. Потым, улетку, з яблынь і груш ападала туды сакавітая спеласць. Сама ападала або Толя яе атрасаў. І трэба было, каб не апякаць рук ды ног, браць кіёк, расхінаць крапіву, а тады ўжо прыступаць яе нагой – падэшва, нябось, не баіцца! – і паднімаць свае яблыка або грушу. (...)

Бо хоць там пячэцца – маліны такія салодкія!.. Толькі паложыш яе як цукерку, як духмяна-шурпаты пухір, на язык, толькі прыціснеш трохі – смаката! А то дык кажуць яшчэ сма-ка-тэй-на!.. [Брыль 1968, III, 37–38]

Лірычнай прыродай таленту Я. Брыля абумоўлены выбар характару галоўнага героя, які, безумоўна, з’яўляецца *porte-parole* пісьменніка, надзвычай чулага і ўражлівага на прыгажосць свету. Палонны глядзіць на прыроду праз прызму роднай старонкі, што ўзмацняе яго тугу за Радзімай:

Сонца садзіцца цяпер над чужымі прасторами. І тут спакойна, велічна, абяцаючы шчасце спачыну па працы, чароўную цішыню...

“Не, не тое ўсё гэта, – у думках гаворыць Алесь.– Няма тут чагосьці найбольш істотнага. Для чаго ты і знойдзеш патрэбнае слова, а то і не знойдзеш...”

Лёсе мой жорсткі! Калі ж ты дазволіш мне зноў убачыць першыя мэндлі на ўзгорку за роднаю вёскай, адчуць іржавую духмянасць, сардэчную музыку жніўнай песні?..” [Брыль 1968, III, 109]

Відаць, менавіта ва ўспрыманні навакольнага свету найбольш выразна адлюстроўваюцца пачуцці Алеся Руневіча, які безупынна марыць аб вяртанні ў сваё роднае гняздо над Ціхменню, у Пасынкі. “И эта острая настальгия, – як слухна заўважыла Галіна Тварановіч, – во многом влияет на принципы художественного построения романа” [Тваранович 1986, 63].

“Пі, браток, цішыню” [Брыль 1968, III, 338] – гаворыць Алесь Руневіч Мазальку, калі ўдаецца ім пераступіць мяжу, а потым “у цішыню праваліўся, у невыразны верасавы пах, і земляны, і любы” [Брыль 1968, III, 338]. Некалькі слоў хапіла пісьменніку, каб выказаць ўсё: і палёгку, што, відавочна, нарадзілася ў сэрцы ўцекача, і настрой, выкліканы яго доўгачаканай сустрэчай з роднымі краявідамі.

Істотна, што з’явы прыроды часта адлюстроўваюць унутраны стан Алеся Руневіча. У самых важных і трагічных ў жыцці галоўнага героя моманты ідзе дождж: у дажджлівае надвор’е, напрыклад, памірае бацька Алеся Руневіча, падчас першых уцекаў беларусаў суправаджае дождж, які “мае час, яму куды там спяшацца, яму ўсё роўна, дзе асядаць на зямлю...” [Брыль 1968, III, 136].

Лірызм – вызначальная дамінанта брылёўскай творчасці, дазволіў аўтару *Птушак і гнёздаў* суаднесці свой лёс з лёсам свайго народа і адначасова выказаць найгалоўнае: шчырую любоў да Чалавека, веру ў яго чалавечнасць. У рамане яскрава выявілася лірычная прырода таленту Янкі Брыля, яго асабістая і творчая высакароднасць. Безумоўна, *Птушкам і гнёздам* належыць важнае месца ў беларускай літаратуры.

### Bibliografia:

- Андраюк С., 1999, *Думаючы пра вечнае, бачыць штодзённае* // Брыль Я., *Запаветнае. Выбраныя творы*, Мінск: Беллітфонд, 3–24.
- Брыль Я., 1968, *Збор твораў у чатырох тамах*, Мінск: Беларусь.
- Брыль Я., 1993, *Выбраныя творы ў трох тамах*, Мінск: Мастацкая літаратура.
- Дзюбайла П.К., 1971, *Раман і апавесць на сучасным этапе* // *Беларуская савецкая проза. Раман і апавесць*, рэд. Барысенка В.В., Дзюбайла П.К., Мінск: Навука і тэхніка, 278–430.
- Казлоўскі Р.К., 2006, *Празаічная мініяцюра ў беларускай літаратуры*, Гродна: ГрДУ.
- Калеснік У., 1990, *Янка Брыль. Нарыс жыцця і творчасці*, Мінск: Народная асвета.
- Нікіфарава В.Б., 2001, *Янка Брыль // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя ў чатырох тамах*, т. 3, Мінск: Беларуская навука, 479–520.
- Нікіфарава В.Б., 2013, *Рэальнасць, выдумка, памяць у творчай стратэгіі Янкі Брыля* // *Антропология литературы: методологические аспекты проблемы: сборник научных статей. В 3 ч., ч. 1*, Гродно: ГрГУ, 135–143.
- Тваранович Г., 1986, *Нравственный мир героя. Белорусская и югославская военная проза 60–70-х годов*, Мінск: Наука и техника.

### Summary

#### GENERIC AND STYLISTIC FEATURES IN YANKA BRYL'S NOVEL *PTUSHKI I GNYOZDI*

This article is devoted to the analysis of generic and stylistic features in Yanka Bryl's novel *Ptushki i gnyozdi*. The discussion is focused on the ways the main hero is presented as well as on the role of lyricism in the novel. The hero is in the center of composition that describes his feeling and expresses his thoughts and attitudes.



**Jadwiga Gracla**

Wydział Lingwistyki Stosowanej  
Uniwersytet Warszawski

**JEWREINOW W POWOJENNEJ POLSCE.  
(UWAGI O SPEKTAKLU *TEATR ODWIECZNEJ WOJNY*  
TEATRU WYBRZEŻE)**

**Key words:** Theatre, performance, costume, ramp

Mikołaj Jewreinow jako dramaturg i reżyser zyskał sporą popularność w przedwojennej Polsce. Mimo różnic politycznych i zdobytej przezeń sławy po zrealizowaniu masowego widowiska *Szturm Palacu Zimowego* został dobrze przyjęty<sup>1</sup>, a jego spektakle cieszyły się dużą popularnością<sup>2</sup>. Zapewne przyczyną jego sukcesu (choć przyznać z kronikarskiego obowiązku również należy, iż niektóre spektakle – *Okręt sprawiedliwych*<sup>3</sup>, *W kulisach duszy*<sup>4</sup> – entuzjazmu nie wzbudziły) była, prócz wycucia teatralności, również umiejętność budowy spektaklu i dramatu w taki sposób, by widza oczarować i uwieść. Jewreinow oprócz działalności reżyserskiej i dramatopisarskiej był przecież również wybitnym znawcą dramatu i reformatorem teatru, stawianym na równi z Wsiewołodem Meyerholdem i Edwardem Gordonem Craigiem. Jego popularność a i aktywność dramatopisarska i reżyserska przygasły po wyjeździe z Rosji [Kodzis 2007, 347–355]. Z emigracyjnego, paryskiego okresu pochodzą jednak jego prace poświęcone

---

<sup>1</sup> Rafał Węgrzyniak w swoim tekście poświęconym polskim realizacjom dramaturgii Jewreinowa stwierdza: „Na fali zainteresowania rosyjskim autorem polskie teatry sięgnęły po jego miniatury dramatyczne pisane przed Wielką Wojną i rewolucją w Petersburgu dla kabaretu Kriwoje Zierkało (Krzywe zwierciadło) założonego w 1907 roku” [Węgrzyniak 2008, 216]. Feliks Sielicki stwierdza zaś: „(...) Jewreinow nie przestawał być autorytetem dla polskich aktorów i teatrologów. W wydanym w 1929 r. Podręczniku *Wstęp do nauki o teatrze* Jana Kochanowicza są np. cytaty o grze aktorów wzięte z prac Jewreinowa” [Sielicki 1996, 179–180].

<sup>2</sup> Na przykład sztukę *To, co najważniejsze* zagrano 58 razy, od 1.02.1923 do 5.02.1924 roku. W jednej z recenzji czytamy: „sztuka Jewreinowa jest wyjątkowo pouczająca dla każdego, kto kocha teatr, kto rozumie jego zagadnienia, zdaje sobie sprawę ze wszystkich jego ułomności i braków” [Sielicki 1996, 168].

<sup>3</sup> Tekst ten został uznany za zbyt „rewolucyjny”, co zapewne było powodem usunięcia przez cenzurę całego aktu IV, ale również „nudny” (Słonimski).

<sup>4</sup> J. Lechoń stwierdził: „Jewreinow pisuje pod swoim nazwiskiem, i, co gorsza, obwozi po świecie takie pretensjonalne jak *Kuliszy duszy* głupstwa” [Lechoń 1881, 56].

historii dramatu, której był przecież wytrawnym znawcą. Mimo to zapamiętać go należy przede wszystkim jako reformatora – bezspornie i konsekwentnie przeobrażającego oblicze sceny i jednocześnie dążącego do przekazania publiczności i swojego rozumienia teatru.

Teoria teatru stworzona przez Jewreinowa zakładała z jednej strony istnienie instynktu teatralności w każdym człowieku i wynikającą z tego konieczność ukazywania teatralizacji w życiu, z drugiej zaś możliwość teatroterapii – leczenia teatrem w nieco innej formule – mianowicie poprzez, jak pokazuje to w *Tym, co najważniejsze* [Gracla 2008, 23–32] – zastosowanie teatralnych chwytów w życiu. Sztuka ta została uznana za pierwszą egzemplifikację teorii autora, w której grupa zaangażowanych przez dyrektora Fregollego artystów ma urzeczywistnić marzenia innych postaci sztuki. Tego bohatera w pierwszych częściach sztuki widzimy w kostiumie wróżki. W takim przebraniu, w pełnym anturazhu (szklana kula itp.) poznaje najszybsze pragnienia odwiedzających jego gabinet postaci, by w późniejszej części sztuki zrealizować je przy pomocy zaangażowanych do odgrywania określonych ról aktorów. Ta skądinąd komiczna sytuacja ma pokazać możliwości teatru, który za pomocą swoich chwytów może pomagać człowiekowi zagubionemu i szukającemu szczęścia. Przywołana sztuka – bodaj najbardziej znana – jest pierwszą częścią trylogii zatytułowanej *Podwójny teatr*. Kolejnymi są zaś: *Okręt sprawiedliwych* i będąca przedmiotem niniejszych uwag trzecia część cyklu – *Teatr odwiecznej wojny*.

Sztuka ta pojawiła się na deskach przedwojennego polskiego teatru w Poznaniu i na Wileńskiej Pohulance<sup>5</sup>. Zyskała dość pochlebne recenzje, ale nie wzbudziła tak spektakularnego entuzjazmu jak wystawiona nieco później *Miłość pod mikroskopem*<sup>6</sup>. Wypada przyznać, że owa mniejsza przychyłość odbiorców została z pewnością spowodowana czynnikami dwojakiego rodzaju: jednym z nich może być dość swobodne podejście do samego dramatu Jewreinowa, dla którego miał stać się on nośnikiem jego idei (krytycy zarzucali mu np. „bezwstydne i bezrozumne wykorzystanie efektów scenicznych” – jak twierdził A. Słonimski [Węgrzyniak 2008, 216]), drugim poruszenie, jakie wywołał zarówno *Okręt sprawiedliwych* (ze względu na swój polityczny wydźwięk), jak i dość gorsząca *Miłość pod mikroskopem* (wystawiona w 1932 roku przez Ludwika Solskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie). Owo zgorszenie to efekt tematu utworu – losów wziętego chirurga uprawiającego raz w tygodniu seks z prostytutką i wyznającego zasadę istnienia jedynie tego rodzaju miłości. Lekarz pod koniec sztuki nawraca się i zakochuje w prostytutce. Ta z kolei, co dodaje sytuacji jeszcze pewnego gorszącego – ale i komicznego – aspektu, gdy zachodzi w ciążę, usiłuje jego właśnie przekonać do aborcji. Przyznać należy, że w tych okolicznościach – *Teatr odwiecznej wojny* – sztuka, opowiadająca historie uczniów pewnego instytutu teatralnego prowadzonego przez Pyszną Dyrektorką i pomagającą jej, demoniczną wprawdzie i stosującą wobec wychowanków coś na kształt hipnozy, a dodatkowo uzależnioną od opium Ju-Dżen-Li, nie budzi aż takich emocji.

<sup>5</sup> Wystawiono ją w 1931 roku i grano 17 razy.

<sup>6</sup> Chociaż tej sztuce z kolei zarzucano, że jest: „rozwlekła, o naiwnej fabule, podanej w dialogu tak płaskim, że chwilami słucha się go wprost z zażenowaniem” [Boy-Żeleński 1966, 78].



Dramat ten miał pokazać, jak należy uczyć się życiowego aktorstwa – będącego mieszaniną sztuki ułudy i obłudy. W końcowych jego partiach jednak dochodzi do głosu słynny i błyskotliwy komediowy talent Jewreinowa: gdy Dyrektorowa tubalnym aktorskim i afektowanym głosem wzywa piorun i grom na swych niewiernych uczniów (zamiast konsekwentnie stosować ułudę teatru i udawać uczucia rzeczywiście się zakochiwali i wybierali prawdę życia) natura (grom) odzywa się naprawdę.

Sztuka ta, co może dziwić, jako jedna z dwóch pojawiła się również w powojennej Polsce, w czasie, kiedy już, jak się wydaje, wszyscy (prawie wszyscy) zapomnieli o Jewreinowie – dramaturgu i twórcy teorii teatru. Co również zaskakujące, to właśnie polski teatr wrócił do swoich przedwojennych tradycji, wystawiając sztukę autora, by posłużyć się eufemizmem, niezbyt chętnie widzianego w ówczesnym Związku Radzieckim<sup>7</sup>. Wystarczy wspomnieć, że sztuk Jewreinowa nie drukowano, nie wznawiano jego opracowań dotyczących historii teatru, zaś ponowne zainteresowanie jego dorobkiem pojawiło się dopiero w latach dziewięćdziesiątych. W Polsce sytuacja przedstawiała się nieco inaczej [Śliwowski 1980, 393–412]. Jego poglądy i koncepcje teatralne przybliżył w swojej poświęconej reformie bodaj najlepszej i najpełniejszej pozycji omawiającej genezę i losy tego zjawiska Kazimierz Braun [Braun 1984, 138–144]. Działalność i spektakle Jewreinowa z okresu przedwojennego omawia zaś dokładnie Franciszek Sielicki [Sielicki 1996, 164–184]. Z tego punktu widzenia przyznać należy, że w Polsce spuścizna reformatora-dramaturga nie uległa nigdy całkowitemu zapomnieniu tym bardziej, że omówiono również napisaną przezeń *Historię teatru światowego*. Jewreinow istniał więc w świadomości historyków i praktyków teatru. Mimo wszystko jednak spektakl, który pojawił się w gdańskim Teatrze Wybrzeże w 1976 roku stanowi pewien ewenement. Oczywiście należy oddać sprawiedliwość jego twórcom, którzy sięgnęli po dość trudny i wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka mało współczesny tekst i temat. Chcąc jednak ocenić ów spektakl obiektywnie, należy również pamiętać właśnie o istnieniu Jewreinowa w polskiej myśli teatrologicznej i o historii jego spektakli. Próbując więc odpowiedzieć na najbardziej istotne w kontekście relacji dramat – teatr pytanie o wierność spektaklu wobec idei tekstu, należy wszystkie te czynniki mieć na uwadze. Nie wolno również zapominać o dystansie czasowym dzielącym powstanie dramatu i spektaklu. Pomiędzy nimi upłynęło 48 lat, niezwykle znamienitych i obfitujących w przemiany i ewolucje oblicza sceny<sup>8</sup>. W historii teatru to cała epoka zmian i prób. Reżyser współczesnego spektaklu stanął wobec wyzwania trudnego, można nawet rzec trudniejszego od tego, które było udziałem twórców przedwojennych. Z jednej strony, bowiem, powinien temu tekstowi pozostać wierny i w jak najpełniejszy sposób przekazać jego wartości, z drugiej: winien znaleźć taki sposób przekazania owych wartości, by stały się one dostępne i zrozumiałe dla współczesnego widza, przy jednoczesnym dochowaniu wierności idei autora tekstu. Wszelkie modernizacje tekstu dramatycznego dokonywane przez

<sup>7</sup> *Teatr odwiecznej wojny* to jedna z dwóch powojennych realizacji scenicznych dramaturgii Jewreinowa. Drugim zrealizowanym spektaklem była *Czwarta ściana*.

<sup>8</sup> Szczególnie zauważalnych na Zachodzie Europy. Mówi o nich K. Braun w swojej *Drugiej reformie teatru*.

twórców Wielkiej Reformy – Meyerholda, Craiga<sup>9</sup>, a w ich liczbie również Jewreinowa, nie miały bowiem na celu niszczenia idei tekstu, lecz nadawanie jej takiej formy teatralnej, by stała się ona jak najbardziej widoczna i wyeksponowana. Wypada więc zastanowić się na wstępie nad tą eksponowaną przez Jewreinowa ideą – przemiany teatru i przemiany widza – konsekwentnie realizowaną w całym tryptyku<sup>10</sup>.

Jak twierdzi jeden z pierwszych komentatorów twórczości Jewreinowa – Roman Dybowski<sup>11</sup> – w pierwszej części tegoż tryptyku autor przekonywał o społecznej doniosłości teatru, swojej wierze w dobroczynność sztuki dla człowieka. By w końcu dotrzeć do stwierdzenia identyfikującego teatr z życiem w aspekcie gry, roli, którą gra każdy człowiek w swoim życiu. Stwierdzenia te, choć oczywiście odpowiadają założeniom filozoficzno-społecznym autora dramatu, nie są do końca tożsame z rodzajem teatru, który tworzył i, przede wszystkim, w który wierzył sam Jewreinow. W jego przypadku idea dramatu i sposób wystawienia nie do końca były wobec siebie tożsame, a ta nietożsamość zazwyczaj domagała się odkrycia w tekście. ZakamufLOWANA pod postacią zdania z didaskaliów, specyficznego sposobu kształtowania sceny – i przestrzeni scenicznej. W przypadku interesującego nas dramatu i spektaklu trudność może być podwójna tym bardziej, że spektakle przed- i powojenny różnią się właśnie kształtem przestrzeni. Zanim jednak zajmiemy się przestrzenią spektaklu wypada wrócić do tekstu, czyli podstawowego dla nas punktu odniesienia. Otóż Jewreinow definiując przestrzeń swojego dramatu i określając ją jako „pomieszczenia instytutu teatralnego”, jednocześnie dodał niezwykle znaczący, a jak się wydaje przysłonięty ideą instynktu teatralności, szczegół. W tekście dramatu odczytujemy bowiem uwagę definiującą przestrzeń salonu, w którym rozgrywa się akcja pierwszego aktu – jest ona – **teatralna**, a jej teatralność dodatkowo wzmacniają terminy zastosowane przez autora dla opisu kształtu przestrzeni: **rampa i awanscena**. Przyjrzyjmy się dokładnie temu fragmentowi:

Salon w stylu empire, teatralnie rozumianym przez zamożną burżuazję Nowego Świata. Przy awanscenie – ni to arka, ni rama architektoniczna wykorzystana na bokach sceny – blisko rampy – by stworzyć dwa umeblowane kąciaki, z których lewy wydaje się bardziej intymny, dzięki stojącej w nim sofce wyglądającej na przytulną i zapraszającą (...). Po obu stronach arki (boki której są skrajnie małej grubości), puszą się nieco z tyłu rozciągnięte i udrapowane części masywnej, brokatowej, złociście rudej kurtyny z czarnym jedwabnym nieokreślonym wzorem [Еврейнов 2007, 181].

Nieco dalej zaś spotykamy taki zapis:

Między pierwszym i drugim aktem antrakt nie trwa dłużej niż 5 minut. Po podniesieniu kurtyny, kotara ozdobiona maskami jest ciągle opuszczona [Еврейнов 2007, 208].

<sup>9</sup> Edward Gordon Craig dokonał skrótów w tekście dramatu Szekspira, twierdząc iż: „Nawet gdyby najświetniejsi, najbardziej emocjonalni aktorzy zjednoczyli się i spróbowali zagrać Hamleta, nie stworzyliby doskonałego przedstawienia, ponieważ, jak się obawiam, nie jest to możliwe...” [Sugiera 1995, 45].

<sup>10</sup> Pamiętać tu bowiem ciągle należy, że tekstem otwierającym ów tryptyk było *To, co najważniejsze*.

<sup>11</sup> R. Dybowski twierdził, że uderzyła go w tej sztuce: „żywa, mocna, zdrowa wiara w społeczną doniosłość teatru, w dobroczynność sztuki dla człowieka” [Sielicki 1996, 166].

Określenia te – rampa, scena, awanscena, antrakt, kurtyna – nawiązują do stylu Jewreinowa, który często osadzał akcję swoich dramatów w teatrze (co szczególnie podkreśla drugi z cytowanych fragmentów) lub też konstruuje ich przestrzeń, pamiętał o przeznaczeniu swoich tekstów i budował ich świat przedstawiony z zachowaniem reguł rządzących scenografią. Instykt teatralności odczuwany przez człowieka w życiu nie stoi przecież w sprzeczności z podstawowym przekonaniem Jewreinowa o mocy, znaczeniu i charakterze teatru. Dla niego **teatr to teatr**, teatr/spektakl/widowisko trwa tak długo, jak długo podniesiona jest kurtyna, która odsłania świat piękniejszy, bajkę ułudę, świat nieprawdziwy, świat teatru, nie życia, nie odwzorowywania życia. Dlatego też jego dramaty w swojej warstwie układów przestrzennych uciekają od naturalizmu, on sam krytykuje w każdy możliwy sposób dążenie do naturalizmu na scenie – przypominając nieustannie widzowi, że jest w teatrze, a to, co na scenie, to świat teatru, nie, jak na przykład u parodiowanego niejednokrotnie Konstantego Stanisławskiego<sup>12</sup>, wierne odzwierciedlenie realnej przestrzeni i życia. Wszystko to należy mieć na uwadze w przypadku próby analizy spektaklu Teatru Wybrzeże. Najbardziej interesującym elementem jest tu scenografia – jak twierdzą recenzenci – jakby żywcem wyjęta z żurnala. Monumentalna, przesycona szczegółami i spychająca na plan dalszy właśnie eksponowane przez Jewreinowa elementy typowe dla teatru. Aktorzy ubrani w piękne, wydawać by się mogło, że właśnie wyjęte z żurnala, stroje pojawiają się w przestrzeni imitującej salon w sposób – można by rzec – doskonały, łącznie przecież z odwzorowaną na podłodze mozaiką. W tle zaś pojawia się kotara z wzorem w maski. I tu pojawia się pytanie? Czy dążenie do tych szczegółów uznać należy za sprzeniewierzenie się idei tekstu i poglądom Jewreinowa? Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie jest tak proste, jak mogłoby to się nie pierwszy rzut oka wydawać. W pierwszym bowiem kontakcie z spektaklem i odpowiednim fragmentem tekstu można odnieść wrażenie, że przestrzeń ta zbyt wierne odwzorowuje rzeczywistość. Jednak to, co widzimy na scenie, nie jest przecież naturalna, widz nie odbiera jej jako znajomej. Trudność w ocenie scenografii wynika z upływu czasu. Oczywiście nadmierne eksploatowanie szczegółu – tu mozaiki na podłodze czy przesadnie eleganckich i modnych strojów występujących na scenie postaci – w dobie przedwojennej mogłoby tracić nieco metodą Stanisławskiego, jednak omawiany spektakl został pokazany w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy to, jak wiadomo, kanony mody daleko odbiegały od zaprezentowanych na scenie kreacji, podobnie jak wystrój wnętrz. Czyli stroje aktorów zyskały status kostiumu przynależnego określone mu spektaklowi, stały się elementem znaczącym nie tylko z punktu widzenia kompozycji tekstu i jego znaczenia, ale przede wszystkim z powodu swojego, można podejrzewać niezamierzonego, odzwierciedlenia koncepcji teatru Jewreinowa. Kostium sceniczny stanowi przecież jeden z najbardziej znaczących znaków spektaklu [Kowzan 1988, 363]. Ta sama scenografia i kostiumy w czasach autora zniweczyłyby koncepcję teatru Jewreinowa, wtedy wymagałyby one wprowadzenia dodatkowych, teatralnych przerysowań, dzięki którym, w oczach widza/odbiorcy podkreślałyby obecność kostiumu i dekoracji na scenie. Stąd też w jego tekście pojawiają się tak często i tak wyraźnie elementy

<sup>12</sup> Do tekstów, które są parodią systemu Stanisławskiego, należą: *Rewizor* i *Czwarta ściana*.

architektoniki sceny, dzięki którym widz ma ciągle zachowywać świadomość bycia w teatrze. Oczywiście, wyeksponowanie kurtyny (pierwszej, gdyż druga, na której pojawiają się słynne maski, jest w spektaklu widoczna) mogłoby dodatkowo ów aspekt bycia w teatrze, oglądania widowiska wzmocnić, jednak przyznać należy, że w tym konkretnym przypadku ominięcie tego szczegółu nie nosi znamion grzechu zaniedbania i nie niweczy koncepcji sztuki. Współczesny widz oglądający spektakl ma przed sobą obraz niepozwalający mu zapomnieć o tym, gdzie się znajduje – jest w teatrze. Przypominają mu o tym stroje, meble, a nawet podłoga. Wszystko, co widzi na scenie, jest inne od rzeczywistego, choć wydaje się realne. Ale mimo wszystko nie przypomina codziennego doświadczenia widza, lecz raczej fotografię minionej epoki. I dlatego przestrzeń ta może istnieć tylko w teatrze, jest stworzona dla niego za pomocą teatralnych chwytów: kostiumu, rekwizytu, dekoracji. To scenografia typowa dla sceny, o czym widz wie. O tę świadomość zabiegał Jewreinow nieustannie. Dzięki temu podstawowa idea tekstu: nauka scenicznej gry i obłudy zwyciężona przez prawdę została wyeksponowana jeszcze wyraźniej. Bowiem dzięki takiemu, a nie innemu skonstruowaniu dekoracji widz obejrzał sztukę daleką od otaczającej go rzeczywistości: piękną, barwną, interesującą, ale jednocześnie zauważył, że była to jedynie gra, widowisko, które skończyło się wraz z opadnięciem kurtyny. I tak jak w sztuce rzeczywistość zwyciężyła ułudę, tak i tu czas widowiska się skończył.

Być może istnieje inna możliwość wyeksponowania jego koncepcji w spektaklu. I zapewne gdyby ów spektakl przenieść do teatru współczesnego, scenografia byłaby inna, może bardziej umowna, może wykorzystująca możliwości audiowizualnego kolażu. Ubolewać należy, że, niestety, nie powstały spektakle umożliwiające weryfikację tej tezy. Spektakl gdański przez prawie dwadzieścia lat był jedyną realizacją tekstu Jewreinowa na polskiej scenie. Można oczywiście zastanawiać się nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Jewreinow stworzył całościową koncepcję teatru i jednocześnie dał impuls do szukania sposobu wykorzystania teatru w życiu – ideę tę wykorzystał w swojej teorii psychodramy Jakub Moreno [Gracla 2011, 369–375]. Znaczenie jego koncepcji trudno więc przecenić. Ale spektakl przedstawiający studium teatralnej natury człowieka nie wzbudził zainteresowania. Choć z punktu widzenia odzwierciedlenia idei tekstu trudno mu cokolwiek zarzucić. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi być może jeszcze w zbyt małej znajomości Jewreinowa – dramaturga. Pamiętać należy, że był on twórca komedii, parodii skrzących się, jak pisał Nicoll, dowcipem. Być może, trzeba znaleźć ten właśnie klucz do jego twórczości. Pokazać nieskrępowany niczym śmiech i ostrze dowcipu Jewreinowa tym bardziej, że powstała po dwudziestu latach kolejna realizacja sięga właśnie do tego potencjału. Komedie początku XX wieku, tak często spychana poza horyzont zainteresowania badaczy i widzów, ciągle może być interesująca. Trzeba z niej tylko wydobyć to, co najważniejsze – prócz idei również śmiech i teatralną ułudę, czyli to, co przez wieki stanowiło o fenomenie sceny.

## Bibliografia

- Bab J., 1953, *Teatr współczesny*, przeł. E. Misiólek, Warszawa.
- Bablet B., 1973, *Współczesna reżyseria*, Warszawa.
- Bablet D., 1980, *Rewolucje sceniczne XX wieku*, przeł. Z. Strzelecki, K. Mazur Warszawa.
- Boy-Żeleński T., 1966, *Jewreinow „Miłość pod mikroskopem”* // Boy-Żeleński T., 1966, *Okno na życie, Ludzie i bydlatka, Pisma t. XXIV*, Warszawa.
- Braun K., 1984, *Wielka reforma teatru. Ludzie – idee – zdarzenia*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
- Brauneck M., 1993–2005, *Die Welt als Bühne. Geschichte des europäischen Theaters*, t. 1–5, Stuttgart–Weimar.
- Ekspresjonizm w teatrze europejskim*, 1983, przeł. A. Choińska, K. Choiński, E. Radziwiłłowa, Warszawa.
- Gracla J., 2008, *Dramat czy wskazówka jak żyć? Kilka słów o dramacie Nikolaja Jewreinowa „To, co najważniejsze”* // *Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze*, t. 20, *Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku*, red. Mazurek H., Gracla J., Katowice, 23–32.
- Gracla J., 2011, *Twórczość Nikolaja Jewreinowa wobec wyzwań teraźniejszości (kilka uwag o dramacie „W kulisach duszy”)* // *Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swojego czasu*, red. Ksenicz A., Łuczyk M., Zielona Góra, 369–375.
- Gracla J., 2013, *Dramat wobec sceny. Echa ewolucji teatru europejskiego w dramaturgii pierwszego trzdziestolecia XX wieku*, Katowice.
- Jewreinow N., 1946, *Le théâtre en Russie Soviétique*, Paris.
- Jewreinow N., 1947, *Histoire du théâtre russe*, Paris.
- Jewreinow N., 1947, *The theatre in life*, New York, London.
- Jewreinow N., 1953, *История русского театра*, Нью-Йорк.
- Kodzis B., 2007, *Театральная деятельность Николая Евреинова // Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze*, Kraków, 347–355.
- Kowzan T., 1988, *Znak w teatrze // Problemy teorii dramatu i teatru*, red. Deglera J., Wrocław.
- Lechoń J., 1981, *Cudowny świat teatru, Artykuły i recenzje 1916–1962*, zebrał i opracował S. Kaszyński, Warszawa.
- Nicoll A., 1983, *Dzieje dramatu*, przeł. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa.
- Pavis P., 1998, *Słownik terminów teatralnych*, przeł. S. Świontek, Wrocław.
- Powłocki S., 1984, *Jewreinow i jego twórczość* // Braun K., *Wielka reforma teatru. Ludzie – idee – zdarzenia*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
- Sielicki F., 1996, *Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej*, Wrocław.
- Sugiera M., 1995, *Craig, Stanisławski i moskiewski Hamlet // Mity teatru XX wieku. Od Stanisławskiego do Kantora*, red. Sugier M., Pleśniarowicz K., Kraków.
- Śliwowski W. i R., 1980, *Mikołaja Jewreinowa związki z Polską*, Pamiętnik Teatralny, z. 3–4.
- Евреинов Н.Н., 2007, *Театр вечной войны // Евреинов Н.Н., Двойной театр*, Москва.

**Summary****EVREINOV IN THE POST-WAR POLAND  
(NOTES ON THE PERFORMANCE UWAGI O SPEKTAKLU  
*THEATRE OF THE ETERNAL WAR* IN TEATR WYBRZEŻE)**

The present article dealt with the post-war production of the stage play *Theatre of the Eternal War* by Nikolai Evreinov. The author discussed the history of stage presentations of Evreinov's drama in Poland. Then she developed the topic referred to in the title of the play in focus. *Theatre of the Eternal War* was presented in the Wybrzeże Theatre in 1967. Skillful construction of the scenography, which only apparently resembles a naturalistic one, made it possible to maintain the sense as well as the humour of the text, which is difficult when a stage production of an author's plays is made many years after the works had been written. In case of the performance discussed in this paper the division theatre/reality, typical for Evreinov, was successfully maintained.

**Elena Janczuk**

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej  
Uniwersytet Warszawski

## О ПРИЕМЕ «УСВОЕНИЯ»: ЛЮБОВЬ АРМАНА-ЛУИ ЛОЗЕНА И ИЗАБЕЛЛЫ ЧАРТОРЫЙСКОЙ В ПЬЕСЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ *ФОРТУНА*

**Key words:** Marina Tsvetaeva, *Fortuna*, intertextuality, poetics of appropriation, identity

О работе Марины Цветаевой с литературным материалом написано немало, исследователи неоднократно указывали на обращение поэта к литературным источникам, на ее попытки вживаться в разные голоса и в разных героев, что было актуально и плодотворно особенно в период 1917–1926 годов. М. Мейкин определяет поэтику Цветаевой как «поэтику усвоения» (или присвоения)<sup>1</sup>, приписывая процессу адаптации широко понимаемого историко-литературного опыта роль инструмента в контексте всей цветаевской поэзии, что собственно является одной из установок постмодернизма, который, как известно, декларирует разрыв с опытом прошлого путем его ироничного переосмысления (Умберто Эко). А поскольку, по мнению М. Липовецкого, «русский постмодернизм не только не противостоит русскому модернизму 1910–1930-х годов, но и (...) представляет одну из важных фаз в историческом развитии модернизма» [Липовецкий 2008], в настоящей статье предпринимается попытка заявить о приеме усвоения историко-литературного материала как особом способе переосмысления прошлого, предложенного Цветаевой<sup>2</sup>. Данный прием становится одним из способов «игры» в постмодернистических произведениях, а творчество Цветаевой в формировании этого приема является достаточно показательным.

<sup>1</sup> Так переводит И. Шевеленко [Шевеленко 2002, 47] термин М. Мейкина *poetics of appropriation* [Мейкин 1997].

<sup>2</sup> Присвоение, возможно, не совсем удачный термин, Цветаева утверждала: «я ничего не присваиваю. Все ‘сорвавшееся’ в мире – мое» [Цветаева СС-6, 563]. А позже писала, что не признает авторства: «я давно перестала делить стихи на свои и чужие, поэтов – на ‘тебя’ и ‘меня’» [Цветаева СС-7, 466].

Ироничного переосмысления прошлого<sup>3</sup>, мы, скорее всего у Цветаевой, не обнаружим, но само переосмысление, и даже по-цветаевски понимаемое «иносказание»<sup>4</sup>, концептуализация протекания прошлого как предложение способа для особого видения событий и как художественный прием является одним из любимых в творчестве Цветаевой. В ее произведениях, подобно как и у ее коллег-модернистов, предпринимается попытка построения особого структурированного образа мира, воссоздания второй реальности человеческого сознания. В сознании поэта как бы сосуществуют и сопоставляются разные времена, неизбежно устанавливаются исторические параллели с собственным настоящим, при этом материал, с которым Цветаева «работала», не просто воспроизводится, отражая некую – в данном случае реальность XVIII века, а пересоздается. Цветаева подчеркивает первостепенность именно созданной реальности над реальностью исторической. Жизни как таковой она не любила в принципе, для нее жизнь «начинает (...) обретать смысл и вес – только преображенная, т. е. – в искусстве» [Цветаева 1994–95, VI, 344].

Надо сказать, что серьезным фактором в формировании такой установки сыграл сам факт преобразующегося в буквальном смысле у Цветаевой на глазах мира, который приобретал очертания, глубоко ей чуждые. В природном, детском и даже зверином видит она проявление разумности, в усилиях же человеческих, в грядущих переменях – подделку, замену, тупик: «Прогресс? Но доколе? А если и до конца планеты – продвижение вперед – к яме? Продвижение вперед не к концу – достижению, а к концу-уничтожению. (...) Конец или бесконечность земной жизни, равнострашно, ибо равно-пусто» [Цветаева 1994–95, V, 344]. Мир, который все активнее начинает руководствоваться материалистическими ценностями, представляет собой некую подменную реальность, которая вроде бы и существует, но полон миражей или, говоря сегодняшним языком, симулякров. Ощущение подменной реальности возникает после революции: в ее сознании, например, город может «кончатся», «переставать быть» в момент, когда она его покидает – остается чувство, что этот город – «не тот», что это личина, подмена, обман [Цветаева 1994–95, IV, 517]. С приемами интертекста авторы *Современной русской литературы* связывают саму возможность воспринимать реальность, которая исчезает «под напором продуктов идеологии» [Лейдерман / Липовецкий 2003, II, 378]. В период гражданской войны реальность не только исчезает, но и рушится в плане совершенно реальном, а кроме того, буквально на глазах происходит смена ценностных ориентиров: «Баррикады в Пятом строили – / Мы, ребятами. – История. // Баррикады, а нынче – троны» [Цветаева 1994–95, II, 265], – напишет она в 1926-ом, но ломку реальности переживает сейчас, в 1918-ом. Единственная возможность удержать в руках реальность – ее присвоить, то есть преобразовать в текст. Присвоение элементов реальности воспринимается как прием радикальной идентификации: «Ничего не хочу, за что

<sup>3</sup> Хотя М. Мейкин утверждает: «использование и 'переиначивание' литературного источника произвели неоднозначный и иронический эффект» [Мейкин 1997, 48].

<sup>4</sup> Ср. «Я, конечно, многое, ВСЁ, по природе своей, иносказую, но думаю – и это жизнь. Фактов я не трогаю никогда, я их только – толкую. Так я писала все свои большие вещи» [Цветаева СС-7, 274].



в 7 ч. утра не отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не умру» [Цветаева 1994–95, V, 368]. Присвоение становится элементом построения идентичности, способом отгородиться от репрессивности социального давления, только то, что лично было проверено на прочность, может быть освоено: «Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям» [Цветаева 1994–95, V, 368].

И. Шевеленко считает, что поэтика усвоения характеризует раннее творчество Цветаевой ничуть не меньше, чем более позднее, чему объяснением служит «творческая реактивность Цветаевой» [Шевеленко 2002, 47]. Шевеленко замечает, что Цветаевой необходимо чужое произведение в качестве носителя темы, сюжета, мотива, потому что собственный текст она мыслит всегда как ответ: «Все уроки, которые мы извлекаем из искусства, мы в него влагаем. Ряд ответов, к которым нет вопросов. Все искусство – одна данность ответа» [Цветаева 1994–95, V, 352], «Поэт есть ответ» [Цветаева 1994–95, V, 364]. Шевеленко подчеркивает, что следствием творческой реактивности Цветаевой становится постепенный переход Цветаевой от поэтики присвоения к поэтике вчитывания: «чужая тема, мотив или сюжет становятся для нее носителями *неизвестного, еще не открытого смысла*, и свой *ответ* на них она видит в обнаружении (а фактически – в привнесении) некоего смысла» [Шевеленко 2002, 47–48].

Период 1917–1920 годов является в творчестве Цветаевой самым плодотворным и самым неоднозначным, а потому «самым трудным для анализа периодом ее творческого развития» [Шевеленко 2002, 143]. Для данного периода характерны стилистическая разноголосица, отсутствие внутреннего стержня, экспериментаторство [Шевеленко 2002, 145]. О. Ревзина также характеризует этот период «субъектным многоголосием», когда Цветаева «как будто пробует, как звучат ипостаси одной и той же личности, как звучат разные сознания, как звучат разные области мира» [Ревзина 2009, 564]. Именно в период такого рода экспериментов поэтический язык (и соответственно мир) поэта претерпевает значительные изменения – расширяется его лексикон, включаются различные смыслы, используются интертекстуальные связи, пробуются и создаются разные выразительные средства [Ревзина 2009, 564]. Перед Цветаевой открывается вся разнородность этого мира, скрывающего в этой разнородности свою сущность. Цветаева сущность ищет путем вхождения в роль, перевоплощения, но и путем присвоения этой роли.

Именно в 1918 году Цветаева окажется необыкновенно открытой на все разнообразие мира, мир ей кажется лишенным прежней идеологической обусловленности (все социальные ограничения сняты). В наследовании литературных контекстов видит М. Мейкин особенность цветаевского присвоения, что он особо подчеркивает: «источники чаще всего подаются не как обнаруженные именно ею, а как перешедшие к ней или же усвоенные ею в рамках общекультурного наследия» [Мейкин 1997, 15]. Пьесы же, написанные в эти годы, по мнению Мейкина, стали самыми «непрочитанными» произведениями» [Мейкин 1997, 66], как в связи с недоступностью читателям, непринятием в расчет исследователями, так и в связи с восприятием их как наименее удавшимися из ее произведений [Мейкин

1997, 66–67]. Цветаева же, в особенности, к поэме *Фортуна* относилась с особым чувством: «Лозэна (...) (т. е. *Фортуна* (...)) я люблю (...) абсолютно, – ни строчки вычеркнуть!» [Цветаева 2001, I, 343].

Пьеса *Фортуна* (1918 года, хотя опубликована лишь в 1923 году в парижских «Современных записках»), была инспирирована и во многом основана на *Записках герцога Лозена* [Лозен 1907]. *Записки Лозена* впервые были изданы в Париже в 1822 году благодаря стараниям последней подруги герцога графини Коин, их издание сопровождалось скандалами. Лозена называли сплетником и лгуном, эти обвинения были опровергнуты французскими историками, доказавшими, что «важные события, мельчайшие детали, даты, все оказалось абсолютно точным и правдивым»<sup>5</sup> [Pauszer-Klonowska 1988, 45–46]. Второе издание 1858 года было изъято по требованию семейства Чарторыйских. Были и последующие издания, например, в 1862, 1882 гг. и др. На польский язык *Записки* были переведены в 1976 г., на русский – в 1907.

Главный герой цветаевской пьесы – Арман-Луи граф Бирон-Гонто, герцог Лозэн (1747–1793), которого Цветаева сравнивает то с Ловеласом, то с Казановой, то с Дон Жуаном<sup>6</sup>, хотя, несмотря на собственную одержимость этим образом, ценит его не особенно высоко: «Лозэн – Казанова – Манон – привито мне порочными проходимцами, которые всё-таки не смогли развратить меня вконец» [Цветаева 2001, II, 105]. В *Записках* Лозэн описывает череду объектов любви – только до Чарторыйской их было около тридцати. Цветаева же для своей пьесы выбирает лишь женщин, оказавших наибольшее влияние на жизнь герцога: маркизу де Помпадур, маркизу д’Эспарбес, княгиню Изабеллу Чарторыйскую, королеву Франции Марию-Антуанетту, а также придумывает Розанетту, дочь привратника. В пьесе Цветаевой каждый из пяти актов представляет собой отдельную любовную историю Лозена. М. Мейкин обращает внимание на то, что именно третья (о княгине Чарторыйской) и четвертая картины (о Марии-Антуанетте) пьесы *Фортуна* наиболее правдоподобны, реалистичны, поскольку основаны на источниках [Мейкин 1997, 87]. Однако следует выделить ряд нарушающих историческую достоверность моментов.

Польская графиня 30-летняя Изабелла Чарторыйская (1746–1835) предстает в третьем акте пьесы (в реальности, в момент рождения сына ей было 28 лет). В жизни Лозена любовь к княгине была самой драматичной и сильной. Страницы, посвященные ей в *Записках*, полны мельчайших подробностей, в частности, момент встречи и свое первое впечатление от встречи в декабре 1772 года Лозэн передает в деталях: «в зал вдруг вошла дама, причесанная и одетая лучше, чем это обыкновенно бывает у англичанок. (...) Небольшого роста, но с замечательной фигурой, с красивыми волосами, красивыми зубами, красивыми глазами и замечательной ножкой, – она производила чарующее впечатление, благодаря также своей бесконечной доброте, несмотря на то, что лицо ее было испорчено ветряной

<sup>5</sup> Перевод здесь и далее – Елена Янчук.

<sup>6</sup> Исследователи считают, что Лозэн «не был ни Ловеласом, ни Дон Жуаном. Ему чужда была сатанинская извращенность или холодная уверенность в себе» [Dackiewicz 1975, 83].

оспой и не отличалось особенной свежестью. Она доказывала только на деле, что, не будучи красивой, можно быть очаровательной. (...) Она показалась мне веселой, кокетливой и очень любезной, но тот, кто сказал бы мне, что она будет иметь такое огромное влияние в моей жизни, очень удивил бы меня» [Лозен 1907].

В пьесе Цветаевой Изабелла предстает умирающей от чахотки вскоре после рождения сына Лозена (в реальности, Чарторыйская от чахотки не умирала, а дожила до глубокой старости). Хотя, надо отметить, что мотив смерти сопровождал отношения Лозена и Изабеллы, Лозен цитирует одно из писем Изабеллы: «Но, увы, я говорю о будущем, а между тем я умираю, и я не буду настолько жестока, чтобы приказывать тебе жить без меня. (...) Приезжай и умрем в объятиях друг друга, чтобы в последнюю минуту испытать и горе, и радость» [Лозен 1907]. В интерпретации Цветаевой умирающая княгиня полна самых черных предчувствий. О них она переговаривается с нянюшкой: *Нянюшка*: К Новому году нас светлейший князь / Адам посадит – hue dada! (фр. Но, лошадка) – со звоном – / Стрелой – в Варшаву – к королю – на бал! // *Княгиня Чарторыйская*: / Не в санках – на руках лакеев черных, / Не к королю на бал – в фамильный склеп [Цветаева 1994–95, III, 384]. Лозен упоминает о том, что в совместных путешествиях с Чарторыйской, с ними неизменно была «старая полька, всегда сопровождавшая ее» [Лозен 1907]). У Цветаевой старая полька, трансформируется во французскую няньку Лозена, которая по сути помещается в образ русской нянюшки, речевая характеристика которой немало этому способствует: Кому не жить? А что намени нам? / Лекарь сказал? Умен, даром что нехристь! – / Коль будем мы исправно, каждый час / Лекарствице глотать да ровно в восемь / Под полог отходить, но чур – без сна, / Кручинясь, не лежать, но чур – не думать! [Цветаева 1994–95, III, 384]. Цветаева любит «присваивать» детали, в частности, при описании нрава Лозена нянюшка говорит: Но миг – и в гнев, / Дрожит как лист – и горлом кровь [Цветаева 1994–95, III, 386]. Эта деталь: «горлом кровь» взята из *Записок Лозена*: после решения расстаться Лозен пишет: «Мне казалось, что мы оба умрем с горя, – я харкал кровью, княгиня чувствовала себя не лучше меня: она чуть не умерла в тот день» [Лозен 1907] или «Кровь шла у меня постоянно горлом, и часто носовой платок мой был в крови» [Лозен 1907] (в Спа, куда направились после знакомства в Лондоне Лозен и Изабелла, они проходили курс лечения).

Дурные предчувствия сопровождали возлюбленных в течение трех лет их страстных отношений (декабрь 1772 – март 1775), Чарторыйская призналась: «Я вовсе не хочу скрывать от вас, Лозен, что я вас люблю, (...) но в то же время я должна вам сказать, что эта любовь, которая для меня дороже жизни, должна повлечь за собой ужасные последствия для нас обоих, если мы не найдем в себе силы расстаться немедленно» [Лозен 1907]. «Ужасные последствия» были связаны с тем, что, став женой глубоко уважаемого ею человека, Чарторыйская привыкла к поклонению ей мужчин, «самым ревностным был польский король» [Лозен 1907]. Князь Н. Репнин, русский посол Екатерины II в Польше, влюбился в нее и, доказывая свою любовь, поступил вопреки приказу царицы, защищая семью Чарторыйских от разорения и ссылки. Заслушав Репнина был лишен всего имущества,

поста посланника, впал в немилость к императрице. Чарторыйская посчитала, что «должна принести себя в жертву из благодарности» [Лозен 1907]. Находясь в сложных отношениях, Чарторыйская влюбляется в Лозена и сначала готова была «жить и умереть несчастной от неудовлетворенной любви» [Лозен 1907], храня верность князю, который «потерял все на свете» [Лозен 1907] из-за нее. Княгиня переживает противоречивые чувства: «Всякое доказательство в моей любви только еще более убедит меня и вас в том, что женщина может любить несколько раз, и поэтому доверять ей нельзя. Уж если я могла разлюбить и обмануть князя, которому обязана решительно всем, какая же у вас гарантия быть любимым мною вечно, когда я решительно ничем не обязана вам? К тому же вы и не подозреваете, как я буду мучиться моей любовью к вам, как я буду несчастна при мысли, что изменю князю?!» [Лозен 1907]. Цветаева в *Фортуне* сосредоточивает свое внимание прежде всего на любви женщины, в действительности же чувство было интенсивно с обеих сторон. Собственные чувства Лозен представляет не менее драматично: «Помните, что я любил вас безумно, любил настолько искренно и горячо, что нашел даже в себе силу бежать от вас, когда вы стали мне так дороги; может быть, я совершу ради вас подвиг, который будет не меньше, чем сделал для вас князь. О, самая благородная, самая честная женщина в мире, помни, что, только благодаря твоей любви, я не сделался чудовищем, забывшим все человеческие чувства; только благодаря твоему великодушию, я остался честным человеком» [Лозен 1907]. И спустя несколько месяцев Лозен пишет: «Я ни о чем не думал и никого не видел, кроме княгини, – я или сидел у нее, или ждал ее к себе, а в ту минуту, как я терял надежду увидеть ее до следующего дня, я ложился скорее спать, так как не мог перенести мысли, что в этот день больше не увижу ее» [Лозен 1907].

Кульминации их отношения достигают, когда Репнин узнает о чувствах Изабеллы и Лозена и вызывает последнего на дуэль, тот отказывается, заверяя, что дуэль может скомпрометировать Изабеллу. Лозен решает уехать по делам службы, а Изабелла – отдалась ему. После этого Чарторыйская, посчитав, что любит слишком сильно и жить дольше не может, приняла яд, Лозен, увидев ее без чувств, – тоже. Обоих спасают. Во время недолгого расставания Чарторыйская пишет Лозену: «я говорю о будущем, а между тем я умираю, и я не буду настолько жестока, чтобы приказывать тебе жить без меня» [Лозен 1907]. Этот же мотив прозвучит у Цветаевой, ее Чарторыйская говорит: Я не плачу / Я просто умираю [Цветаева 1994–95, III, 384]. У Изабеллы состоялся разговор с Репниным, тот благородно отстранился: «Будьте счастливы, но я чувствую, что я не в состоянии оставаться здесь свидетелем вашего счастья. Я уеду через две недели и поступлю опять в русскую армию» [Лозен 1907]. Цветаева также пишет о решении Репнина, а также прощении мужем (что произойдет в действительности позже): *Лозэн: Что князь Репнин?! Княгиня Чарторыйская: Простил./ Лозэн: А князь Адам?! Княгиня Чарторыйская: И он простил, но у обоих – проседь./ Скипаются по дальним городам* [Цветаева 1994–95, III, 388].

Интенсивно переживая взаимную любовь, Лозен и княгиня видели одно: «впереди нас ждали только страдания, и надеяться на счастье мы не могли»

[Лозен 1907]. Об интенсивности чувства свидетельствуют состояния любовников: Чарторьейская стала терять сознание, Лозен приводит ее слова после того, как она очнулась «Я рада, что могу умереть на руках любимого человека, чувствуя при этом, что мне не за что упрекать себя» [Лозен 1907]. Чарторьейская не единожды заверяет о постоянстве своего чувства: «Никогда не бойся того, что сердце мое может перестать принадлежать тебе» [Лозен 1907]. А на известие, что Чарторьейская беременна, уже Лозен теряет сознание, она же обещает этого ребенка отдать ему: «Ты так желал оставить у себя одного из моих детей... Я оставляю тебе одного, который будет частью меня самой; я беременна и не жила со своим мужем с тех пор, как сошлась с тобой. Я найду в себе мужество открыть все мужу и добьюсь того, что тебе перешлют это новое существо, которое свяжет меня навеки с тобой» [Лозен 1907].

После возвращения в Польшу и признания мужу княгиня тяжело заболела. Лозен приехал в ее замок на два дня и условился, что будет поблизости во время родов. После отъезда Лозен занялся изучением положения дел Польши, Пруссии и России, по составлении доклада Лозен ожидал назначения себя посланником или министром Франции в Варшаве. Лозен вновь оказывается в Варшаве за три дня до родов княгини и проводит эти три дня, прячась в шкафу в ее комнате. Сразу после родов они встретились, княгиня сказала ему: «Ты мне спас жизнь, (...) я знала, что ты близко от меня и, только благодаря этому, нашла в себе силы и волю перенести эти ужасные страдания. Поцелуй этого ребенка – он мне и теперь уже дороже всех остальных. Но для него было бы слишком опасно, если бы тебя нашли здесь» [Лозен 1907]. У Цветаевой же в момент их встречи Лозен как будто забывает о сыне: *Княгиня Чарторьейская*: – А про сыночка и не спросишь?! *Лозэн* (ударяя себя по голове): Какая голова! – *Сын!* – Твой и мой!/ Наш сын с тобой [Цветаева 1994–95, III, 388]. По версии Цветаевой, старшие дети вообще потеряли для княгини значение, на вопрос Лозена, как старшие дети, Чарторьейская отвечает: Те? / Тем я не мать, – ты не отец им!/(...) Да я бы высушила их в песок, / Я б в снег зарыла их по шею [Цветаева 1994–95, III, 389]. Следует подчеркнуть, что Изабелла была исключительной по тем временам матерью, сама заботилась о своих детях, а их было пятеро [Dackiewicz 1975, 81–82]. В своих *Записках* Лозен также упоминает, что вопрос троих детей Чарторьейской неоднократно заставлял их задумываться о будущем: «Иногда в сердца наши закрадывалась надежда, но судьба детей беспокоила нас. Любя их мать, я невольно привязался и к ним и часто глаза мои наполнялись слезами, когда я ласкал их. Я готов был скорее сам перенести все несчастья, чем лишить их матери, не сравненной ни с одной из других матерей. Она вполне понимала чувства, волновавшие меня, и только больше полюбила меня за это» [Лозен 1907].

В пьесе Цветаевой встреча княгини с Лозеном состоялась, когда ребенку шел четвертый месяц. В действительности, Лозен проживает месяц после родов под Варшавой у неких Домбровских, которых Чарторьейская облагодетельствовала. Чарторьейская рассказала о разговоре с мужем: «он сжалился над моим тогдашним состоянием и ни в чем не упрекнул меня» [Лозен 1907], признал ребенка своим

с условием, что она не будет видаться с Лозеном. Лозен уезжает из Польши, чтобы дать ситуации успокоиться. Они состояли в переписке, и спустя время до Изабеллы дошли слухи об измене Лозена, герцог же утверждает, что «оставался верен княгине» [Лозен 1907]. Княгиня стала настаивать на прекращении отношений, реакция Лозена была драматичной: «Я готов был бы отдать свою жизнь за четверть часа разговора с нею, тысячи сумасбродных идей и планов возникали в моей голове» [Лозен 1907]. Лозен, ища возможность быть ближе к княгине, изучил ситуацию и нашел возможность составить докладную записку о ситуации Польши и России, из которого следовало, что в случае оказания содействия со стороны Франции возможно «будет восстановить могущество царства Польского» [Лозен 1907]. По этому вопросу он был вызван Адамом Чарторыйским в Варшаву. В интерпретации же Цветаевой Чарторыйская готова была отдать Лозену польский трон: Рано или поздно, но – будет тебе трон / Польши моей – на веселье, на страсть, на славу! / Трон – впереди! [Цветаева 1994–95, III, 389]. Следует подчеркнуть, что Лозен не был претендентом на польский трон, и не имел для этого никаких оснований. Во время этого приезда состоялась встреча Лозена с княгиней, она потребовала вернуть письма и портрет, а также расспросила «подробно о том, что произошло между мною и m-He Гартфельд» [Лозен 1907], потребовав сжечь письма и портрет Гартфельд, предмет ее ревности. Цветаева воспользовалась этой деталью и сцену ревности Чарторыйской поместила в свою пьесу: *Княгиня Чарторыйская*: – Все женщины вас любят?! *Лозэн (невинно)*: Все./ Не знаю, что во мне такого.// *Княгиня Чарторыйская*: (...) Гляди в глаза и начинай: когда,/ Кого и где... Начнемте с леди Сарры./ Очаровательна?!// *Лозэн (смущенно)*: Не так, как вы, –/ Причудница...// *Княгиня Чарторыйская*: А та, что с петиетром/ Тиссо дружила? А звезда с Невы?! Ох, не сносить вам буйной головы!// *Лозэн*: Откуда вы могли?...// *Княгиня Чарторыйская*: Доносит ветром! [Цветаева 1994–95, III, 390]. Лозен пишет, что княгиня «простила со свойственной ей очаровательной добротой. Но когда я хотел возобновить наши прежние отношения, она не согласилась на это и сказала, что это могло бы стоить жизни ей и мне» [Лозен 1907]. Во время пребывания Лозена в Варшаве он решается по совету подруги княгине возбудить в ней ревность, ухаживая за княгиней Потоцкой. Чарторыйская, услышав разговор Лозена с Потоцкой, отвергает Лозена окончательно. Он теряет сознание и заболевает. Княгиня бросается его спасать. По версии Лозена, их отношения восстанавливаются, но вынужденный отъезд Лозена, после получения известий от российской императрицы, ставит в отношениях точку (март 1775 г.): «Хотя мы оба надеялись опять в скором времени увидаться, но мне кажется, что в ту минуту я уже предчувствовал, что нам больше не суждено встретиться с ней в этом мире» [Лозен 1907]. Цветаева же заканчивает встречу княгини и Лозена словами Изабеллы: Нет, не целуй! Не надо! Не велят! (*С грустной иронией*.) / Есть неприступные твердыни./ Когда-нибудь – лет через тридцать пять –/ Поймешь [Цветаева 1994–95, III, 391]. По приезде в Париж Лозен становится фаворитом королевы, Чарторыйская же, по слухам, увлеклась давним своим поклонником Браницким (с которым перед отъездом у Лозена чуть не состоялась дуэль, лишь вмешательство Казимира Понятовского, брата короля,

помешало дуэли). Переписка угасает, Лозен написал резкое письмо, потребовал своего ребенка, и в итоге они «окончательно рассорились и перестали писать друг другу» [Лозен 1907]. Цветаева предлагает иной конец этого романа: ...Что стоило мне нынче не принять/ Из уст твоих – последнего причастья./ А на каррарском мраморе – взамен/ Орнаментов и прочего витийства – / Пусть будет так: «Ее любил Лозэн»/ Не надо – Изабэллы Чарторьейской [Цветаева 1994–95, III, 390]. Сердце Лозена нескоро забыло очаровательную княгиню, спустя четыре года после окончания их романа, отправляясь в Индию и отвергая просьбы остаться, усходившие от самой королевы Франции, Лозен напишет: «я доказал также княгине Чарторьейской, что Европа больше меня ничем не прельщала после того, как я потерял ее» [Лозен 1907].

Исторические Лозен и Изабелла, как и их реальная любовь, не «попадали» в тот образ, который создала Цветаева. Что характерно, «присвоенный» образ Лозэна сопровождает поэта в жизни, теперь уже сама Цветаева вступает с ним в очень своеобразные отношения, которым она даже подводит итог: в эссе *О любви* она помещает «краткий отчет о своей последней любви», детально характеризуя человеческие качества Лозэна: «божественно-хорош», обладает «божественным голосом», восприимчив, идеальный собеседник, его сила во всем вторичном («ласков, но не добр»), любовь ему не свойственна, но свойственна глубочайшая невинность. И подводит итог: «ничтожество, как человек, и совершенство, как существо» [Цветаева 1994–95, IV, 486]. Реальный Лозен помогает ей понимать современников и отношения с ними, она сравнивает с ним своих знакомых: «Лозэн и Ю. З<авад>ский во мне действительно тесно связаны»; «У меня к Лозэну – как Ю. З<авад>скому – чуточку презрения (...). Лозэну я прощаю – всё – из высокомерия» [Цветаева 2001, I, 362], переживает по отношению к нему вполне реальные чувства: от всепрощения, признания в любви: «Лозэн – мой первый герой после Герцога Рейхштадтского» [Цветаева 2001, I, 343], до декларации нелюбви: «я больше не люблю Лозэна, потому что я люблю Prince de Ligne» [Цветаева 2001, I, 361–362], и даже презрения: «я совершенно определенно начинаю презирать Лозэна, не знаю (знаю!) как это объяснить. Чувство, как (...) недостойной себя – связи (актер, гусар и т. д.) Чувство que je me suis encanaillee [что я опустила] – с максимумом удовольствия, но – encanaillee» [Цветаева 2001, I, 362]. Цветаева осуждает Лозэна за его жестокость и даже подлость по отношению к королеве Марии-Антуаннете, пишет: «Когда Королевская Семья бежала из Парижа, первым, кто ее остановил был Regiment Lauzun [Полк Лозэна (фр.)]. (...) Когда я прочла это, я написала через всю страницу: – Герцог Лозэн, Вы подлец!» [Цветаева 2001, I, 414].

Обращение Цветаевой в послереволюционный период к реальным историческим лицам XVIII века связано в большой степени с поиском собственной идентичности, она пыталась найти свое время и место в изменяющейся реальности: «Я в России XX века – бессмысленна. Все мои партнёры (указывая на небо или в землю): там. Есть люди определенной эпохи и есть эпохи, воплощающиеся в людях. Я – XVIII век + тоска по нем» [Цветаева 2001, I, 313]. Цветаеву не интересуют ни политическая история, ни идеология собственной эпохи или схожая по характеру

XVIII века. Шевеленко пишет, что Цветаеву «занимает, скорее, неуловимость и невнятность грозных предвестий грядущего, заключенных в веке Просвещения, как в веке Модернизма, легкомыслие того и другого века, скользящее в самом их глубокомыслии и вольнодумстве» [Шевеленко 2002, 155] – трагедия истории заключается как раз в судьбоносности уничтожения определенного человеческого типа, «людей того культурно-психологического склада, который определил целую эпоху, будь то Просвещение или Модернизм» [Шевеленко 2002, 155]. Идентификация себя с этим уходящим типом людей, олицетворяющих «легкость», умение жить, молодость, любовь, авантюризм – становятся своеобразной мотивацией для формирования в последующие годы у Цветаевой ощущения отрыва от жизни.

### Библиография

- Записки герцога Лозена // Исторический вестник*, т. 107, Приложение, 1907, <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVIII/1740-1760/Lozen/text1.htm> [10.09.2014].
- Лейдерман Н., Липовецкий М., 2003, *Современная русская литература, 1950–1990-е годы*, в 2-х томах, Москва.
- Липовецкий М., 2008, *Параллели: трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов*, Москва, <http://www.litmir.net/br/?b=203620> [10.09.2014].
- Мейкин М., 1997, *Марина Цветаева: поэтика усвоения*, пер. с англ. С. Зенкевича, Москва.
- Ревзина О., 2009, «А есть ли для поэта – чужое?» (*Многоголосие и полифония в лирике М. Цветаевой*) // *Безмерная Цветаева*, Москва
- Шевеленко И., 2002, *Литературный путь Цветаевой, Идеология – поэтика – идентичность автора в контексте эпохи*, Москва.
- Цветаева М., 1994–1995, *Собрание сочинений в 7-ми томах*, Москва.
- Цветаева М., 2001, *Неизданное. Записные книжки. В 2-х томах*, Москва.
- Dackiewicz J., 1975, *Paryż zdradzony, czyli Izabela Czartoryska*, Lublin.
- Pauszer-Klonowska G., 1988, *Pani na Puławach. Opowieść o Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej*, Warszawa.

### Summary

#### POETICS OF APPROPRIATION: LOVE OF DUC DE LAUZUN AND IZABELA CHARTORYSKA IN MARINA TSVETAEVA'S PLAY *FORTUNA*

This article discusses the poetics of appropriation of historical and literary material as a way of the reevaluation of the past proposed by M. Tsvetaeva. In the poet's consciousness, the coexistence and comparison of different times and historical parallels are inevitably linked to her presence and, at the same time, the material employed by Tsvetaeva does not only show any reality, but it recreates reality according to her own vision of this particular material. Tsvetaeva accentuates the primacy of created reality over historical existence. One part of Tsvetaeva's play *Fortuna* presents the transformation of the real love story between Izabela Chartoryska and duke Lauzan into a literary history, and finally the process of the disappearance of this story in her real life. 'Disappearance' of Lauzan's image leads the poet in her life and Tsvetaeva becomes engaged with Lauzan by a very idiomatic relationship.



**Monika Karwacka**

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej  
Uniwersytet Śląski w Katowicach

## *DON KICHOT* CERVANTESA W KRYTYCE ROSYJSKIEJ I POLSKIEJ (NA MATERIALE PRAC VLADIMIRA NABOKOVA I ZOFII SZMYDTOWEJ)

**Key words:** Nabokov, Szmydtowa, Cervantes, Don Quijote, critics

W roku 1605 w Hiszpanii ukazała się powieść Miguela Cervantesa *Przemysłny szlachcic Don Kichote z Manczy*, będąca parodią poczytnych wówczas romansów rycerskich. Utwór bardzo szybko zyskał uznanie czytelników, rozślawiając nazwisko autora. Dziesięć lat później pisarz opublikował II część przygód ubogiego hidalga, który pod wpływem czytanych ksiąg rycerskich postanowił zostać błędnym rycerzem i wyruszył w świat, aby walczyć przeciwko niesprawiedliwości i ludzkiej krzywdzie. Powieść Cervantesa wzbudza emocje czytelników i nieustające zainteresowanie krytyków i historyków literatury. Do tych, którzy przedsięwzięli trud analizy i interpretacji arcydzieła Cervantesa, należy dwoje badaczy. Ich losy zaczynają się w Rosji, obydwójce urodzili się w Petersburgu, obydwójce zajmowali się literaturą profesjonalnie i obydwójce zmarli w 1977 roku.

Vladimir Nabokov, pisarz, wykładowca, krytyk, historyk literatury stworzył swoją pracę pierwotnie w formie wykładów o *Don Kichocie*, które odczytywał na Uniwersytecie Harvarda w roku akademickim 1951–1952, a które pośmiertnie zostały zredagowane i opublikowane dzięki zaangażowaniu Fredsona Bowersa.

Zofia Szmydtowa to historyk literatury polskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor „Rocznika Literackiego”, autorka prac naukowych o polskiej literaturze epoki renesansu i romantyzmu oraz jej związkach z tradycją europejską. Bohaterami jej studiów i esejów byli: Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, a z obcych autorów Jan Jakub Rousseau, Miguel Cervantes i Erazm z Rotterdamu. Działała w Towarzystwie Naukowym Warszawskim. Była członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem honorowym i czynną działaczką Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Najbardziej znane jej prace to:

*O misteriach Cypriana Norwida, Rousseau, Adama Mickiewicza, Studia i portrety*, monografia o Cervantesie. Na stronie internetowej, dedykowanej jej twórczości, czytamy: „Uczyła miłości do literatury, wskazując na urodę słowa” [Źródło, online]. Twórczość Cervantesa zainspirowała badaczkę do stworzenia nie tylko jego biografii, Zofia Szmydtowa jest również autorką analizy największego dzieła pisarza *Don Kichot*, która została opublikowana w roku 1969 [Szmydtowa 1969]. Praca badaczki jest wnikliwym i rzetelnym studium literaturoznawczym, jest to również wypowiedź o charakterze oceniającym, która pod wieloma względami nosi znamiona dyskursu krytycznoliterackiego, pojawia się w nim bowiem wiele wypowiedzi krytycznych, a także metakrytycznych, badaczka korzysta z bogatego doświadczenia innych. Praca Szmydtowej rozpoczyna się od krótkiej części zatytułowanej *Uwagi wstępne*, w której przedstawione jest źródło cytatów, a także uzasadnienie przyjęcia fonetycznej transkrypcji tytułu powieści. Podobnie jak w większości polskich analiz historycznoliterackich, badaczka po uwagach wstępnych przedstawia *Życie i twórczość* Miguela Cervantesa, zarysowując okoliczności i epokę, w której powstało dzieło pisarza, omawia najważniejsze fakty z życia prywatnego i literackiego twórcy, łącząc tym samym dzieło z losami pisarza. Kolejny rozdział o roli parodii literackiej w *Don Kiszocie* jest egzemplifikacją wypowiedzi badaczy, historyków i krytyków na temat utworu. Szmydtowa prezentuje również percepcję utworu w biegu historii, po czym analizuje zagadnienie parodii i jej roli w utworze, przywołując opinie innych krytyków, konkluduje, że:

W *Don Kiszocie* tematyka romansów rycerskich krytykowana jest i ośmieszana wraz z ich kompozycją i stylem. Ponieważ weszły one głęboko w świadomość głównego bohatera, on to najczęściej przywołuje jakiś epizod z romansu i albo cytuje go dokładnie, albo parafrazuje, zachowując sztuczny styl literacki [Szmydtowa 1969, 26].

Kolejny rozdział, traktujący o budowie i bogactwie językowym powieści, różni się od pozostałych formą i zastosowaną metodą analizy. Badaczka, podobnie jak i Nabokov, stosuje także szczegółowe streszczenie do omówienia poszczególnych tropów retorycznych, by ukazać sposób konstruowania powieści przez Cervantesa. Szmydtowa w przeciwieństwie do Nabokova nie korzysta z narracji pierwszoosobowej, wprowadza jednak zwroty zachęcające czytelnika do wspólnej lektury, na przykład: „Przypatrzmy się funkcjonowaniu w powieści różnych stylów, zaczynając od stylu narracji” [Szmydtowa 1969, 28]. Rozdział ten ma formę wykładu uniwersyteckiego, charakteryzuje go styl naukowy, jest to typowy warsztat wykładowcy akademickiego. Badaczka kończy każdy rozdział/wykład jednym lub dwoma pytaniami podsumowującymi zaprezentowany materiał, na przykład wspomniany rozdział kończy polecenie: „Określ, na czym polega wielostylowość powieści” [Szmydtowa 1969, 40].

*Obraz Hiszpanii* to rozdział czwarty, który jest absolutnym zaprzeczeniem idei Nabokova uważającym, że fikcja literacka jest pozbawiona jakichkolwiek odniesień do rzeczywistości. Zdaniem krytyka możliwa jest rekonstrukcja świata przedstawionego w literaturze, co potwierdza wtedy geniusz danego pisarza i niezwykley talent czytelnika w umiejętnym odtwarzaniu rzeczywistości utworu literackiego, jednak świat, który poznaje czytelnik, miejsca, przedmioty, strój bohatera stanowią czysty wytwór wyobraźni

artysty, a nie odzwierciedlenia świata realnego, w którym pisarz tworzy. Szmydtowa jest reprezentantką stanowiska badaczy, które Nabokov deprecjonuje, o czym mówi we wstępie do wykładów o Cervantesie: „Uczynimy, co w naszej mocy, aby uniknąć fatalnego błędu doszukiwania się w powieściach «prawdziwego życia». Nie starajmy się godzić fikcji faktów z faktami fikcji” [Nabokov 2001, 23].

Podobnie jak inni badacze Szmydtowa szuka odniesień w obrazie Hiszpanii przedstawionym przez Cervantesa do realnych miejsc, a także zjawisk społecznych w czasie, kiedy Cervantes żył i tworzył. Badaczka wyznaje przekonanie, że *Don Kiszot* to skarbnica wiedzy o życiu autora, a także o kraju, w którym się wychował. Szmydtowa analizuje szczegółowo obraz kraju i ludzi przedstawionych w utworze, interesuje ją również Cervantesowska pochwała życia.

Kolejne rozdziały: *Akcja powieściowa*, *Postacie*, *Ideologia renesansowa w powieści*, *Don Kiszot w biegu stuleci*, *Zamknięcie* stanowią prezentację analizy badaczki, która w szczegółowy sposób omawia powieść Cervantesa, poszukując dominanty, pozwalającej wyznaczyć odpowiednie miejsce dla powieści w procesie historycznoliterackim. Badaczka bada również kwestię intertekstualności utworu, egzemplifikując w wybranych fragmentach swoje założenie. W rozdziale podsumowującym rolę *Don Kiszota* w historii literatury, pojawia się konstatacja, wskazująca na krytykę aprobatywną badaczki:

Wielka powieść Cervantesa należy do najgłośniejszych dzieł w literaturze należy do najgłośniejszych dzieł w literaturze światowej. Od chwili ukazania się w druku zdobyła sobie czytelników hiszpańskich z różnych warstw społecznych, następnie zaś przekroczywszy ojczyście granice, rozpoczęła swą wędrówkę wśród obcych, aż rozeszła się po świecie w czterdziestu kilku językach. Oddziałała na teatr, a później także na film [Szmydtowa 1969, 103].

Zofia Szmydtowa stosuje w swoich wypowiedziach krytykę pośrednią, przywołując oceny innych badaczy i jednocześnie je aprobując. Wskazując na wartość, na przykład, symbolu walki idealnych porywów jednostki z poziomą rzeczywistością, mówi o niemieckich myślicielach (braciach Schleglach i Schellingu), którzy zauważyli „silny kontrast między Rycerzem i Giermkim posuwając go dalej niż to zrobił autor” [Szmydtowa 1969, 106].

*Zamknięcie* jest zbiorem wniosków i podsumowaniem, w którym przeważa głos krytyczny pozytywny, potwierdzający założenie badaczki o olbrzymim wpływie Cervantesa na bieg historii literackiej, a także o wielkości dzieła, którego popularność trwa do dzisiaj. Badaczka ostrożnie wyraża pozytywną ocenę, opierając ją na wypowiedziach innych krytyków, co daje wiarygodny i uwierzytelniony obraz *Don Kiszota* w „biegu stuleci”.

Nabokovowski dyskurs krytycznoliteracki odróżnia się od wypowiedzi krytycznych Zofii Szmydtowej w sposób diametralny, mimo iż prace obojga dotyczą tego samego utworu. Różnice w sposobie analizy, a także w wyborze poszczególnych aspektów utworu do analizy oraz w sposobie prezentowania swoich osiągnięć krytycznoliterackich, wynikają z wielu czynników, przede wszystkim okoliczności, w których znaleźli się pisarze. Nabokov wykładał w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał o wiele większą swobodę aniżeli Szmydtowa, biorąc pod uwagę choćby cenzurę w Polsce i jej mniej odczuwalną

obecność w USA. Jest jeszcze jedna kwestia, która w znaczącym stopniu zdeterminowała warsztat krytycznoliteracki obojga, mianowicie doświadczenie literackie. Szmydtowa przez większość swojego życia oddana była nauce o literaturze i stworzyła swoją pracę z pozycji historyka literatury, natomiast Nabokov miał już za sobą bogaty dorobek literacki i wykłady o *Don Kichocie* zostały stworzone w przeważającym stopniu z punktu widzenia pisarza, artysty, a dopiero potem początkującego wykładowcy.

Analiza *Don Kichota* jest kolejną pracą w cyklu krytycznoliterackim Nabokova, stąd też widoczna jest krytyczna pewność siebie i przekonanie o niemyślności własnych osądów. Nabokov zakłada wręcz aprioryczność swojej analizy wobec innych krytyków literackich. Jego wypowiedź nie należy do jednostajnych. Wywód prowadzony jest dynamicznie, zakłócany licznymi dygresjami i odwołaniami do wypowiedzi innych krytyków literackich, a także wieloma odniesieniami do różnorodnych dziedzin nauki, w tym medycyny, co pokazuje fragment, opisujący dolegliwości chorobowe głównego bohatera:

Sporządziłem już listę cech fizycznych Don Kichota, takich jak potężny kośćiec, brodawka na plecach, żylaste ścięgna i słabe nerki, tykowate kończyny, posępna, sucha, ogorzała twarz, a do tego fantastyczny zestaw zardzewiałej zbroi w bladawym blasku księżycy [Nabokov 2001, 57].

Układ wykładu o *Don Kichocie* jest drobiazgowo zaplanowany. Nabokov zaprojektował kolejność poszczególnych partii interpretacyjnych, stawiając sobie za cel eskalację napięcia czytelnika, o czym mówi wprost, potęgując tym samym oczekiwanie i ciekawość odbiorcy wykładu (informuje o tym na początku rozdziału o okrucieństwie i mistyfikacji). Każda część rozpoczyna się od wprowadzenia, w którym Nabokov wyjaśnia, jaką kwestię będzie omawiać i uzasadnia swój wybór, podkreślając jednocześnie znaczenie, jakie niesie jego analiza wybranego zagadnienia.

Interesującym zabiegiem jest wykorzystanie języka potocznego i próba nawiązania współpracy z czytelnikiem we wspólnym odkrywaniu powieści, a także zachęcenie do współuczestnictwa w procesie interpretacyjnym. Język potoczny jest jednak używany wyłącznie, aby przybliżyć wybrane kwestie niedojrzałemu, jego zdaniem, czytelnikowi. Należy tu zauważyć, że jest to niezmiennie przekonanie Nabokova, który we wszystkich swoich wykładach o literaturze rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej konstatuje ubogie doświadczenie literackie swoich czytelników, co więcej w każdym cyklu spotykamy Nabokovowskie epatowanie swoją niezwykłą wiedzą i nadzwyczajnymi umiejętnościami interpretacyjnymi. Cały wykład o *Don Kichocie* jest stylistycznie niejednorodny, pojawia się tutaj stylowa różnorodność, Nabokov oscyluje między skłonnością do poetyzowania, silnej metaforyzacji, kwiecistości stylu, sformułowań ozdobnych a inklinacją do korzystania z języka potocznego, który pomaga mu złagodzić artystyczny i naukowy ton wypowiedzi. Badacz konstruuje swoją wypowiedź, przeplatając powyższe style, zachowując przy tym niezwykłą ostrożność, dzięki czemu wykład zyskuje na atrakcyjności odbioru i spełnia swoje funkcje perswazyjne, które tekst ten ma pełnić. Swoista stylowa żonglerka ujawnia krytyka ideologa, który dobitnie przedstawia swoje przekonania i formułuje tezy, niepozostawiające żadnych wątpliwości w zakresie interpretacji dzieła, a także krytyka, w którym bez trudu rozpoznajemy modernistycznego artystę, wiernemu do końca tradycji

epoki, w której przyszło mu tworzyć. Jako pisarz modernistyczny Nabokov przyswoił sobie i doprowadził do mistrzostwa stylistycznego nie tylko swój warsztat literacki, lecz także krytycznoliteracki, czego ewidentnym dowodem są wszystkie jego wykłady. Wykład o *Don Kichocie* w pełni wpisuje się w nurt modernistycznej krytyki literackiej, ze względu na fakt upodabniania się do literatury, gdyż autor nie rezygnuje jednocześnie z elementów charakterystycznych dla krytyki w ogóle.

Forma dyskursu przybiera charakter interaktywnego wykładu, ponieważ Nabokov zwraca się do czytelnika, angażując go w działania krytycznoliterackie. W tekście pojawiają się wyrażenia bezpośrednio skierowane do czytelnika: „proszę zauważyć”, „nakreślmy pewne paralele”. Podmiot krytyczny w wykładzie wykorzystuje narrację pierwszoosobową, dobitnie wyraża własne sądy i poglądy, podmiot krytyczny ingeruje poprzez liczne wtrącenia, często o charakterze metatekstowym. W tekście pojawiają się liczne wypowiedzi, z którymi wynika, że krytyk ocenia artefakt wraz z jego twórcą. Nie opiera się wyłącznie na własnych przekonaniach, wielu ocenom i rozważaniom towarzyszy egzemplifikacja opinii innych krytyków, które najczęściej podlegają deprecjacji i potwierdzeniu słuszności własnych założeń.

Terminologia w wykładzie o Cervantesie okazuje się różnorodna, czerpana z wielu dziedzin wiedzy, pojawia się dużo terminów związanych z procesem oceniającym, które ulegają artystycznym modyfikacjom, co daje rozbudowany wywód wartościujący, przypominający bardziej artystyczny opis i sprawiający wrażenie, że czytelnik zapoznaje się z opinią bohatera powieści, a nie krytyka, który bierze na swój warsztat utwór literacki. Nabokov konstruuje swój wywód zgodnie z zasadą: teza – materiał dowodowy, mający ją uzasadnić [Głowiński 1984, 83]. Dowodzenie polega na odtworzeniu dzieła za pomocą mowy pozornie zależnej, a także obszernych cytatów. Nabokov wpisuje się w nurt Nowej Krytyki, która swój rozkwit przeżywała w latach 1940–1970, wykorzystuje głównie metodę *close reading*, inaczej *uważne czytanie*, polegającej na „pozbawieniu dzieła wszelkich zewnętrznych-histerycznych, politycznych, ideologicznych – kontekstów i skrupulatnej analizie jego retorycznych mechanizmów” [Burzyńska 2006, 139]. Egzemplifikacją Nabokovowskiego uważnego czytania i aplikacji metod krytycznoliterackich zgodnych z założeniami Nowej Krytyki do wykładu o *Don Kichocie* są dwa ostatnie rozdziały: *Streszczenie z komentarzem Tom pierwszy* i *Streszczenie z komentarzem Tom drugi*, w których krytyk skrupulatnie streszcza każdy rozdział danego tomu, obficie cytując dzieło i wplatając swoje skromne, tym razem, komentarze. Podobny zabieg autor *Pnina* stosował już w innych wykładach o literaturze, uważając, że niemożliwe jest pełnowartościowe zrozumienie dzieła literackiego bez analizy tekstu i kilkakrotnego zapoznania się z tekstem, dlatego też, pomimo założenia, że czytelnik, który uczestniczy w wykładzie o *Don Kichocie*, jest już zapoznany z tekstem, Nabokov ponownie przybliży treść utworu, streszczając rozdziały w sposób ukazujący najważniejsze jego zdaniem aspekty i zagadnienia dzieła.

Niezwykle interesujący i niewątpliwie nowatorski fragment wypowiedzi krytycznoliterackiej Nabokova stanowi rozdział zatytułowany *Zwycięstwa i klęski*. Warto tu przytoczyć błyskotliwe wprowadzenie badacza do rozdziału, którego budowa jest zaprojektowana w sposób nowatorski:

Jeden z komentatorów w słynnym eseju o Cervantesie napisał, że Don Kichot w długiej serii swoich potyczek „nigdy, ani razu, nie zwycięża”. Oczywiście, że należy przeczytać książkę, jeśli chce się o niej pisać. Myśmy ją przeczytali i dlatego mamy prawo podważyć nieuzasadnione twierdzenie naszego komentatora.

Nie zamierzam poprzestać na jego podważeniu. Zamierzam dowieść za pomocą chronologicznej relacji z wszystkich czterdziestu epizodów, w których Don Kichot występuje jako błędny rycerz, iż epizody te ujawniają zdumiewające cechy struktury dzieła: specyficzną równowagę i specyficzną jedność – wrażenia, których nie udałoby się osiągnąć, gdyby wszystkie potyczki Don Kichota zakończyły się porażką [Nabokov 2001, 135].

Po tej imponującej deklaracji Nabokov wymienia listę przeciwników, określając drobniuzgowo, z jakimi zwierzętami, jeźdźcami i pasterzami, wędrowcami i maszynami walczy Don Kichot. Następnie określa, jakie role błędny rycerz pełni w poszczególnych rozdziałach, na przykład: obrońcy nieszczęśliwych kochanków, pogromcy własnego honoru, rozjemcy, obrońcy pokrzywdzonych dziewic, naprawiacza krzywd czy nieprzyjaciela czarnoksiężnika. Po skrupulatnie przedstawionym scenariuszu Nabokov ogłasza rozpoczęcie meczu tenisowego pomiędzy Don Kichotem i jego nieprzyjaciółmi, w którym skrzętnie liczy punkty zyskane i punkty stracone. Przytoczę tu pierwszy, omówiony przez Nabokova epizod, aby przedstawić metodę dowodzenia słuszności badacza racji i podważenia założenia Josepha Wooda Krutcha, którą wybrał autor *Lolity*, aby dobitnie obnażyć nieudolność wspomnianego krytyka:

#### TOM PIERWSZY EPIZOD PIERWSZY: CZUWANIE PRZY ZBROI (ROZDZ. III)

*Urojenie: Obrońca własnego honoru.* Don Kichot, przebywając w karczmie, którą wzięt za zamek, gotów jest zgładzić każdego, kto przeszkodziłby mu w sprawowaniu ceremonialnej warty.

*Rezultat:* Pierwsze zwycięstwo – u progu rycerskiej kariery.

*Fakty:* Gdy Don Kichot przechadza się w tę i z powrotem po karczemnym dziedzińcu w geometrycznej plamie księżycowego blasku, dwaj mulnicy, chcąc napić swoje muły, zdejmują zbroję Don Kichota z koryta, na którym leżała. Don Kichot srodze ich łaje i dotkliwie rani.

*Wynik: jeden do zera (1–0)* [Nabokov 2001, 142].

W dokładnie ten sam sposób, zachowując formułę: *Urojenie, Rezultat, Fakty, Wynik*, Nabokov komentuje dwadzieścia sześć epizodów pierwszego tomu z wynikiem remisowym, a następnie przedstawia tom drugi, dochodząc do epizodu czterdziestego i konkludując idealną równowagę zwycięstw i klęsk, która, zdaniem krytyka, jest „zasługą tajemniczego zmysłu pisarskiego – harmonizującej intuicji artysty” [Nabokov 2001, 161]. Po niebywałym meczu, a przed drobniuzgowym streszczeniem z komentarzem obydwu tomów, Nabokov formułuje wnioski, prezentując przy tej okazji swoje poglądy i najważniejsze myśli, podsumowując stan badań, które przeprowadził, dając ostatecznie ocenę dzieła i nową myśl w postrzeganiu opowieści o błędnym rycerzu:

Mamy przed sobą interesujące zjawisko: bohatera literackiego, który stopniowo zatracza kontakt z dziełem, które go zrodziło; porzuca ojczyznę, porzuca biurko swego stwórcy,

aby, przewędrowawszy Hiszpanię, wędrować po całym świecie. Dzięki temu Don Kichot jest dzisiaj znacznie większy, niż był w łonie Cervantesa. Od trzystu pięćdziesięciu lat przedziera się przez dżungle i tundry ludzkiej myśli, nabral przy tym wigoru i zmęźniał. Już się z niego nie śmiejemy. Herbem jego jest litość, jego sztandarem – piękno. Ucieleśnia to wszystko, co łagodne, zagubione, czyste, niesamolubne i galanteryjne. Parodia zmieniła się w pochwałę [Nabokov 2001, 164].

Rozważania krytycznoliterackie Nabokova kończą wspomniane już rozdziały – streszczenia pierwszego i drugiego tomu, bardzo szczegółowe i obszerne, stanowią one prawie połowę całego wywodu. Badacz aplikuje metodę uważnego czytania, aby ukazać bogactwo i geniusz pisarza. Metoda ta, daje mu unikatową możliwość zaprezentowania nie tylko najcenniejszych wartości utworu, lecz także swoich własnych umiejętności interpretacyjnych i najważniejszych idei, które Nabokov ceni w literaturze najwyższej.

Reasumując, Zofia Szmydtowa i Vladimir Nabokov stworzyli dwie niezwykle prace, odkrywające przed czytelnikiem fascynujący cervantesowski świat i jego błędnego rycerza, którego osobowość wzbudza całą gamę emocji. Każdy z badaczy i krytyków w jednej osobie, wybiera metodę badawczo-krytyczną, odzwierciedlającą ich upodobania literackie, ale również przedstawia system wartości, który cenią w literaturze najwyższej. Krytycy analizują *Don Kichota* w absolutnie różny sposób, wykorzystując całkowicie odmienny język. Szmydtowa trzyma się norm, panujących w świecie historyków literatury, w jej wypowiedziach odczuwalny jest wszechobecny obiektywizm, natomiast Nabokov zwraca się do odbiorcy wykładu w sposób bezpośredni, korzysta z języka potocznego, ale jednocześnie dba o poetyckość swojej wypowiedzi, która jest silnie zmetaforyzowana, dyskurs krytycznoliteracki autora *Lolity* jest skrajnie subiektywny i nawet gdy Nabokov daje głos innym krytykom, robi to tylko po to, by zdyskredytować ich poglądy i udowodnić słuszność swoich ocen i poglądów. Interesująca jest również zawartość obydwu cyklów, mimo iż każdy z krytyków analizuje podobne zagadnienia, na przykład portrety bohaterów, zagadnienia strukturalne czy streszczenie utworu, każdy z nich wynajduje swoją niszę, w której wskazuje na nowatorstwo Cervantesa, jak również własne upodobania. Nabokov mówi o okrucieństwie i mistyfikacji, analizuje wątek kronikarzy, a Szmydtowa porusza kwestię obrazu Hiszpanii czy ideologii renesansowej w powieści. Ważny jest również aplikowany paradygmat aksjologiczny krytyków. Nabokov eksplicytnie formułuje zakres wartości, które ocenia najwyżej w utworze, Szmydtowa konstruuje swoją wypowiedź w sposób, na podstawie którego trudno jest określić wartości uważane przez badaczkę za najcenniejsze. Nabokova interesuje głównie artyzm pisarza, talent literacki, sposób konstruowania powieści, nowatorskie rozwiązania, Szmydtowa wydaje się bardziej zainteresowana wymową ideologiczną powieści, sposobem prezentacji świata przedstawionego i osadzenia akcji oraz czasu utworu w realnych ramach, mających umocowanie historyczne, co daje nam z kolei możliwość poznania danego kraju, ludności i kultury. Nabokov ocenia wybrane zagadnienia bezpośrednio i ekspresywnie, uzasadniając swój osąd szczegółowym komentarzem, Szmydtowa unika ocen, jedynie na podstawie sposobu prezentacji materiału i opisu konkretnych kwestii możemy założyć, że właśnie te aspekty badaczka ceni wysoko, ponieważ w jej wypowiedziach brak tak dobitnie wyrażonej leksyki oceniającej krytycznie i negatywnie, jak u Nabokova, badaczka preferuje

krytykę aprobatywną, opisuje zagadnienia, jej zdaniem najbardziej interesujące, wskazuje na ich wartość pozytywną, stosując wyrażenia wartościujące pozytywnie.

Pomimo tak wielu różnic w dyskursie krytycznoliterackim, prace Zofii Szmydtowej i Vladimira Nabokova łączy wysoki profesjonalizm, a także silne zaangażowanie w działalność krytycznoliteracką. Życie obojga skupiało się wokół działalności literackiej, czego próbkę otrzymujemy w poetycko zaprojektowanych wypowiedziach krytycznoliterackich. Cel obojga jest jeden: wypromować literaturę wartościową. Lektura prac Szmydtowej i Nabokova daje unikatową komplementarną analizę krytycznoliteracką *Don Kiszota*.

### Bibliografia:

Burzyńska A., Markowski M.P., 2006, *Teorie literatury XX wieku*, Kraków.

Głowiński M., 1984, *Próba opisu tekstu krytycznego // Badania nad krytyką literacką*, Wrocław.

Nabokov V., 2001, *Wykłady o Don Kichocie*, Warszawa.

Szmydtowa Z., 1969, *Don Kiszot*, Warszawa.

Źródło: [http://www.petea.home.pl/apan/files/user\\_files2/kobiety%20w%20nauce,%20pdf/szmydtowa%20zofia.pdf](http://www.petea.home.pl/apan/files/user_files2/kobiety%20w%20nauce,%20pdf/szmydtowa%20zofia.pdf) [17.06.2014].

### Summary

#### CERVANTES' DON QUIJOTE IN POLISH AND RUSSIAN CRITICISM (BASED ON ZOFIA SZMYDTOWA'S AND VLADIMIR NABOKOV'S MATERIAL)

The paper deals with the critical texts of two writers / researchers whose roots come from Russia and interests are focused on similar literature areas among other things on *Don Quijote*. Zofia Szmydtowa a Russian researcher whose career was developed mainly in Poland and Vladimir Nabokov, whose critical and literature analysis were conceived outside Russia decided to make an attempt to decode the Cervantes' masterpiece. Both authors have their own concept concerning interpretation and analysis of the Cervantes' novel. The author of the paper tries to find similarities in their understanding and critical idiom, discovering the justification of such different critical texts. Although texts were written in different circumstances and environments they have a lot in common what is shown in the paper.



**Irena Matus**

Katedra Kultury Białoruskiej  
Uniwersytet w Białymstoku

## RELACJE POMIĘDZY KLEREM UNICKIM I ŁACIŃSKIM W SCHYŁKOWYM OKRESIE UNII W OBWODZIE BIAŁOSTOCKIM

**Key words:** Uniate church, the Uniates, tithe, conversions

Kler unicki w Rzeczypospolitej, w zestawieniu z łacińskim, był duchowieństwem drugiej kategorii. Wymownie zaświadcza o tym położenie wyższej hierarchii, której nigdy nie zrównano w prawach z łacińską. Metropolita unicki Teodozy Rostocki został dopuszczony do Senatu dopiero w 1790 roku, na parę lat przed upadkiem Rzeczypospolitej. 7 września 1790 roku złożył senatorską przysięgę królowi [Dobrzyński 1992, 40]. O innych unickich dostojnikach nawet nie było mowy.

Zdarzało się, że łacinnicy upokarzali unickich hierarchów, co opisywał biskup unicki Jakub Susza. Na pogrzebie Zygmunta III miejsca im nie chcieli ustąpić nawet kanonicy krakowscy [Dylągowa 1996, 267]. Do kleru rzymskokatolickiego często trafiała uiszczana przez unitów dziesięcina [К Зноско нпот. 1993, 184]. Mierne nadziały ziemi i powszechny brak wsparcia materialnego ze strony kolatorów sprawiał, że kler unicki znajdował się w o wiele gorszej sytuacji materialnej niż księża łacińscy, podobnie jak ich świątynie w zestawieniu z kościołami. Parochowie mieli na utrzymaniu rodziny, rzymskokatolicy księża byli bezżenni. Zależność od dworu i skromne nadziały ziemi (zdarzało się, że i te uszczuplano) powodowały, że kler unicki wegetował na skraju nędzy [Dylągowa 1996, 97]. Nieco lepiej uposażone w ziemię były cerkwie w majątkach państwowych, wcześniej w dobrach królewskich, zwłaszcza liczne w ziemi bielskiej na Podlasiu.

Sytuacja materialna kleru parafialnego nie zmieniła się i po synodzie zamojskim w 1720 roku, kiedy unicy przyjęli dogmaty łacińskie, ani też po rozbiorach Rzeczypospolitej. W historii unii nigdy nie podjęto kwestii miernego uposażenia parochów, co rzutowało na ich niską pozycję społeczną. Nierzadko, mimo szlachectwa, wymuszona przez położenie ekonomiczne, konieczność pracy fizycznej i niewysokie wykształcenie sprawiały, że kler łaciński i ziemianie spoglądali na unickich duchownych z lekceważeniem

[Łubieńska C., 1911, 13–14]. Podobne podejście reprezentowali bazylianie, którzy na początku XIX wieku rekrutowali się spośród szlachty prawie wyłącznie polskiej i izolowali się od kleru parafialnego, pogardzając nim za niskie pochodzenie i ciemnotę [Beauvois 2010, 515]. Parochowie unicy często byli potomkami szlachty, choć już na początku XIX wieku nie wszyscy mogli to udokumentować.

Sytuację pogorszyła dodatkowo, uchwalona w 1764 roku, na żądanie szlachty polskiej, ustawa sejmowa o *popowiczach*, na mocy której synowie duchownych musieli przed piętnastym rokiem życia deklарować wstąpienie do stanu duchownego bądź do rzemiosła, inaczej mieli być obróćeni w poddaństwo [Wyczawski 1987–1988, 259].

Kolatorzy (na tym obszarze prawie wszyscy wyznania rzymskokatolickiego) nie byli zainteresowani położeniem ekonomicznym kleru unickiego, a tym bardziej nie troszczyli się o przygotowanie intelektualne kandydatów na parochów. Parafialny kler unicki był, i to nie z własnej winy, o wiele gorzej przygotowany merytorycznie do niesienia posługi duszpasterskiej w porównaniu do księży łacińskich. To głównie stąd wynikały dysproporcje w edukacji księży obu obrządków. Po rozbiorach prawo patronatu w Cerkwi unickiej przetrwało jeszcze kilka dziesięcioleci [Kołbuk 1998, 39, 42].

W drugiej połowie lat 20. XIX wieku, według danych kapituły brzeskiej, dwie trzecie duchownych nie było w stanie kształcić się w publicznych szkołach bazylianów. Osiągnąwszy pełnoletniość, przyjmowali święcenia kapłańskie, powiększając liczbę parochów ledwie znających się na naukach moralnych i liturgice [Kołbuk 1998, 40]. Bardzo niewiele, zwłaszcza w XVIII wieku, duchownych unickich pobierało edukację na poziomie seminaryjnym i wyższym. Taką możliwość stworzyło dopiero powołane przy Uniwersytecie w Wilnie Seminarium Główne, oferujące unitom 20 miejsc, było to jednak niewystarczające.

Na niski poziom celebrowanych Świętych Liturgii często wpływ miała słaba znajomość języka cerkiewnosłowiańskiego. Zdarzały się sytuacje, że duchowni unicy nie znając cyrylicy, radzili sobie przepisując fragmenty liturgii alfabetem łacińskim w brzmieniu cerkiewnosłowiańskim [Теплова 1997, 76; Чистович 1884, 121].

W historii unii relacje pomiędzy duchowieństwem obu obrządków układały się różnie, bardziej ambicjonalnie w przypadku hierarchii i prościej na płaszczyźnie kleru parafialnego (tutaj sytuacje konfliktowe dotyczyły najczęściej dziesięciny, a w schyłkowym okresie unii walki o parafian). W miarę jak po synodzie zamojskim malały różnice pomiędzy Kościołem łacińskim a Cerkwią unicką, poddani latynizacji parochowie upodabniali się strojem, szatami liturgicznymi, wyglądem zewnętrznym do księży łacińskich, dzielił ich celibat, aczkolwiek unicy praktykowali udzielanie święceń także osobom bezżennym.

Relacje pomiędzy hierarchiami obu obrządków katolickich skomplikowały się po upadku Rzeczypospolitej, kiedy władze rosyjskie powołały do zarządu Kościołem organ nadzoru w Petersburgu. Początkowo grekokatolicy nie mieli swoich przedstawicieli w departamencie rzymskokatolickim przy Justizkolegium (organ zarządzający sprawami innowierców w Rosji), który następnie poddano reorganizacji. W 1800 roku sprawy unickie podporządkowano Rzymskokatolickiemu Kolegium Duchownemu w Petersburgu,

ale dopiero od 1804 roku kler unicki otrzymał możliwość typowania swoich przedstawicieli. Reprezentacja unitów była mniej liczna (jeden biskup i po jednym przedstawicielu z każdej diecezji), stąd dano im prawo podwójnego głosu w sprawach unickich i możliwość odwoływania się do Senatu [Śliwa 1979, 224].

Napięcie na szczeblu najwyższym pojawiło się na przełomie XVIII i XIX wieku i na początku XIX wieku. Nasiliło się to w okresie, kiedy w Petersburgu działała jedna reprezentacja obu obrządków, a dotyczyło sprawy zwierzchnictwa. Głównym powodem niezgody pomiędzy hierarchią obu obrządków były spory o wiernych, które wystąpiły po pierwszym rozbiórce. Wynikało to przede wszystkim z tego, że Katarzyna II, jak i jej następcy, przedkładali obrządek łaciński nad greckokatolicki. Do czasów powołania nowych diecezji w 1798 roku, unitów reprezentował arcybiskup Jason Smogorzewski (1715–1788), po nim arcybiskup Herakliusz Lisowski (1734–1809), natomiast rzymskich katolików Stanisław Sierstrzeńcewicz (1731–1826). Smogorzewski i Sierstrzeńcewicz nie darzyli się sympatią, ale zatargów między nimi nie było. Natomiast kiedy Herakliusz Lisowski objął arcybiskupstwo połockie, doszły do głosu różnice zdań i rywalizacja o władzę. Sierstrzeńcewicz jako biskup mohylewski otrzymał od papieża szerokie uprawnienia wobec wszystkich katolików, uważał się za jedynego metropolitę obu obrządków. Jako przewodniczący Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego (kiedy nie było jeszcze przedstawicielstwa unickiego) miał możliwość kierowania sprawami unickimi według własnego uznania, ciesząc się zaufaniem władz rosyjskich. W tej sytuacji Herakliusz Lisowski, popierany przez nuncjuszy papieskich, podjął starania o podniesienie autorytetu Cerkwi unickiej, doprowadzając do wydzielenia w Rzymskokatolickim Kolegium Duchownym departamentu unickiego, i o godność metropolity. Oznaczało formalne zrównanie obu obrządków. Przyczyną niechęci hierarchii unickiej do łacinników były konwersje ich wiernych do Kościoła rzymskokatolickiego. Smogorzewski, chcąc to zatrzymać, prosił o ogłoszenie na ziemiach białoruskich dekretu papieża Urbana VIII z 1624 roku, zakazującego zmiany obrządku unickiego na łaciński. Kongregacja odnowiła go dekretem z 1774 roku, ale zalecono umiar w jego stosowaniu tym bardziej że biskup Sierstrzeńcewicz, jak i inni, byli temu przeciwni. Dekret pozostał martwą literą, unicy nadal przechodzili i na prawosławie, i na obrządek łaciński. W tej sytuacji zwyciężyło stanowisko łacinników. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary w 1781 roku usankcjonowała wszystkie przypadki konwersji na obrządek łaciński, jakich już dokonano, i zezwoliła osobom świeckim na przechodzenie do Kościoła, zaznaczając aby nie było to zjawisko grupowe. Chodziło o niepozbowanie duchownych od razu całych parafii. W 1795 roku zrezygnowano i z tego, jedynym warunkiem była dobrowolność [*Зануцку Іоцифа...* 1983, 234].

Na krótko udało się dojść do porozumienia hierarchom obu obrządków (Lisowskiemu i Sierstrzeńcewiczowi) w 1802 roku. Obie strony rezygnowały z roszczeń, a Lisowski miał nie sprzeciwiać się konwersji unitów. Na wyniki nie trzeba było długo czekać – 200 tysięcy grekokatolików stało się rzymskimi katolikami. Lisowski próbował protestować, a kiedy to nie odniosło rezultatu, wystosował skargę do cara. Aleksander I w 1803 roku powstrzymał i potępił nawracanie unitów na obrządek łaciński, natomiast w 1807 roku

zobowiązał arcybiskupa Siostrzeńcewicza do nieczynienia przeszkód dawnym unitom w powrocie do poprzedniego wyznania [Śliwa 1979, 234–235].

Ukazem carskim z 16 lipca 1805 roku w Rzymskokatolickim Kolegium Duchownym wydzielono drugi, równoprawny departament, zajmujący się sprawami unickimi. Jego pierwszym prezydentem został arcybiskup Herakliusz Lisowski, natomiast rzymskokatolickiego arcybiskup Siostrzeńcewicz, jednocześnie przewodniczący całego Kolegium. Nie uległo modyfikacji stanowisko prokuratora – świeckiej osoby, która powinna była działać tak dyskretnie, aby duchowieństwo miało wrażenie, że podlega nie prokuratorowi a biskupom. W każdym departamencie zasiadali duchowni właściwego obrządku. Miało to zapobiec dominacji duchowieństwa rzymskokatolickiego nad unickim [Radwan 2004, 51–52].

Od tej pory sytuacja hierarchii unickiej uległa poprawie. Nie zmieniło się jednak położenie kleru parafialnego, którego reprezentantem były kapituły. Dotyczyło to tylko duchowieństwa świeckiego, bazylianie znajdowali się w pozycji uprzywilejowanej. W latach 20. XIX wieku w skład Greckounickiego Kolegium Duchownego (powołanego w 1828 roku) wszedł przedstawiciel bazylianów. W tym czasie zaostrzył się konflikt pomiędzy bazylianami a klerem świeckim [Dobrowolski 2003, 89–90].

Kiedy Rzymskokatolickie Kolegium Duchowne zostało podzielone na dwa departamenty, relacje pomiędzy obu obrządkami rozluźniły się. Tłem niechęci były głównie konwersje unitów na obrządek łaciński. Wyraźnie przysłużyła się temu hierarchia rzymskokatolicka, rozprzestrzeniając pogłoski o nieuniknionej likwidacji unii, a jedynym ratunkiem przed tym było przejście na obrządek łaciński – dopuszczone przez cara. W tym czasie takie relacje dotyczyły hierarchii [Kłobuk 1998, 23].

Natomiast na szczeblu parafii postępująca łatinizacja i polonizacja rodziła współpracę pomiędzy księżmi obu obrządków, coraz bardziej zbliżając kler w codziennych relacjach. Wzajemnie obsługiwano kaplice. Zdarzało się, że kapłani łacińscy angażowali na swoich wikariuszy parochów, przykładowo w Zabłudowie, a bazylianie z Supraśla nieśli posługę duszpasterską (nie było łacińskiej parafii) także rzymskim katolikom. Kapłani różnych zakonów często obsługiwali i unickie kaplice. Na obszarze pogranicza księża łacińscy chętnie udzielali chrztów unitom, sporadycznie praktykowano to w odwrotną stronę [Dobrowolski 2003, 101–103].

Od czasu powołania Greckounickiego Kolegium Duchownego kontakty na szczeblu najwyższym pomiędzy hierarchią obu obrządków weszły w nową fazę, rozluźniając się coraz bardziej i zawiązując do spotkań i relacji oficjalnych. Przyczyniła się do tego polityka rosyjska względem unitów za czasów Mikołaja I, który uważał unitów za osoby powiązane z kulturą wschodnią [Mironowicz 2006, 469].

Pomimo że księża unicy otrzymali poparcie władz, nie zahamowało to konwersji na obrządek łaciński, co prowadziło do zaostżenia konfliktów i to głównie na szczeblu parafii. Im restytucja prawosławia stawała się bliższą perspektywą, w wyniku zaprowadzanych zmian, tym bardziej aktywizowała się działalność części księży, wspierających przejście unitów na obrządek łaciński. Największe natężenie tego typu działań wystąpiło na obszarze pogranicza, zamieszkałym przez ludność mieszaną wyznaniowo. Księży obu

obrzędów w schyłkowym okresie unii różniły najczęściej dwie kwestie – rywalizacja o parafian i spory o dziesięcinę, ale nie tylko.

Wzmoczone działania duchowieństwa łacińskiego widać wyraźnie tuż przed kasatą unii. Biskup Józef Siemaszko 10 lipca 1838 roku polecił konsystorzowi interwencję w sprawie tzw. działalności misyjnej, organizowanej w guberniach zachodnich przez księży rzymskokatolickich, bez zgody ich zwierzchnich władz w Petersburgu [*Записки Иосифа...* 1983, 383].

19 września 1838 roku biskup brzeski Antoni Zubko poinformował Greckounickie Kolegium Duchowne o nasileniu się tzw. „misji”, których celem było oddziaływanie na unitów<sup>1</sup>. W 1838 roku w guberni grodzieńskiej tego typu akcje organizowano już masowo [Орловский 1903, 101–102]. Podczas „misji” spowiadano unitów i praktykowano odpusty. A na konwertytów, którzy decydowali się powrócić na unię, wywierano naciski, by tego nie czynili. Grzegorz Kiprianowicz przytoczył przykład bylejskiej unitki, której miejscowy organista wyjaśniał, co znaczy „ruska wiara”: *to przeklęty obrządek, tam spowiada się jednocześnie po trzydzieści osób, które podnosząc ręce do góry, głośno wyliczają swoje grzechy* [Киприанович Г., 1894, 50–51].

W tej sytuacji biskup Józef Siemaszko prosił władze duchowne i świeckie w Petersburgu o zakazanie prowadzenia, zarówno przez księży, jak i zakonników, tego typu działań na obszarze rzymskokatolickiej diecezji wileńskiej. Sprawa oparła się o Świętobliwy Synod, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i cara. Nakazano niezwłoczne wstrzymanie tego typu działalności w guberni grodzieńskiej (tam przybrała ona największy rozmiar). Biskupa rzymskokatolickiego w Wilnie – Kłągiewicza poinformowano, aby misje były prowadzone tylko za zgodą rzymskokatolickich władz duchownych w Petersburgu [Орловский 1903, 101]. Biskup Kłągiewicz zobowiązał się wstrzymać dalszą taką działalność, połączoną z bezpłatnym kolportażem lektury [*Записки Иосифа...* 1983, III, 383–384].

Nakłanianie konwertytów do powrotu na unię, prowadziło do konfliktów i nieporozumień na szczeblu diecezji, dekanatu, parafii. W poprzednich dziesięcioleciach, mimo że zdarzały się napięcia pomiędzy hierarchami unickimi i łacińskimi, relacje na poziomie kleru parafialnego były dobre, a różnice w obrzędach się zacierały. W latach 30. XIX wieku więzi te uległy rozluźnieniu, a w kwestii „odzyskiwania” parafian często patrzono na siebie już wrogo.

Powołane w sprawie konwersji byłych unitów komisje działały bez księży łacińskich, co przewidywał ukaz z 1827 roku. Biskup rzymskokatolickiej diecezji wileńskiej 5 marca 1838 roku zgłosił protest przeciwko działaniom takich komisji, powołując się na raporty dziekanów (kobryńskiego, słonimskiego, prużańskiego i grodzieńskiego), a następnie zażądał od diecezjalnych władz unickich, aby dopuściły do komisji duchownych łacińskich,

<sup>1</sup> Taka działalność misyjna, jak pisał Eustachy Orłowski, polegała na objazdach księży po parafiach, gdzie głoszone kazania, najczęściej przed świątyniami. Odprawiano uroczyste nabożeństwa, w czasie których spowiadano i udzielano Świętej Komunii. Podczas misji praktykowano, cieszące się dużą popularnością, indulgencje (odpusty) dla uczestniczących w tych nabożeństwach. Rozdawano literaturę, w której przekonywano, że zbawienie duszy jest możliwe tylko w Kościele rzymskokatolickim, a wyznawcy pozostałych religii skazani są na wieczne potępienie [Орловский 1903, 101].

a od gubernatorów, aby zabronili sądom ziemskim takiego postępowania. Następnie zwrócił się do Kolegium z prośbą o uzyskanie u cara zezwolenia, aby unicy ochrzczeni w kościele mogli pozostać w tym obrządku. Kolegium nie zaprzeczało zarzutowi niedopuszczania księży łacińskich do komisji, uzasadniając to niechęcią współdziałania ich z klerem unickim. Józef Siemaszko tłumaczył także, że ukaz z 1827 roku nie określił zasad współpracy księży obu obrządków i stracił moc prawną po reorganizacji struktury cerkiewnej. W marcu 1837 roku zakazano chrzcić dzieci unickie w kościołach łacińskich. Kolegium nie widziało sensu współpracy z księżmi łacińskimi, skoro przez ponad trzydzieści lat nie godzili się na „oddanie” parafian [Radwan 2004, 179–180].

Nie mamy pełnej odpowiedzi na pytanie, ilu konwertytów powróciło w diecezji litewskiej na obrządek unicki. W obwodzie białostockim opisano szczegółowo podejmowane działania, dokładnych danych statystycznych jednak brakuje. Zabiegi proboszczów parafii, w których dochodziło do konwersji, i dziekanów wspieranych przez władze cywilne, często nie przynosiły zamierzonych rezultatów. Decyzje podejmowane przez władze, na szczeblu powiatu i obwodu białostockiego, nie były respektowane, a wobec tych, którzy zmienili obrządek, z wyjątkiem słownego nakłaniania, nie zastosowano innych środków. Władze cywilne ograniczyły się do korespondencji z konsystorzem.

Dlaczego władzom duchownym, a zwłaszcza biskupowi, tak bardzo zależało na wyeliminowaniu zjawiska konwersji w diecezji litewskiej? Było ono nieporównywalne do tego, jakie miało miejsce wcześniej na Mińszczyźnie. Tu, w drugiej połowie lat 30. XIX wieku, chodziło nie tyle o reunitację tych, którzy przeszli na obrządek łaciński, ile o zapobieżenie takiej sytuacji, co w perspektywie planowanej restytucji prawosławia miało duże znaczenie. Wprowadzane od 1834 roku w cerkwiach unickich zmiany nie pozostawiały złudzeń co do ich ostatecznego celu. Zaczynali mieć tego świadomość i unicy, i księża łacińscy, prognozując, że w nowych realiach możliwości zmiany wyznania nie będzie [Radwan 2004, 182–183].

Po kasacie unii relacje pomiędzy klerem łacińskim i prawosławnym (dawniej unickim) uległy pogorszeniu, głównie na tle spornego „odzyskiwania” parafian. W związku ze skargami księży w tej sprawie Świętobliwy Synod ogłosił 26 czerwca 1842 roku ukaz cara, który duchownych prawosławnych zobowiązał do uchylenia się od sytuacji mogących być powodem skarg kleru łacińskiego, do postępowania, na ile to tylko możliwe, zgodnego z etyką chrześcijańską, oczekując tego i od księży. Prawosławnych duchownych zobowiązał jednocześnie w przypadku konfliktowych sytuacji do powiadamiania konsystorza i dziekanów, a jeśli to nie przyniesie rezultatu, arcybiskupa [*Зануцку Іоуца...* 1983, III, 658–661].

W celu uświadomienia i edukacji religijnej byłych unitów, arcybiskup przekazał do konsystorza z synodalnej drukarni 220 egzemplarzy książeczki *Razgowory mieźdu ispytujuszczym i uwierennym o Prawosławii Wostocznoj Kafieoliczeskoj Cerkwi*, do rozdania nieodpłatnie w diecezji litewskiej, w pierwszej kolejności dziekanom i przełożonym monasterów [*Зануцку Іоуца...* 1983, III, 726].

Po 1842 roku na prawosławie w guberni grodzieńskiej (obwód białostocki znajdował się już w jej granicach) przeszli byli unicy z parafii rzymskokatolickich: bielskiej 32 osoby, kleszczelowskiej – jedna, kuźnickiej – 10, mielnickiej i narewskiej – po 16,

nowodworskiej – 43, odelskiej – 3, siemiatyckiej – 13, sokolskiej – 7, surażskiej – 13, szudziałowskiej – 5, wasilkowskiej – 4, z parafii Pobikry – 1, Sokolany – 12, Rudka – 30, Sidra – 21, Zalesie – 53. Łącznie 232 osoby. Rzymskokatolicki konsystorz mohylewski podał informację, że z przeanalizowanego spisu 242 parafii wykreślono 4892 osób. W poszczególnych guberniach kształtowało się to następująco: w mohylewskiej 1047, witebskiej 2490, kijowskiej 1342 i w grodzieńskiej 213, tam weryfikacją objęto tylko parafie dekanatu białostockiego i bielskiego. Ze zlikwidowanego obwodu białostockiego poza zasięgiem tych działań znalazł się także dekanat drohiczyński. *Razbor prichożan* jak i wzajemne pretensje trwały jeszcze długo, problem ten zaniknął dopiero po 1870 roku [Radwan 2004, 206].

W związku z sytuacjami konfliktowymi na terenie zamieszkałym przez unitów i rzymskich katolików przy budowie nowych świątyń, zaczęto przestrzegać zasady informowania o tym władz diecezjalnych innego obrządku. Biskup Jozef Siemaszko pisał, że w ciągu pięciu lat zarządzania diecezją litewską ani razu przy budowie kościoła czy kaplicy nie pytano go o opinię. 30 czerwca 1838 roku poinformował konsystorz o swoich staraniach, aby przy wznoszeniu nowych rzymskokatolickich kościołów i kaplic była konieczna zgoda unickich władz diecezjalnych, podobnie jak przy budowie cerkwi unickich miejscowe władze cywilne żądały opinii diecezjalnych władz prawosławnych i rzymskokatolickich. Z wnioskiem takim wystąpił Jozef Siemaszko do oberprokuratora Świętobliwego Synodu. Protasow Mikołaj skontaktował się z ministrem Spraw Wewnętrznych, aby ten w przypadku próśb o pozwolenia na budowę kościołów i kaplic w guberniach zachodnich kontaktował się z władzami świeckimi i aby decyzje w ministerstwie były podejmowane po wcześniejszym zasięgnięciu opinii diecezjalnych władz unickich, czy nie ma pod tym względem żadnych przeszkód [Radwan 2004, 381–382].

W 1835 roku zabroniono unitom konwersji na obrządek łaciński [Rzońca 2005, 149]. Do 1837 roku kler unicki udzielał sakramentów chrztu i ślubu także wyznawcom obrządku łacińskiego. Działo się tak w sytuacji, kiedy kościół był znacznie oddalony, a cerkiew unicka obok. Najczęściej w przypadku chrztu rzymskich katolików pomijano bierzmowanie, zagrożenia z tego powodu łacinnikom nie było, ponieważ oni nie przechodzili na unię, a wpisy metryczne przenoszono do ksiąg kościelnych. W 1837 roku parochom unickim zabroniono niesienia posługi duszpasterskiej łacinnikom, a księżom łacińskim – unitom<sup>2</sup>. Rozporządzenia te przyczyniły się do ograniczenia relacji między duchowieństwem obu obrządków.

Stycznym punktem obu wyznań były cmentarze, nigdy nie obowiązywał zakaz grzebania łacinników na nekropoliach unickich, ale nie odwrotnie.

Kontakty pomiędzy klerem unickim i łacińskim na szczeblu parafii występowały także i z powodu zawierania małżeństw mieszanych wyznaniowo, przy czym trzeba zauważyć, że prawie zawsze przechodzono na obrządek łaciński. W przypadku parochów,

---

<sup>2</sup> Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas Vilnius (dalej): LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 3194 О священнике Дрогичинской церкви Тыминском призывавшем в свою церковь пиярского ксендза Вичевского для прочтения проповеди, к. 21 Рапортъ Бельскаго благочиннаго протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 27.12.1837 г.

w takiej sytuacji, praktykowano zasadę dwuwyznaniową. Synowie byli unitami i najczęściej szli w ślady ojców, zostając duchownymi, córki natomiast tak jak i matki praktykowały obrządek łaciński. Sytuacja zmieniła się dopiero w drugiej połowie lat 30. XIX wieku, kiedy zakazano udzielania święceń diakońskich i kapłańskich osobom, które miały za żony nie unitki. Warunkiem była konwersja żony [*Zanucku Iocufa...* 1983, III, 176].

Głównym i najwcześniejszym powodem konfliktów pomiędzy księżmi obu obrządków był podział dziesięciny. Znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej parochom pozostawała ona znaczącym wsparciem finansowym. Pobierana od unitów często trafiała do plebanów obrządku łacińskiego [Kołbuk 1998, 39].

W celu szczegółowego zaprezentowania sytuacji skupiono się wyłącznie na terenie obwodu białostockiego w diecezji litewskiej. Tam sytuacja konfliktowa dotyczyła najczęściej obszaru pogranicza zamieszkałego przez wyznawców obu obrządków, gdzie unicy wnosili dziesięcinę, która trafiała do księży łacińskich. Oddawano dziesięcinę, tak zwaną snopową bądź zbożową, uiszczaną w naturze. Rzadziej praktykowano świadczenia w naturze i pieniężne bądź tylko pieniężne [Бобровский 1889–1890, 3–11].

Spory o dziesięcinę pomiędzy księżmi obu obrządków ciągnęły się dziesięcioleciaми i były rozstrzygane przez sądy najniższej instancji, początkowo grodzkie, a potem ziemskie rosyjskie.

Przełomowe w sprawie podziału dziesięciny pomiędzy księży rzymskokatolickich i unickich było rozporządzenie Senatu z 27 sierpnia 1828 roku. Nakazano, aby pobierana z unitów i przekazywana rzymskokatolickiemu duchowieństwu dziesięcina oraz wszelkie ustanowione w jej miejsce świadczenia w tych guberniach, gdzie mieszkali wyznawcy obu obrządków, była przekazywana duchowieństwu unickiemu proporcjonalnie do jego liczby [Орловский 1903, 70], a tam gdzie żyli tylko unicy, dziesięcina oraz świadczenia ją zastępujące w całości trafiały do ich parochów. Sprawę w każdej sytuacji spornej polecono rozpatrywać indywidualnie, posiłkując się miejscowymi dokumentami<sup>3</sup>.

Kwestię dziesięciny wyjaśniano i rozsądano od 1828 po 1838 rok. Zajął się tym władze świeckie w ścisłej współpracy z duchowieństwem unickimi i rzymskokatolickim, pod nadzorem dziekanów i konsystorza obu wyznań. Podział dziesięciny w parafiach zamieszkałych przez ludność wyznania unickiego i rzymskokatolickiego był rozpatrywany przez powiatowe sądy ziemskie na polecenie władz obwodu białostockiego. Z postępowania sporządzano specjalne akty. Nie wszędzie sprawa rozdziału dziesięciny pomiędzy księży obu wyznań przebiegała bezkonfliktowo<sup>4</sup>.

Jak się okazało, rozdział dziesięciny pomiędzy duchownych obu wyznań, zgodnie z ukazem Senatu z 1828 roku, w obwodzie białostockim nie był respektowany i postępowanie zakończone. Sytuacja konfliktowa dotyczyła kilku parafii. Władze obwodowe w Białymstoku zażądały od konsystorza informacji w sprawie dziesięciny wnoszonej

<sup>3</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 8–9 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 05.10.1836 г.

<sup>4</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 35–35 об. Актъ о десятине Цехановской церкви от 28.12.1836 г.



przez unitów w poszczególnych parafiach obwodu białostockiego<sup>5</sup>. W tej sytuacji konsystorz poprosił dziekanów o szczegółowe informacje o wnoszonej i dzielonej dziesięciny<sup>6</sup>. Władze w Białymstoku interesowała głównie dziesięcina na rzecz cerkwi usytuowanych w majątkach państwowych. Naczelnik obwodu białostockiego zlecił zajęcie się tym II oddziałowi (w jego kompetencjach leżały sprawy gospodarcze i finansowe)<sup>7</sup>.

Pierwszy poinformował o sytuacji dziekan bielski. Okazało się, że jeszcze w 1830 roku cerkwie w Brańsku i w Boćkach w powiecie bielskim oraz w Żurobicach, Żerczycach, Siemiatyczach, Ciechanowcu, Drohiczynie i obie w Mielniku w powiecie drohiczyńskim nie otrzymywały dziesięciny w związku z zagarnięciem jej przez proboszczów tamtejszych kościołów<sup>8</sup>.

W dekanacie białostockim dziesięcina wnoszona przez unitów z parafii w Kuźnicy trafiała do kościoła w Sokółce, natomiast regularnie otrzymywali ją duchowni cerkwi w Nowej Woli od parafian z Nowej Woli, w Potoce od parafian z Topolan oraz płacono ją usytuowanej w majątku państwowym cerkwi w Surazu<sup>9</sup>.

Konsystorz w Żyrowicach nadesłane przez dziekanów informacje przekazał władzom obwodowym Białymstoku 7 lipca 1830 roku, prosząc o podjęcie dalszych decyzji<sup>10</sup>. Wyjaśnienie sprawy przeciągało się, rodząc konflikty, zwłaszcza w sytuacji, kiedy brakowało dokumentów bądź je kwestionowano. Niekiedy duchowni unicy próbowali sami pertraktować z księżmi rzymskokatolickimi, o sytuacji powiadamiając dziekana, jak to było w parafii kuźnickiej. Księża jednak nie podejmowali decyzji samodzielnie.

Do sprawy dziesięciny powrócono w 1836 roku. Konsystorz poprosił ponownie dziekanów o sporządzenie sprawozdań o świadczeniach dziesięcinnych i ewentualnych roszczeniach<sup>11</sup>. Władze diecezjalne w Żyrowicach kolejny raz skontaktowały się także z władzami świeckimi w Białymstoku. To w ich gestii leżało ostateczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego<sup>12</sup>.

<sup>5</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 30–34, Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 26.02.1837 г.

<sup>6</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 8–9 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 05.10.1836 г.

<sup>7</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 1. Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 30.04.1836 г.

<sup>8</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 8–9 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 05.10.1836 г.

<sup>9</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 14 об.-15 Рапортъ Белостокскаго благочиннаго Льва Маркевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 10.12.1836 г.

<sup>10</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 8–9 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 05.10.1836 г.

<sup>11</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, 1. Заседание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 16.05.1836 г.

<sup>12</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 27–27 об. Белостокское Областное Правление 11 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 31.12.1836 г.

Zestawienie o otrzymywanej przez kler unicki dziesięcinie, już po dokonaniu podziału, dziekan bielski Adam Kostycewicz sporządził w kwietniu 1837 roku. Uiszczano ją w naturze – żytem, jęczmieniem i owsem, bądź w pieniądzach. W powiecie bielskim wnoszono dziesięcinę do cerkwi w Narwi i w Kleszczelach, a w drohiczyńskim w Żerczycach, Siemiatyczach, Żurobicach, Narojkach, Drohiczynie, Ciechanowcu (20 rubli) i w Grodzisku. Do tego czasu nie rozstrzygnięto definitywnie sprawy dziesięciny dla parocha cerkwi w Brańsku<sup>13</sup>.

Dziesięcinę oddzielono dla cerkwi w Siemiatyczach i w Żurobicach. Postępowanie wyjaśniające natomiast prowadzono w przypadku cerkwi unickich w Żerczycach, Mielniku, Ciechanowcu, Brańsku, Boćkach i w Drohiczynie w dekanacie bielskim oraz w Kuźnicy w dekanacie białostockim<sup>14</sup>.

O sytuacji w dobrach państwowych w dekanacie białostockim Leon Markiewicz poinformował konsystorz 29 czerwca 1836 roku. Annuatę otrzymywała tam tylko cerkiew w Surażu. Amt suraski wnosił 9 rubli 75 kopiejek srebrem. Natomiast mieszczanin Suraża – Kowalewski – uiszczal dziesięcinę w naturze, w zależności od zebranych plonów po kilka snopów żyta<sup>15</sup>. Sytuacja konfliktowa dotyczyła Kuźnicy.

Pod koniec 1836 roku Leon Markiewicz przekazał konsystorzowi pełniejszą informację o dziesięcinie w dekanacie białostockim. Wnosili ją proboszczom w Nowej Woli parafianie z tej wsi i duchownym w Potoce wierni z Topolan (po zamknięciu cerkwi w Topolanach i przyłączeniu jej parafian do świątyni w Potoce)<sup>16</sup>.

W dekanacie bielskim i drohiczyńskim dziesięciny nie otrzymywali parochowie w Żurobicach od parafian z Hornowa, Lubiejek i Wałków, w Siemiatyczach z Siemiatycz oraz wsi Czartajew, Cecele, Klukowicze, Wólka, Turna Duża i Mała, w Ciechanowcu – z Ciechanowca, w Żerczycach – z Zabłocia i Pokaniewa oraz obu świątyni mielnickich od parafian z miejscowości do nich należących. Tam świadczenia dziesięcinne pobierali księża rzymskokatolicy. W tej sytuacji konsystorz prosił władze obwodowe w Białymstoku o wydanie rozporządzenia w sprawie oddzielenia dziesięciny powyższym cerkwiom<sup>17</sup>.

Oddział I władz obwodowych w Białymstoku nakazał sądom ziemskim, bielskiemu i drohiczyńskiemu, rozpatrzenie tej sprawy przy udziale duchownych delegatów obu

<sup>13</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 57–57 об. Рапортъ Бельскаго Благочиннаго – Протоиерея Адама Костыцевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 15.04.1837 г.

<sup>14</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп.1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 57–57 об. Рапортъ Бельскаго Благочиннаго – Протоиерея Адама Костыцевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 15.04.1837 г.

<sup>15</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 3 Рапортъ Льва Маркевича в Литовскую Грекоунитскую Духовную Консисторию от 29.06.1836 г.

<sup>16</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 14 об. 15 Рапортъ Льва Маркевича в Литовскую Грекоунитскую Духовную Консисторию от 10.12.1836 г.

<sup>17</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 47–52 Заседание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 21.04.1837 г.

wyznań<sup>18</sup> i sporządzenie w trzech egzemplarzach, podpisanych przez komisję, aktów zakończenia sprawy. Miały być one przekazywane władzom obwodowym w Białegostoku oraz konsystorzom obu wyznań w Żyrowicach, Mohylewie oraz Wilnie<sup>19</sup>.

Rozdział dziesięciny pomiędzy duchownych obu wyznań był rozpatrywany kolegialnie przez niższe sądy ziemskie w powiatach, przy udziale komisji, które tworzyli dwaj duchowni delegaci, paroch unicki i ksiądz rzymskokatolicki, a przewodniczył przedstawiciel władzy sądowej – asesor.

Niższy Sąd Ziemski w Bielsku jako pierwszą zajmował się sprawą dziesięciny z amtu bielskiego. 18 maja 1836 roku asesor tego sądu, Grudziński, przedstawił stanowisko delegata rzymskokatolickiego dekanatu bielskiego i jednocześnie dziekana, księdza Podgórskiego<sup>20</sup>, proboszcza kościoła w Brańsku, oraz archidiakona białostockiego, księdza Piotrowskiego. Asesor wyjaśnił, dlaczego kościół w Brańsku nie zgadzał się na oddanie cerkwi unickiej w Brańsku dziesięciny, wnoszonej przez unitów z Kiersnówka. Dołączył także pismo białostockiego archidiakona z 1 maja 1836 roku, z poświadczoną kopią przywileju króla Zygmunta III. Odmowę oddania dziesięciny cerkwi unickiej w Brańsku tłumaczył tym, że mieszkańcy państwowego folwarku Brańsk z młynem w Kiersnówku oraz posiadający ziemię brańszczanie, zarówno katolicy, jak i unicy, powinni ją płacić kościołowi. 5 października 1836 roku władze obwodowe w Białymstoku pismo dziekana Podgórskiego przekazały do konsystorza z prośbą o zwrot dokumentów<sup>21</sup>. Konsystorz rozpatrywał to pismo dopiero 20 lutego 1837 roku. Władze świeckie potwierdziły, że należący do amtu bielskiego, folwark państwowy Brańsk z młynem w Kiersnówku i mieszkańcy Brańska, rzymscy katolicy i unicy, mają obowiązek ze swojej ziemi oddawać dziesięcinę miejscowemu kościołowi. Władze obwodowe w Białymstoku, które wyraźnie sprzyjały Kościołowi, dostarczyły także przekazany przez dziekana Podgórskiego spis tych rzymskich katolików, którzy nie uiszczali żądanej przez księdza z Brańska dziesięciny za swoje żony unitki. Władze w Białymstoku przesłały do konsystorza wszystkie dokumenty w celu wyjaśnienia sytuacji, a ten prosił władze o ponowne jej rozpatrzenie<sup>22</sup>.

Jesienią 1837 roku powrócono do sprawy wydzielenia dziesięciny zbożowej i pieniężnej parochom cerkwi w Boćkach i w Brańsku, uiszczanej dotąd tamtejszym kościołom. 12 października 1837 roku konsystorz zwrócił się z tą prośbą do władz obwodu białostockiego, a te, stosownie do rejonizacji, zleciły rozpatrzenie sprawy niższemu sądom ziemskim w Bielsku i Drohiczynie. Nakazały zażądania informacji o dziesięcinie,

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 1. Белостокское Областное Правление 11 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 30.04.1836 г.

<sup>20</sup> Nie udało się ustalić imienia.

<sup>21</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 8–9 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 05.10.1836 г.

<sup>22</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 12–13 Заседание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 20.02.1837 г.

a w sytuacji, kiedy była ona zagarniana przez kościół, przeprowadzenie jej podziału, informując o rezultatach władze okręgowe i konsystorz<sup>23</sup>.

Nie uczyniono tego jednak. Wicedziekan bielski Franciszek Łopuszyński 13 grudnia 1837 roku ponownie poinformował władze diecezjalne w Żyrowicach o zatrzymaniu dziesięciny przeznaczonej dla parocha cerkwi brańskiej. Konsystorz, zwracając dokumenty do Białegostoku, prosił kolejny raz, aby wydzielić dziesięcinę duchownemu unickiemu i to zarówno snopową, jak i pieniężną. Z wicediekanem Łopuszyńskim nie skontaktował się jednak asesor Niższego Sądu Ziemskiego w Bielsku, nie otrzymał on także wezwania do sądu (sprawa więc nie była rozpatrywana) ani żadnej rezolucji z Białegostoku. Uzyskał natomiast kolejne potwierdzenie od proboszcza Teodora Michniewicza z Brańska, że ten otrzymuje dziesięcinę na dotychczasowych zasadach, bez pieniędzy od amtu i snopów z folwarku Kiersnówek<sup>24</sup>. Sprawa oddzielenia dziesięciny dla cerkwi unickiej w Brańsku nie została załatwiona pozytywnie dla parocha.

22 września 1836 roku konsystorz zażądał od dziekanów uaktualnienia informacji o rozdziale dziesięciny w podległych im dekanatach.

Postępowanie sądowe w sprawie świadczeń dziesięcinnych, wnoszonych przez unitów w powiecie drohiczynskim, a trafiających do rąk księży łacińskich, przeprowadzono w grudniu 1836 roku. Dokonano tego w Niższym Sądzie Ziemskim w Drohiczynie pod nadzorem asesora Kozłowskiego, przy udziale duchownych delegatów obu wyznań.

1 grudnia 1836 roku jako pierwszy sporządzono akt podziału dziesięciny pomiędzy księży obu wyznań w parafii siemiatyckiej. Podpisy na nim złożyli asesor Niższego Sądu Ziemskiego w Drohiczynie Antoni Kozłowski oraz duchowni delegaci Bazyli Wysiekirski<sup>25</sup>, proboszcz z Bociek, i ksiądz rzymskokatolicki z Mielnika, Józef Wojtkowski. Dokument stwierdzał, że dziesięcina uiszczana ze wszystkich miejscowości wchodzących w skład unickiej parafii w Siemiatyczach, a wnoszona przez parafian tego wyznania, przysługiwała ich parochowi w dotychczasowym wymiarze uiszczanym kościołowi w Siemiatyczach. Były to 23 złote z 60 domów unickich w Siemiatyczach (rzymscy katolicy posiadali 58 domów, z których płacono kościołowi 22 zł). Unicy z Czartajewa dawali z każdego domu (było ich 15) po 15 snopów żyta, a z państwowych wsi – Cecele z 22 domów po korcu<sup>26</sup> żyta, z Klukowicz z 10 domów po korcu owsa, z Turny Dużej z 32 domów po 8 garnców żyta i po tyle też owsa, z 12 domów Turny Małej i z 15 domów

<sup>23</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп.1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 86 Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 14.12.1837 г.

<sup>24</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп.1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 90–90 об. Рапортъ Франца Лопушынского в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 13.12.1837 г.; Рапортъ Фёдора Михневича Францу Лопушынгскому от 04.12.1837 г.

<sup>25</sup> Wysiekirski próbował odmówić udziału w komisji i sporządzaniu aktów, proponując na swoje miejsce duchownego z Siemiatycz, Jana Pilickiego, który uczestniczył przy sporządzaniu kolejnych już aktów. LVIA Vilnius, ф. 605. оп. 1, д. 205 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 39–40 Akt oddzieleniu dziesięciny dla cerkwi w Żyrowicach z 02.12.1836 г.

<sup>26</sup> Korzec do 1764 roku odpowiadał 120,6 litra, a po 1819 roku liczył 128 litrów. Garniec – jednostka miary, najczęściej liczona jako podstawowa miara 3,8438 litra.

Wólki po 8 garnców żyta. Akt podpisano 1 grudnia 1836 roku, nakazując zwrot dziesięciny od dnia ukazu Senatu<sup>27</sup>.

Cerkiew unicka w Siemiatyczach nie posiadała żadnych dokumentów, w związku z tym oparto się wyłącznie na ukazie Senatu z 1828 roku<sup>28</sup>.

Zdarzały się problemy z odzyskaniem nawet przysądzonej dziesięciny. Kościół nie od razu respektował postanowienie sądu, a paroch prosił o pomoc służby porządkowe, bez skutku.

14 stycznia 1837 roku duchowny delegat Bazyli Wysiekirski, prowadzący sprawę oddzielenia dziesięciny dla parocha siemiatyckiego, zwrócił się do konsystorza z prośbą o podjęcie działań. Na prośbę asesora Sądu Ziemskiego w Drohiczynie uczestniczył on w wyjaśnianiu sprawy dziesięciny uiszczanej przez unitów, należącej się cerkwi siemiatyckiej, którą zagarniał kościół w Siemiatyczach. Paroch Jan Pilecki, jak pisał Wysiekirski, do 14 stycznia 1837 roku z tej dziesięciny nie korzystał<sup>29</sup>.

Akt rozdzielenia dziesięciny dla cerkwi unickiej w Żurobicach sporządzony został 2 grudnia 1836 roku w Niższym Sądzie Ziemskim w Drohiczynie, z udziałem asesora Kozłowskiego oraz duchownych Jana Pileckiego i Józefa Wojtkowskiego, księdza z Mielnika. Za podstawę posłużył ukaz Senatu i dokument erekcyjny. Paroch z Żurobic domagał się dziesięciny z 7,5 włóki ziemi ornej po pochodzących z tej wsi chłopach unitach, którzy przeszli do mielnickiego amtu i tam oddawali dziesięcinę, po 5 snopów żyta, jęczmienia i owsa z włóki. Polecono dołączyć ją do cerkwi w Żurobicach<sup>30</sup>.

3 grudnia 1836 roku komisja w tym samym składzie (asesor Kozłowski i księża Jan Pilecki i Józef Wojtkowski) podpisała w Drohiczynie kolejny akt w sprawie wydzielenia dziesięciny dla cerkwi unickiej w Żerczycach. Ustalono, że dziesięcina snopowa po zmarłych i niemieszkających już w Żerczycach chłopach<sup>31</sup>, na podstawie dokumentów, oddawana była na rzecz amtu mielnickiego. Polecono, aby amt uiszczał odtąd tę dziesięcinę duchownemu unickiemu w Żerczycach. Jej wymiar ustalono na 10 snopów żyta, jęczmienia i owsa. Duchownym cerkwi żerczyckiej polecono, aby każdorazowo w celu otrzymania tej dziesięciny dogadywali się z mielnickim amtem<sup>32</sup>.

<sup>27</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 98 Рапортъ Василя Висикирскаго в Литовскую Грекоунитскую Духовную Консисторию от 14.01.1837 г.

<sup>28</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 38 Akt o oddzieleniu dziesięciny dla cerkwi w Siemiatyczach z 01.12.1836 г.

<sup>29</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 98 Рапортъ Василя Висикирскаго в Литовскую Грекоунитскую Духовную Консисторию от 14.01.1837 г.

<sup>30</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 39–40 Akt o oddzieleniu dziesięciny dla cerkwi w Żurobicach z dnia 02.12.1836 г.

<sup>31</sup> Było to po włóce z Tarnowszczyzny, zwanej Panasowszczyzną, z Kruzmiłowszczyzny, Szemiłowszczyzny, Zubrowizny, Grabowizny oraz  $\frac{3}{4}$  włóki z Pawlukowizny, po  $\frac{1}{2}$  włóki z Jakubowizny, Kuczynszczyzny i  $\frac{1}{2}$  pola chłopca Ignacego Szejdera. LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050, к. 41–43, Akt o oddzieleniu dziesięciny dla cerkwi żerczyckiej z 03.12.1836 г.

<sup>32</sup> Ibidem.

W sprawie oddzielenia dziesięciny dla unickiej cerkwi mielnickiej 5 grudnia 1836 roku w Mielniku zestawiono dwa akty<sup>33</sup>. Z pierwszego wynikało, że unicy z Mielnika, należący do zlikwidowanej parafii Zmartwychwstania Pańskiego, posiadali 91 włók ziemi. Komisja dziesięcinę z niej, tak jak i parafian, dołączyła do cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Był to pierwszy z aktów podpisany przez wszystkich członków komisji. Drugi dotyczył świadczeń dziesięcinnych, jakich domagał się paroch z Mielnika. Tego aktu nie podpisał już ksiądz Wojtkowski<sup>34</sup>.

Jak wynikało z dokumentów cerkiewnych i opisów inwentarzowych, w 1836 roku w samym Mielniku stały 94 domy gospodarzy obrządku unickiego, a we wsiach państwowych Radziwiłowce – 15 i w Moszczonie – 25. Z miejscowości tych na podstawie przywilejów królewskich Władysława IV i Augusta III powinna być wnoszona – żytem i zbożem jarym – do cerkwi unickich dziesięcina z każdej włóki ziemi ornej. W czasie kiedy wydano przywilej, grunty mielnickie, radziwiłowskie i moszczońskie były porośnięte w większości lasami i zaroślami, w związku z czym zamiast dziesiątej części, oddawano po 8 snopów żyta i tyle samo zboża jarego ze wsi Radziwiłówka i Moszczona oraz po 10 snopów z Mielnika. Do tej pory duchowni obu wyznań nie próbowali weryfikować wymiaru tych świadczeń. Komisja potwierdziła dziesięcinę na dotychczasowych zasadach jako snopową, uiszczaną z Radziwiłówki i z Moszczony z gruntów ornych i siedliskowych po 8 snopów żyta i po 8 zboża jarego. Duchowny cerkwi w Mielniku, Florian Zienkiewicz, kwestionował świadczenia wnoszone z państwowego majątku Rasztowiec na rzecz kościoła w Mielniku. Było to 30 rubli, które on uważał za należącą się mu dziesięcinę. W tej sytuacji komisja nie była w stanie dokonać rozdziału i przekazała sprawę do Białegostoku<sup>35</sup>.

Proboszcz Zienkiewicz posiłkował się wiadomościami z wizytacji dziekana mielnickiego Przybyszewicza z 1757 roku. Zawierały one informacje o dokumencie ogłoszonym w 1721 roku w Drohiczynie, który potwierdzał, że pierwotnie z części ziem chłopskich Radziwiłówki i Moszczony, przed włączeniem ich do folwarku państwowego Rasztowiec, wnoszona była dziesięcina dla cerkwi unickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny

<sup>33</sup> Na miejscu rozpatrzono pisma proboszcza Zienkiewicza i duchownego przyłączonej parafii Zmartwychwstania Pańskiego z 29 kwietnia 1829 roku w sprawie rozdziału dziesięciny. Pierwszy akt dotyczył informacji o przyłączeniu cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego do parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku i został podpisany przez duchownego unickiego Jana Pileckiego. LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 17–20 Akt o oddzieleniu dziesięciny dla obu cerkwi mielnickich z 05.12. 1836 г.

<sup>34</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 47 Akt sporządzony 5 grudnia 1836 w sprawie rozdzielenia dziesięciny dla cerkwi w Mielniku; LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050, Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 17–20 Akt o oddzieleniu dziesięciny dla obu greko-unickich cerkwi mielnickich z 05.12.1836 г.

<sup>35</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 47–52 Заседание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 21.04.1837 г.

w Mielniku. Potem podzielono ją pomiędzy obie cerkwie mielnickie<sup>36</sup>. Z czasem świadczenia dziesięcinnie w naturze zamieniono na 24 złote (dla kościoła ustalono 200 złotych) wypłacane obu parafiom z folwarku państwowego Raszowiec (z ziem ornych, które zostały przyłączone z chłopami ze wsi Radziwiłówka i Moszczona). W drugiej połowie XVIII wieku zaprzestano wypłaty pieniężnej cerkwiom w Mielniku. To o te pieniądze upominał się paroch Zienkiewicz, uważając je za dziesięcinę. Proboszcz kościoła rzymskokatolickiego w Mielniku, ksiądz Wojtkowski, twierdził, że owe 30 rubli (24 złote) nie były dziesięciną, a annuatą. Powoływał się na układ pomiędzy starostą mielnickim Butlerem i ówczesnym proboszczem kościoła w Mielniku, księdzem Łęckim z 1761 roku, od kiedy to opłata pieniężna w kwocie 200 złotych z folwarku Raszowiec była już wnoszona plebanowi kościoła w Mielniku. Zienkiewicz uważał, że z tego 30 rubli należało się cerkwi, jako dziesięcina, a zdaniem księdza była to annuata, która nie przysługiwała cerkwi. W tej spornej sytuacji komisja nie wydała ostatecznej decyzji, a sprawę odesłano pod dalsze rozpatrzenia władz wyższych<sup>37</sup>.

Oddzielenie dziesięciny dla cerkwi unickiej w Ciechanowcu rozpatrywano 28 grudnia 1836 roku w Niższym Sądzie Ziemskim w Drohiczynie z udziałem księdza rzymskokatolickiej parafii Ostrożany, Kiersnowskiego, i duchownego unickiego z Grodziska, Budziłowicza. Okazało się, że mieszkańcy Ciechanowca uprawiali 26 włók ziemi, z czego uiszczali dziesięcinę pieniężną po 90 kopiejek, co dawało łączną kwotę 26 rubli i 40 kopiejek rocznie. Z tego do unitów należały trzy włóki, więc parochowi cerkwi w Ciechanowcu należały się 2 ruble i 70 kopiejek, a kościołowi 23 ruble i 70 kopiejek. W związku z tym, że ziemia przechodziła z rąk unitów w ręce rzymskich katolików i odwrotnie, postanowiono rozliczać ją tak, że z obrabianej ziemi łacinnicy mieli płacić dziesięcinę księdzu, a unicy parochowi<sup>38</sup>.

W dekanacie białostockim tylko w jednej parafii unickiej zgłoszono zastrzeżenia w sprawie dziesięciny. Świadczenia, zarówno wymiar dziesięciny, jak i czas, od kiedy była uiszczana, zakwestionował paroch z Kuźnicy. Duchowny Józef Kojałowicz 16 listopada 1836 roku wyjaśnił dziekanowi złożoność sytuacji. Od chłopów państwowych z Nowowoli (stały tam 32 domy unitów) od 1834 roku otrzymywał po 30 snopów oziminy i tyle zboża jarego z każdej włóki. Z państwowej osady Starowlany (z 9 domami unitów) od 1835 roku wnoszono z włóki po 20 snopów żyta i po tyle samo zboża jarego. Do 1835 roku unicy z tej miejscowości oddawali dziesięcinę zbożową do kościoła w Sokółce z włóki po 30 snopów zboża ozimego i jarego. Józef Kojałowicz zwrócił się do proboszcza w Sokółce, księdza Wysockiego, z prośbą o zwrot – od 1828 roku – równowartości

<sup>36</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 30–34, Белостокское Областное Правление 1 Отделение в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 26. 02. 1837 г.

<sup>37</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 47 Akt sporządzony 5 grudnia 1836 w sprawie rozdzielienia dziesięciny dla cerkwi w Mielniku. LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 17–20 Akt o oddzieleniu dziesięciny dla obu greko-unickich cerkwi mielnickich z 05.12. 1836 г.

<sup>38</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 35–35 об. Akt o dziesięcinie cerkwi w Ciechanowcu z 28.12.1836 г.

dziesięciny, wnoszonej do kościoła przez chłopów z Nowowoli i Starowlan. Proboszcz Wysocki wyjaśnił, że uczyni tak tylko z polecenia władz kościelnych. W tej sytuacji dziekan Lew Markiewicz 10 grudnia 1836 roku poprosił konsystorz o zajęcie stanowiska w tej kwestii<sup>39</sup>.

Nie udało się w ciągu roku wyjaśnić kontrowersji wokół dziesięciny w parafii kuźnickiej. 4 października 1837 roku dziekan przypomniał konsystorzowi, że niezadowolenie budzi wysokość stawki dziesięcinnej. Unicy z majątku państwowego Starowlany od 1835 roku oddawali cerkwi w Kuźnicy dziesięcinę zbożową, ale nie w takim wymiarze jak przedtem kościołowi, czyli po 30 snopów żyta i zboża jarego z każdej włóki ornej, a po 20 snopów<sup>40</sup>.

W grudniu 1836 roku Antoni Kozłowski, asesor Niższego Sądu Ziemskiego w Drohiczynie, przy udziale obu zainteresowanych stron, duchownych unickich i rzymskokatolickich, rozdzielił dziesięcinę pomiędzy kościołami i pięcioma cerkwiemi unickimi (w Siemiatyczach, Ciechanowcu, Żurobicach, Mielniku, Żerczycach) w powiecie drohiczyńskim. Potwierdzały to sporządzone w trzech egzemplarzach odpowiednie akty<sup>41</sup>.

Dla cerkwi w Mielniku i Żerczycach, z tą samą datą, zestawiono po dwa dokumenty, w związku z zastrzeżeniami wnoszonymi przez duchownych unickich, na które nie godzili się księża rzymskokatolicy. W tej sytuacji komisja nie była w stanie rozstrzygnąć rozdziału dziesięciny, oddając sprawę do decyzji władz wyższych<sup>42</sup>.

Osiągnięto natomiast consensus w sprawie świadczeń dziesięcinnych w Żurobicach, Siemiatyczach i Ciechanowcu w powiecie drohiczyńskim<sup>43</sup>.

Władze szczegółowo wyjaśniały sprawę. Okazało się, na podstawie ksiąg kościoła w Siemiatyczach, że prywatne wsie Zabłocie Wilczewskich i Pokaniewo Kurzeńskich należały za czasów pruskich do parafii Milejczyce w ówczesnym powiecie brzeskim. W 1800 roku władze pruskie odłączyły je, a właścicielom dano możliwość wyboru parafii. Zdecydowali wtedy o przyłączeniu tych wsi do kościoła misyjnego w Siemiatyczach, z roczną stawką zastępującą dziesięcinę z obu majątków po 10 austriackich czerwońców. Taką opłatę wnoszono misjonarzom, a po zlikwidowaniu zakonu chłopci tych wsi płacili proboszczowi kościoła w Siemiatyczach. Jak wynikało z dokumentów, miejscowości te z dawien dawna należały do cerkwi w Żerczycach. Z wizyt generalnych z lat 1792–1795, 1799, 1801, 1806, 1809, 1810, 1811, 1817, 1818, 1819 wynikało, że cerkiew w Żerczycach nie miała pieniężnych dochodów, a należała się jej dziesięcina zbożowa, wnoszona ze wsi Żerczyce, Zalesie, Zabłocie i Pokaniewo z każdej włóki po kopie żyta i tyle samo

<sup>39</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитскаго духовенства по Белостокской Области, к. 14–15, Рапортъ Льва Маркевича в Литовскую Грекоунитскую Духовную Консисторию от 10.12.1836 г.

<sup>40</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитскаго духовенства по Белостокской Области, к. 84–84 об. Рапортъ Льва Маркевича в Литовскую Грекоунитскую Духовную Консисторию от 04.10.1837 г.

<sup>41</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитскаго духовенства по Белостокской Области, к. 47–52 Заседание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 21.04.1837 г.

<sup>42</sup> Ibidem.

<sup>43</sup> Ibidem.



zboża jarego. Do 1792 roku chłopci z tych dwóch ostatnich (Pokaniewa i Zabłocia) wnosili dziesięcinę zbożową do cerkwi w Żerczycach. Potem, nie wiadomo z jakiej przyczyny, zamieniona ona została przez właścicieli tych wsi na pieniężną, dziesięcinną annuatę, płaconą kościołowi w Siemiatyczach. Stawka z Zabłocia wynosiła 13 rubli 50 kopiejek, a z Pokaniewa 30 rubli 50 kopiejek. Z inwentarzy wynikało, że w 1836 roku we wsi Zabłocie domów unitów było 18, a w Pokaniewie 25, z wyjątkiem dworu wszyscy wyznania unickiego. Dziesięcina uiszczana przez unitów z Żerczyc i Zalesia, bezspornie wnoszona cerkwi w Żerczycach, pozostała na dotychczasowych zasadach. W tej sytuacji komisja nie mogła podjąć ostatecznej decyzji<sup>44</sup>.

26 lutego 1837 roku władze obwodowe w Białymstoku przekazały akta dotyczące oddzielenia dziesięciny dla greckounickich cerkwi do rzymskokatolickiego konsystorza w Mohylewie, który po zapoznaniu się ze sprawą, zwrócił dokumenty. Uczyniono tak, gdyż cały fundusz pozostawał w gestii diecezji.

Adam Kostyczewicz do końca 1836 roku nie powiadomił, które cerkwie w jego dekanacie otrzymywały dziesięcinę. Na początku stycznia 1837 roku zobligowano go do tego kolejny raz<sup>45</sup>.

Powodem ociążania się dziekana nie było niedbalstwo, ale fakt, że dopiero w grudniu 1836 roku dokonano rozdziału dziesięciny w większości cerkwi unickich w mu podległym dekanacie.

Zestawienie o świadczeniach dziesięcinnych Adam Kostyczewicz sporządził i przekazał do konsystorza 15 kwietnia 1837 roku<sup>46</sup>.

W powiecie bielskim dziesięcinę bezspornie uiszczali unicy narwiańscy – łącznie 25 kop żyta, 10 kop jęczmienia i 15 kop owsa oraz kleszczelowscy – 174 kopy żyta. W powiecie drohiczyńskim wnosili ją parafianie do cerkwi w Żerczycach (6 kop i 30 snopów żyta, 5 kop i 30 snopów jęczmienia oraz 5 kop i 30 snopów owsa), w Siemiatyczach (26 kop i 15 snopów żyta, 26 kop i 15 snopów owsa oraz 23 ruble), w Żurobicach (23 kopy żyta), w Narojkach (6 kop i 20 snopów żyta, 6 kop i 20 snopów jęczmienia, 6 kop i 20 snopów owsa), w Ciechanowcu (wyłącznie pieniądze – 2 ruble 70 kopiejek) i w Grodzisku 14 kop żyta<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 47–52 Заседание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 21.04.1837 г.

<sup>45</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп.1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 6 Заседание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 31.12.1836 г.

<sup>46</sup> Odpowiadał na rozporządzenie konsystorza z 19 maja 1836 roku w związku z prośbą władz obwodowych o dostarczenie informacji o dziesięcinie należnej cerkwiom unickim w majątkach państwowych. Tłumaczył opóźnienie tym, że nawet sami duchowni, którym taka dziesięcina się należała, nie byli w stanie wyjaśnić, ile im się jej należy, dlatego że niektórzy jeszcze do tej pory z takiej dziesięciny nie korzystają. Nie otrzymano o czasie rozporządzenia konsystorza o dziesięcinie z 31 grudnia 1836 roku, Adam Kostyczewicz odebrał je dopiero 27 marca 1837 roku. LVIA Vilnius, ф. 605, оп.1, д. 2050, к. 57–57 об. Рапортъ Бельского благочиннаго протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 15.04.1837 г.

<sup>47</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп.1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 59–60 Wiadomości o dziesięcinie greckounickich cerkwi w Drohiczyńsko-bielskim dekanacie.

Dziekan Kostycewicz celowo pominął sprawę dziesięciny cerkwi unickiej w Brańsku, tłumacząc to raportem parocha Teodora Michnowicza. 26 marca 1837 roku powiadomił on, że dziesięcina dla cerkwi w Brańsku nie została oddzielona<sup>48</sup>.

Adam Kostycewicz nie ujął w tym zestawieniu świadczeń dziesięcinnych na rzecz parochów cerkwi unickich w Żerczycach i Mielniku, gdzie sytuacja była konfliktowa.

Dziekan bielski o sytuacji cerkwi w Mielniku, z obszernym wyjaśnieniem proboszcza i swoim, powiadomił konsystorz 29 października 1837 roku. Prosił o pomoc w oddzieleniu tej dziesięciny od kościoła w Mielniku na rzecz cerkwi unickiej<sup>49</sup>. Do raportu dołączono wypis z ksiąg grodzkich przywilejów Władysława IV i Augusta III, potwierdzających dziesięcinę należącą się tej parafii<sup>50</sup>.

W dekanacie drohiczyńsko-bielskim dziesięcinę w majątkach państwowych wnoszono za okres od 19 maja po 19 kwietnia kolejnego roku.

Na posiedzeniu 21 kwietnia 1837 roku władze diecezjalne zapoznały się z treścią aktów, przekazanych przez Niższy Sąd Ziemiński w Drohiczyń. Dziekana bielskiego zobligowano do przysłania opinii duchownych cerkwi w Siemiatyczach, Ciechanowcu, Żurobicach, Żerczycach i w Mielniku w sprawie podziału dziesięciny. Miały one być przekazane do konsystorza i I oddziału władz obwodowych w Białymstoku<sup>51</sup>.

Kontrowersje wokół rozdziału dziesięciny cerkwi w Mielniku proboszcz Zienkiewicz, na żądanie władz, skomentował 5 października 1837 roku. Poinformował dziekana bielskiego, że tak jak i jego poprzednicy zgadza się na stawkę dziesięciny, jaką ustalono w przeszłości, a którą potwierdziła komisja. Zapewniał, że wzorem swoich poprzedników nie będzie się ubiegać o zwiększenie jej wymiaru, mimo że ilość ziemi ornej w wyniku karczunku lasu i zarośli we wsiach Radziwiłówka i Moszczona zwiększyła się trzykrotnie. Unicy z tych wsi wnosili niezmiennie po 8 snopów zboża ozimego i tyle samo jarego, a z Mielnika po 10 snopów. Proboszcz podkreślał ubóstwo mieszkańców tych wsi. Zienkiewicz uważał, że annuata z folwarku Rasztowiec w kwocie 30 rubli była niesłusznie, jego zdaniem, wysyłana do kościoła w Mielniku, zamiast zgodnie z przywilejami królewskimi być uiszczana cerkwi unickiej<sup>52</sup>. Dziekan raport Zienkiewicza przekazał

<sup>48</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 57–57 об. Рапортъ Бельскаго благочиннаго протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 15.04.1837 г.

<sup>49</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050, к. 78–79 Рапортъ Бельскаго благочиннаго протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 29.10.1837 г.

<sup>50</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 81–82 Wypis z Ksiąg grodzkich Mielnickich do Archiwum Drohiczyńskiego przyłączonych.

<sup>51</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 47–52 Заседание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 21.04.1837 г.

<sup>52</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 75 Рапортъ Зенкевича Бельскому благочинному протоиерею Адаму Костыщевичу от 05.10.1837 г.

do konsystorza 29 października, prosząc o pomoc w odzyskaniu dziesięciny z folwarku Raszowiec dla cerkwi<sup>53</sup> w Mielniku<sup>54</sup>.

W lipcu 1837 roku proboszcz cerkwi w Żerczycach, Andrzej Żebrowski, realizując polecenie konsystorza z 4 maja, przekazał dziekanowi opinię o podziale dziesięciny w swojej parafii. Nie miał on zastrzeżeń do świadczeń wnoszonych w naturze ze wsi Żerczyce i Zalesie, natomiast żądał od unitów z Zabłocia i Pokaniewa, którzy uiszczali dziesięcinę, tzw. snopową, parochowi z Żerczyc do czasu zakazania im tego przez właścicieli tych majątków, którzy zamienili ją na świadczenia pieniężne, nazwali annuatą i przekazywali kościołowi w Siemiatyczach<sup>55</sup>.

Proboszcz Żebrowski ustosunkował się także do kontrowersji wokół dziesięciny, zgłoszonych 13 listopada 1836 roku przez władze obwodowe w Białymstoku, które twierdziły, że annuata, o jakiej pisał białostocki archidiacon Piotrowski, powinna wpływać do banku jako *wspomagatielnyj kapital*. Zdaniem duchownego, skoro niósł on posługę duszpasterską mieszkańcom wsi Pokaniewo i Zabłocie, to jemu też powinni oni płacić dziesięcinę, a nie wnosić do banku. Dziekan Adam Kostyczewicz 8 września 1837 roku opinię tę przekazał władzom diecezjalnym w Żyrowicach<sup>56</sup>.

Sprawę dziesięciny cerkwi w Żerczycach opisał kolejny raz dziekan bielski w raporcie z 6 września 1837 roku. Przykład ten pokazuje, że w parafii Żerczyce amt mielnicki nie respektował poleceń w sprawie podziału dziesięciny, wydanych nawet przez władze świeckie. 8 września 1837 roku dziekan bielski informował konsystorz o staraniach w tej sprawie proboszcza Andrzeja Żebrowskiego. 24 lipca 1837 roku<sup>57</sup> II oddział władz obwodowych w Białymstoku (reakcja na prośbę konsystorza z 19 marca), nakazał mielnickiemu amtowi z 7,5 włóki ziemi ornej (części uprawiał amt mielnicki, a pozostała była oddana w dzierżawę różnym osobom) oddać cerkwi w Żerczycach należącą się jej dziesięcinę. Cerkiewne dokumenty potwierdzały, że od 1832 po 1837 rok zalegano z dziesięciną, z każdej włóki po 10 snopów żyta, jęczmienia i owsa. Amt mielnicki nie miał zamiaru, jak pisał duchowny, jej oddawać. Prosił Kostyczewicza o poinformowanie

<sup>53</sup> LVIA Vilnius., ф. 605, оп. 1, д. 2050, Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к 78–79 Рапортъ Бельского благочинного протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 29.10.1837 г.; LVIA Vilnius., ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 75 Рапортъ Зенкевича Бельскому благочинному протоиерею Адаму Костыщевичу от 05.10.1837 г.; LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 81–82 Wypis z Ksiąg grodzkich Mielnickich do Archiwum Drohiczyńskiego przyłączonych.

<sup>54</sup> LVIA Vilnius., ф. 605, оп. 1, д. 2050, Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к 78–79 Рапортъ Бельского благочинного протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 29.10.1837 г.

<sup>55</sup> LVIA Vilnius., ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к 51 Рапортъ Андрея Жебровского Бельскому благочинному протоиерею Адаму Костыщевичу от 24. 07.1837 г.

<sup>56</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 74 Рапортъ Бельского благочинного протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 08.09.1837 г.

<sup>57</sup> Żebrowski pisał, że chodziło o dziesięcinę od osób, które wybyły lub zmarły. Wilno, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 76–76 об. Рапортъ Андрея Жебровского Бельскому благочинному протоиерею Адаму Костыщевичу от 24.07.1837 г.

o tym władz duchownych i pomoc w jej odzyskaniu. Pisał również, że władze w Białymstoku poleciły nadzorowanie tej sprawy sądowni w Drohiczynie, ten jednak nic w tej kwestii nie uczynił<sup>58</sup>.

Amt mielnicki stał na stanowisku, że duchowny upomina się o dziesięcinę niesłusznie. Wyjaśniał, że żądanie snopowej dziesięciny po niemieszkających już tam z różnych powodów i zmarłych chłopach jest niezasadne, ponieważ nie można mówić o posłudze duszpasterskiej dla tych chłopów. W tej bowiem sytuacji dziesięcina należałaby się po wszystkich zmarłych. Tłumaczono dalej, że nie jest zasadne domaganie się dziesięciny z ziemi, która nie jest już obrabiana, porośla lasem i obecnie należy do resortu Lasów Państwowych, a pozostałą dołączono do dworskich ziem, za które płaci się państwu arendę. A skoro o dziesięcinie nie wspomiano w akcie dzierżawy, to nie można dzierżawców obarczać nowymi obciążeniami. W piśmie zwracano uwagę na położenie chłopów z Żerczyc, Zalesia, Żurobic, którzy ze swoich ziem oddają do obu cerkwi po 10 snopów oziminy i po 20 zboża jarego, co jest znacznym obciążeniem i z tego powodu, że duża część tej ziemi porośla lasami i zaroślami. Amt dołączył kopię korespondencji, jaką prowadził w sprawie snopowej dziesięciny<sup>59</sup>. Lektura tych pism wzbudziła wątpliwość, czy rzeczywiście żądania Żebrowskiego były słuszne. Władze obwodowe w tej sytuacji postanowiły wznowić dochodzenie i sprawę przekazać ponownie do sądu. Ze strony cerkiewnej został wyznaczony duchowny delegat, którego należało powiadomić o sprawie. Poinformowano amt, że do czasu wyjaśnienia kontrowersji, wydać żadnego rozporządzenia nie może<sup>60</sup>.

Sprawę oddzielenia dziesięciny dla cerkwi w Żerczycach rozpatrywał konsystorz na posiedzeniu 18 maja 1838 roku. Analizowano prośbę II oddziału władz obwodu białostockiego o wytypowanie ze strony unickiej duchownego delegata w celu przeprowadzenia wspólnie z drohiczyńskim ziemskim sądem dochodzenia w sprawie kontrowersji wokół dziesięciny dla cerkwi w Żerczycach. Stronę duchowną reprezentował proboszcz cerkwi w Mielniku – Zienkiewicz<sup>61</sup>.

Władze w Białymstoku, opierając się na piśmie Sądu Ziemskiego w Drohiczynie z 31 sierpnia 1838 roku, poinformowały, że rozsądzenie sprawy nieprawidłowo dzielonej dziesięciny, jakiej żądał proboszcz z Żerczyc, zostało wstrzymane z powodu nieobecności

<sup>58</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 68–68 об. Рапортъ Бельскаго благочиннаго протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 06.09.1837 г.; к. 76–76 об. Рапортъ Андрея Жебровскаго Бельскаму благочиннаму протоиерею Адаму Костыщевичу от 24.07.1837 г.

<sup>59</sup> Było to pismo duchownego Żebrowskiego do amtu z 25 listopada 1837 roku, odpowiedź na nie amtu mielnickiego z 11 stycznia 1838, polecenie *stanowego pristawa* powiatu drohiczyńskiego Kozłowskiego z 11 lutego 1838 roku i odpowiedź na nie mielnickiego amtu z 14 lutego 1838 roku.

<sup>60</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050, Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 105 – 109 Белостокское Областное Правление II Отдѣлние в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 28.04.1838 г.

<sup>61</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 110–111 Засѣдание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 10.05.1838 г.

duchownych. Proszono o poinformowanie sądu w Drohiczynie, kiedy Żebrowski i duchowny rzymskokatolicki będą mogli uczestniczyć w dalszym jej rozpoznaniu<sup>62</sup>.

Pismem tym zajęto się w Żyrowicach 28 października 1838 roku. Konsystorz informował władze w Białymstoku, że Żebrowski i Zienkiewicz jeszcze na początku września wyjechali i będą mogli uczestniczyć w pracach komisji<sup>63</sup>.

O wynikach prac informowano zarówno władze cerkiewne, jak i świeckie. Obaj duchowni delegaci powiadamiali swoich przełożonych. W związku z tym, że sprawę nadzorowały władze świeckie, powiatowe sądy ziemskie swoją drogą przekazywały dokumentację (zestawienie w trzech egzemplarzach) do Białegostoku. Władze obwodowe akta z podpisami komisji wysyłały w celu zapoznania się do obu konsystorz – unickiego w Żyrowicach i rzymskokatolickiego w Mohylewie i Wilnie.

Zdarzało się w dobrach prywatnych, że właściciele ziemscy, sami innego wyznania, niechętnie podchodzili do dziesięciny uiszczanej przez ich chłopów parochom unickim. Sytuacja taka miała miejsce w parafii drohiczynskiej. W związku z tym dziekan bielski 15 kwietnia 1837 roku prosił o interwencję I oddział władz obwodu białostockiego.

Proboszcz Jakub Tymiński 29 kwietnia 1837 roku poinformował dziekana o kłopotach z dziesięciną. Cerkiew w Drohiczynie otrzymywała ją w naturze – zbożem ozimym i jarym<sup>64</sup>. Dziesięcinę zbożową wnosili chłopci ze wsi Stadniki. W 1832 roku właściciel majątku – Stanisław Wierzbicki – zabronił unitom ze wsi Chutkowicze uiszczania dziesięciny parochowi unickiemu. W tej sytuacji dziekan Kostyczewicz 20 maja 1837 roku prosił konsystorz o interwencję, a ten polecił I oddziałowi władz obwodu białostockiego podjęcie odpowiednich kroków urzędowych w celu odzyskania należnych świadczeń<sup>65</sup>.

Ukaz Senatu z 27 sierpnia 1828 roku teoretycznie zwracał duchownym unickim dziesięcinę, która zabierana była przez księży niezgodnie z prawem, z nadużyciami lub w wyniku nieprawidłowych działań. W praktyce nie wszędzie tak się stało. Działania komisji w większości doprowadziły do rozdziału wnoszonej przez unitów dziesięciny pomiędzy cerkwie i kościoły. W 1842 roku dziesięcinę i annuatę (w oparciu o rozporządzenie z 30 lipca 1828 roku) w diecezji litewskiej otrzymywało 111 cerkwi [Орловский 1903, 127–128].

<sup>62</sup> LVIA Vilnius, o, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 112 – 112 об. Белостокское Областное Правление II Отделние в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 16.09.1838 г.

<sup>63</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, к. 114–114 об. Заседание Литовской Греко-Унитской Духовной Консистории от 28.10.1838 г.

<sup>64</sup> Wieś Stadniki wnosila 6 kop żyta i 4 kopy zboża jarego, Chutkowicze 4 kopy zboża, ale od 1832 roku już dziesięciny z Chutkowicz nie otrzymywano, ponieważ zabronił jej płacić swoim chłopom właściciel wsi Stanisław Wierzbicki. W styczniu 1837 roku Kostyczewicz rozmawiał z Wierzbickim, który w obecności Tymińskiego powiedział, że nie ma zamiaru oddawać dziesięciny cerkwi w Drohiczynie, bo takiej pozycji nie miał w wykazie, jak obejmował majątek Chutkowicze i gotów jest w tej sprawie iść sądu. LVIA Vilnius, ф. 605, оп.1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, л. 63–63 Рапортъ Бельского благочиннаго протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 20.05.1837 г.; Рапортъ Якова Тыминскаго 29. 04 1837 г.

<sup>65</sup> LVIA Vilnius, ф. 605, оп. 1, д. 2050 Дело о десятинном сборе для греко-унитского духовенства по Белостокской Области, к. 63 Рапортъ Бельского благочиннаго протоиерея Адама Костыщевича в Литовскую Греко-Унитскую Духовную Консисторию от 20.05.1837 г.

Do sprawy dziesięciny powrócił Świętobliwy Synod na początku lat 40. XIX wieku. 29 maja 1842 roku wydał ukaz w kwestii jej rozdziału pomiędzy księży obu wyznań. Potwierdzono, że wszędzie tam, gdzie był zapis o uiszczaniu dziesięciny w naturze (ziarnem bądź snopami), należała się ona księżom z pól pańskich, a nie chłopskich. Józef Siemaszko był zdania, że powinno tak pozostać – dziesięcina wnoszona nie od pola, a od liczby chłopów i dzielona na tej podstawie. W części majątków dziesięcina była przekazywana bezpośrednio przez obszarników. Otrzymywało ją tak 148 kościołów i klasztorów. W takiej sytuacji Józef Siemaszko uważał, że sprawy dotyczące prawosławnych powinien Synod uregulować tak jak w przypadku kościołów [*Зануцку Іоцифа...* 1983, 662–663].

Fakt, że w historii unii, wbrew oczekiwaniom, nie zrównano w prawach hierarchii grekokatolickiej i łacińskiej ujemnie odbił się na wzajemnych kontaktach. Natomiast bliskie relacje pomiędzy mocno zlatynizowanym i spolonizowanym, choć będącym drugiej kategorii, ale współpracującym na poziomie parafii, kleru unickiego z klerem łacińskim, w latach 30. XIX wieku, rozluźniały się coraz bardziej. Sytuację pogarszał konflikt na tle rozdziału dziesięciny i konwersji unitów na obrządek łaciński.

### Bibliografia

- Beauvois D., 2010, *Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803–1832*, Wrocław.
- Dobrowolski R., 2003, *Opat supraski biskup Leon Ludwik Jaworowski*, Supraśl.
- Dobrzyński Z., 1992, *Prawosławni i grekokatolicy w dawnej Polsce*, cz. 2, Warszawa.
- Dylągowa H., 1996, *Dzieje Unii Brzeskiej (1596–1918)*, Warszawa–Olsztyn.
- Kołbuk W., 1998, *Kościół wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku*, Lublin.
- Kołbuk W., 1998, *Prawo patronatu w Kościele unickim w XVIII–XIX wieku. Założenia i funkcjonowanie // Słowianie Wschodni. Duchowość – kultura – język. Księga referatów wygłoszonych na sesji jubileuszowej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Ryszarda Łuźnego i profesora Wiesława Witkowskiego*, red. Bolek A., Piwowska D., Rażny A., Kraków.
- Lubińska C., 1911, *Monografie w zakresie dziejów nowożytnych. Sprawa dysydencka 1764–1766*, t. XIII, Kraków.
- Mironowicz A., 2006, *Kościół prawosławny w Polsce*, Białystok.
- Radwan M., 2004, *Carat wobec Kociola grekokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796–1839*, Lublin.
- Rzońca J., 2005, *Kościół unicki na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim za Mikołaja I i jego likwidacja w 1839 r. // Kościoły na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XV–XIX wieku. Źródła i stan badań*, Białystok.
- Śliwa T., 1979, *Kościół grekokatolicki w zaborze rosyjskim // Historia Kościoła w Polsce*, t. II: 1764–1945, cz. 1: 1764–1918, Poznań–Warszawa.
- Wyczawski H., 1987–1988, *Cerkiew wschodnia na terytorium (archi)diecezji wileńskiej*, Studia Teologiczne, t. 5–6, Białystok–Drohiczyn–Łomża.
- Бобровский П., 1889–1890, *Антоний Юрьевичъ Сосновский старший соборный протоиерей, Литовския Епархияльная Ведомости* 20–22, 45, 47, 49–51/1889; 1–11/1890.
- Записки Юсифа Митрополита Литовскаго изданныя Императорскою Академиею Наукъ по завещанию автора*, 1883, т 3, Санкт Петербург.
- Зноско К., 1993, *Исторический очерк церковной унии ее происхождение и характер*, Москва.

- Киприанович Г., 1894, *Высокопреосвященный Иосиф Семашко митрополит литовский и виленский. Очерк его жизни и деятельности по воссоединению западнорусских униатов с православною церковью в 1839 г.*, Вильно.
- Орловский Е., 1903, *Судьбы православия в связи с историею латинства и унии в Гродненской губернии в XIX столетии (1794–1900)*, Гродна.
- Теплова В.А., 1997, *Влияние латинизации унии на воссоединение униатов в 1839 г. // Материалы научно-богословской конференции, посвященной памяти преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, и 400-летию Брестских церковных соборов*, Минск.
- Чистович И.А., 1884, *Очерк истории западнорусской церкви*, ч. 2, Санкт-Петербург.

## Summary

### RELATIONSHIPS BETWEEN THE UNIATE AND LATIN CLERGY IN THE LATE PERIOD OF THE UNION IN THE BIAŁYSTOK DISTRICT

In the Republic of Poland, the Uniate clergy was perceived as second-class in comparison to the Latin one. Contrary to expectations, the hierarchy was not made equal to the Roman Catholic clergy. A disastrous economic situation of the non-Latin priests resulted in their low level of education and, what is more, being disrespected. This applied to even well educated and well off Basilians. In the history of the union, the relationships between the clergy of both rites were varied, more ambitious in the case of hierarchy and simpler on the level of parish priesthood. As regards church dignitaries of both rites, the situation became more complicated after the partition of Poland, when the Russian authorities appointed a church board in Petersburg also for the Uniates. The conflicts were caused by imposing Latin control over Uniate matters and converting the Uniates into Roman Catholicism. The situation changed after 1805, when the department board for the Uniate matters was established. From then on, as the reconstitution of Orthodoxy was becoming more obvious, the relationship between the hierarchs of both rites was slackened. However, those between the strongly Latinized and Polonized (cooperating at the parish level) Uniates and Latin clergies in the 1830s were becoming more difficult. In 1835, the conversion into the Latin rite and providing mutual pastoral services were forbidden. The conflicts at the parish level concerned conversions of Greek Catholics and the division of a tithe (the tithe paid by the Uniates was often taken over by the Latin clergy). These conflicts escalated in 1828 when the Senate issued a ruling demanding a return of the tithe to the non-Latin priests. Its implementation was not easy, especially in the Białystok borderland district. Consequently, special clerical and religious commissions were appointed that separated the tithe for the churches in Siemiatycze and Żurobice. Long-lasting disciplinary proceedings were conducted in the case of the Uniate church in Żerczyce, Mielnik, Ciecchanowiec, Brańsk, Boćki and Drohiczyn in the Bielsk district and in Kuźnica in the Białystok district.





**Walenty Piłat**

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

## MONODRAM WE WSPÓŁCZESNEJ DRAMATURGII ROSYJSKIEJ

**Key words:** Yevgeny Grishkovets, Lyudmila Petrushevska, Nikolaj Kolada, a monologue as a means of communication with the recipient, a monologue and a dialogue – their mutual relations, “The school” of Nikolaj Kolada

Monodram jest znaną od dawna formą dramatyczną. Uprawiało go i nadal uprawia wielu dramaturgów. Często też znani reżyserzy i aktorzy sięgają do adaptacji tekstów prozatorskich, odpowiednio je przystosowując do swoich spektakli. Jak czytamy w *Słowniku terminów literackich*:

Monodram – utwór dramatyczny, zazwyczaj jednoaktówka, w którym występuje tylko jeden monologujący bohater, wypowiedź swoją zwracający bądź do publiczności teatralnej, bądź do jakiegoś domniemanego audytorium, bądź do osoby nieobecnej na scenie. Monolog wypełniający monodram jest silnie zdialogizowany, ponieważ jego kształt językowo-stylistyczny stanowi imitację serii replik na domyślne wypowiedzi partnerów założonej rozmowy lub ich pozajęzykowe relacje [Głowiński, Kostkiewiczowa, Okopień-Sławińska, Sławiński 1998, 293].

Rzeczywiście, ów monologujący bohater utworu nie mówi w jakąś pustą przestrzeń, pozbawioną odbiorców, lecz zakłada w swej wypowiedzi, że ma partnera. Tak więc, jak powszechnie wiadomo, każdy monolog się „dialogizuje”. Słynny monolog Hamleta „być albo nie być” w swej istocie „adresowany” jest do ewentualnego interlokutora, mimo że wygłaszany w samotności i – wydawałoby się – skierowany tylko do siebie. Monodram w inscenizacji jest nazywany teatrem jednego aktora, bo rzeczywiście cała zawartość myślowa, filozoficzna i ideowa utworu, jej dotarcie do świadomości odbiorcy zależy wyłącznie od możliwości i talentu wykonawcy.

Niewątpliwie najśłynniejszym monodramem we współczesnej dramaturgii rosyjskiej była sztuka Jewgienija Griszkowca *Jak zjadłem psa*. Zdobyła wiele nagród rosyjskich i międzynarodowych. Prezentowano ją też kilkakrotnie w naszym kraju. Polskie tłumaczenie tego utworu było opublikowane w czasopiśmie „Dialog” nr 12/2000.

### Jak słusznie zauważyła Katarzyna Osińska, dramaturg

nie szydzi ze stereotypów i niczego nie demonstruje, godzi się na to, że są one nieodłącznym składnikiem ludzkiego życia. W monologu próbuje uchwycić tę egzystencję w jej wielowymiarowości, z towarzyszącą jej nieodłącznie śmiesznością i melancholią... W swoim z pozoru bardzo zabawnym monologu Griszkwowiec dotyka najistotniejszych problemów Rosji, w której zabrakło mitów<sup>1</sup>.

Trzeba zauważyć, że monodram Griszkwowca nie miał początkowo wersji zapisanej. Za każdym razem występując na scenie, autor niejako improwizował, mając jednak na uwadze zasadnicze przesłanie utworu. Dramaturg wykorzystał motyw podróży. Jego bohater otrzymuje powołanie do wojska na Daleki Wschód i jadąc tam, snuje refleksje na temat różnych aspektów radzieckiej rzeczywistości. Są to rozważania i gorzkie, i komiczne, które w miarę wygłaszania nabierają sensów uniwersalnych. O sztuce *Jak zjadłem psa* w przeszłości już pisałem [Piłat 2001, 2009], nie ma zatem potrzeby tego powtarzać, dodam jedynie, że poznańska badaczka – Halina Chałacińska-Wiertelak – niezwykle interesująco przeanalizowała ten utwór, umieszczając go w szerokim rosyjskim i europejskim kontekście literackim [Chałacińska-Wiertelak 2001, III, 163–170].

Jewgienij Griszkwowiec nie jest jedynym autorem, który sięgnął do monodramu. Wcześniej tę formę dramatyczną spożytkowała Ludmiła Pietruszewska. Mam na myśli przede wszystkim jednoaktówkę *Szklanka wody* (*Стакан воды*). Autorem monodramu jest także Nikołaj Kolada (*Pani tańczy z panią – Шерочка с Машерочкой*). Bohaterka Pietruszewskiej – nieszczęśliwa, stara kobieta pod powierzchnią agresji i wulgarności ukrywa wrażliwość na problemy innych. Język jej monologu jest nasycony nienormalywną leksyką. Świat wewnętrzny bohaterki jest pełen dysharmonii. To zapewne konsekwencja jej osamotnienia i rozczarowania otaczającą rzeczywistością. Bohaterka monodramu Nikołaja Kolady wygłasza monolog w obecności... kota. To stworzenie jest obiektem żalów i złości, ataków i czułości zarazem. Z chaotycznych replik Ady Siergiejewny wyłania się dość tragiczny obraz świata. Jej samotność, poczucie utraty syna, egzystencja w czterech ponurych ścianach doprowadza tę postać do agresji właśnie.

Kondycja emocjonalna postaci w utworach Pietruszewskiej i Kolady – to niewątpliwie efekt układów społecznych (radzieckich), ale też i przemian, które nastąpiły w rezultacie reform Michaiła Gorbaczowa. Obie znalazły się poza nawiasem normalnej egzystencji. Swoją sprzeciw, gniew, ale i rozpacz wykrzykują w otaczającą je pustkę. Taki rozczarowany bohater pojawił się już w twórczości Aleksandra Wampiłowa. Ludmiła Pietruszewska w jednym z wywiadów powiedziała między innymi:

Na początku swojej drogi twórczej szukałam jakichś wzorów i nagle odkryłam Wampiłowa. Ale kiedy dowiedziałam się o jego istnieniu, on po prostu zginął. Tylko dwa tygodnie żyłam z przeświadczeniem, że mam wreszcie swoją gwiazdę przewodnią, że w końcu znalazłam człowieka, który tak wiele może nauczyć. Jego śmierć była dla mnie wielkim nieszczęściem osobistym [Вайнер 1988, 8].

<sup>1</sup> Cyt. za Centrum Dramaturgii, Teatr Polski w Poznaniu, *Nowa dramaturgia rosyjska. Program spektaklu „Jak zjadłem psa” w wykonaniu J. Griszkwowca w Teatrze Polskim w Poznaniu*, 20.01.2001.

Również Nikołaj Kolada pozostawał i pozostaje pod wpływem dokonań twórczych Aleksandra Wampiłowa [szerzej: Piłat 1986]. W rozmowie ze mną podczas prezentacji współczesnej dramaturgii rosyjskiej w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku powiedział, że Wampiłow zawsze go inspirował.

Jak już wspominałem, w wymienionych monodramach podstawową formą wypowiedzi jest monolog, w którym jednak „ja” nawiązuje relacje z odbiorcą – kimś bezpośrednio niewskazanym, ale jednak wirtualnie istniejącym.

Nawet w najbardziej czystej postaci – jak czytamy w *Słowniku terminów literackich* – monolog zawiera w sobie potencjalnie dialogowe rozdzielenie, ponieważ jego podmiot odgrywa zarazem rolę adresata własnych słów [Głowiński, Kostkiewiczowa, Okopień-Sławińska, Sławiński 1998, 293].

Dramat współczesny, nie tylko rosyjski, często kreuje bohatera skonfliktowanego z otaczającą rzeczywistością, zbuntowanego przeciwko jej paradoksom. Jak zauważyła Lidia Mięśowska: „Poczucie rozsypywania się życia i wyczerpania wzorców, jakie towarzyszą współczesnemu człowiekowi (nie tylko rosyjskiemu), musiało... znaleźć odzwierciedlenie także na gruncie działań literackich” [Mięśowska 2007, 114]. Rzeczywiście, rozpad więzi międzyludzkich, atrofia zasad moralnych powodują frustrację i negację otaczających realiów. W takim stanie emocji pozostają bohaterowie wyżej wspomnianych monodramów.

Monodram to nie tylko monolog bohatera, „ja” w całej okazałości, to też sposób wypowiedzi autora w formie bardzo bezpośredniej. W teź wypowiedzi formułowane są sądy nie tylko „monologującego” bohatera. Autor utworu, nie wprowadzając dialogów, koncentruje się w szczególny sposób na opisywanej rzeczywistości, by przez pryzmat podmiotu kreowanego wyrazić swój stosunek do realiów tego świata. Bohaterki Ludmiły Pietruszewskiej, Nikołaja Kolady i innych dramaturgów w formie monologu właśnie wyrażają swój sprzeciw wobec zastanych okoliczności, z którymi absolutnie sobie nie radzą, wobec tragicznych warunków, w których zmuszone są egzystować.

Interesujący jest również monodram Michaiła Wołochowa *Wieża Czikatily* (*Вышка Чикатило*). Być może, Wołochow jako dramaturg jest mniej znany w Rosji, dlatego że długo mieszkał i tworzył w Paryżu (obecnie – choć ma również francuskie obywatelstwo – głównie mieszka w Rosji). Jest autorem wielu znakomitych sztuk, choćby takich jak *Zabawa w ciuciubabkę* (*Игра в жмурику*), *Wielki pocieszyciel* (*Великий Утешитель*), *Kilimandżaro na ustach twoich* (*Килиманджаро на губах твоих*), *I do Paryża* (*И в Париж*) [Волохов 1997].

Wybitny dramaturg francuski Eugène Ionesco wyrażał się o tej twórczości z najwyższym uznaniem, traktując ją jako absolutnie nowe słowo we współczesnej dramaturgii rosyjskiej. W tomie sztuk autora czytamy między innymi:

Михаил Волохов – один из наиболее неожиданных и спорных драматургов. Успех к нему пришёл в Париже, как это часто бывало с русскими литераторами. Его пьесы ставились во Франции, Германии и Великобритании. Автор придерживается стилистики театра абсурда и развивает традиции Жана Жене, Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско. Его герои часто изъясняются на сленге и мате, но Волохова интересует нравственный аспект их взаимоотношений [Волохов 1997, 303].

Sztuka *Wieża Czikatily* (*Вышка Чикатило*) dla wrażliwego odbiorcy jest trudna do przyjęcia przede wszystkim ze względu na nienormatywny język. Niemal każde zdanie nasycone jest wyrażeniami wulgarnymi (tzw. „mat”), ale jednak ma to swoje uzasadnienie. Bohaterem monodramu jest człowiek oczekujący egzekucji. Monodram poprzedzają krótkie i jedyne w tym utworze didaskalia: „Тюрьма. Одиночка смертника. Чикатило не спеша ходит из угла в угол камеры и сам с собой разговаривает” [Волохов, 1997, 180]. Jest to po prostu zwykła informacja niezawierająca żadnych podtekstów, ale już wprowadzony w wypowiedź bohatera cytat (tzw. intertekst) z A. Puszkina ma głębszy sens. Oto on:

Я вас любил: любовь еще, быть может,  
В душе моей угасла не совсем;  
Но пусть она вас больше не тревожит;  
Я не хочу печалить вас ничем.  
Я вас любил безмолвно, безнадежно,  
То робостью, то ревностно томим;  
Я вас любил так искренне, так нежно,  
Как дай вам Бог любимой быть другим [Волохов 1997, 180].

Puszkiniowski tekst jest tu wskazaniem na drzemiące w duszy bohatera pozytywne, być może wyparte w efekcie traumatycznych przeżyć, emocje. Jednocześnie sygnalizuje, że w tym „zwyrodnialcu” jednak zachowały się jakieś cechy człowieczeństwa.

Jedynie wyżej zacytowany fragment dramatu jest pozbawiony wulgaryzmów. Niewątpli M. Wołochow, jak to już zaznaczyłem, jest dramaturgiem utalentowanym, ale „naszpikowany” niecenzuralnymi wyrażeniami monolog bohatera momentami bywa trudny do zaakceptowania. Swojego rodzaju kuriozum stanowi notatka rekomendująca dramaturgię autora, w której czytamy między innymi: „Учитывая использование автором ненормативной лексики, книга не рекомендуется для чтения лицам, не достигшим совершеннолетия” [Волохов 1997, strona tytułowa].

Czy warto zatem zajmować się tego rodzaju dziełem? Jak wiadomo, dramaturgia należy do sfery sztuki, a sztuka traktuje wszystkich odbiorców jako wrażliwych na piękno, usiłuje kształtować ich poczucie estetyki. Bohater Wołochowa jest wielokrotnym mordercą, znajduje się w sytuacji ekstremalnej. Będąc na krawędzi życia i śmierci, nie przejawia szczególnych wyrzutów sumienia. Wręcz przeciwnie, z upodobaniem wspomina popełnione zbrodnie, chociaż w głębi zdegenerowanej duszy czasem przejawia współczucie dla swoich ofiar. Powołując się na rosyjskich klasyków (Puszkina, Dostojewski, Nabokow), niejako w ich twórczości szuka uzasadnienia dla swoich zbrodni. Pisząc o dramaturgii M. Wołochowa znakomity krytyk rosyjski – Lew Anniński – stwierdza między innymi:

А смысл этого волоховского реализма, напялившего на себя абсурдистскую маску и матюгами прикрывшегося от слишком быстрой расшифровки – страшен. Все это роли мнимые и если с него снять все его роли и буквально раздеть донага, то есть вроде бы обнаружить животное – то и животное соскользнет в какое-то псевдобытие, оно даже на зверской логике не удержится. Оно ни пожрать, ни убить, как следует не сможет. Оно в своей злобе запутается. Оно изойдет в мате, в отрицательном артистизме, в картинном небытии [Аннинский 1997, 294].

Ów „mat”, jak określają Rosjanie tego rodzaju leksykę, jest zatem w monodramie Wołochowa swoistą nicią „porozumienia” bohatera ze zniechęconym światem zewnętrznym, ale też i z natury swojej jest „normalny” dla kreowanej postaci znajdującej się w ekstremalnych dla niej realiach. Dodam, że sztuka Michaiła Wołochowa została opublikowana w 1994 roku. Pamięamy, że wówczas literatura rosyjska w efekcie zniesienia cenzury zaczęła poruszać tematy tabu i kreując świat przedstawiony, nie stroniła od specyficznego języka. Obserwujemy to w wielu utworach Władimira Sorokina<sup>2</sup>, Nikołaja Kolady i innych. Literatura w niepisanim założeniu miała być swego rodzaju terapią szokową. Właśnie temu celowi miała też służyć nienormalna leksyka, jak również tematyka, do której tzw. czytelnik radziecki nie był przyzwyczajony, jak i szokujący swym zachowaniem bohaterowie.

Jak już wspominałem, Wołochow w tym czasie mieszkał w Paryżu i raczej nie dotyczyły go rozmaite radzieckie ograniczenia, ale, jak to powiedział Josif Brodski, nie jest rzeczą ważną miejsce zamieszkania, ważniejsze jest to, w jakim języku poeta, prozaik, dramaturg pisze. Wołochow pisał po rosyjsku, zatem odczuwał potrzebę wpisania się w kontekst literatury rosyjskiej.

Język poszczególnych utworów i to zarówno w literaturze rosyjskiej, jak i polskiej bywa czasami trudny w odbiorze. Kreowany bohater używa slangu, potocznych wyrażeń, wulgaryzmów. Przecież postać znajdująca się w konflikcie z całym światem nie musi posługiwać się językiem Puszkina czy Mickiewicza. Bohater monodramu w finale mówi między innymi:

Я виноват лишь в том, что самым человеческим человеком, альтруистом уродился – разрешил России-матушке дьявола через себя выдавливать. Спасибо надо говорить в таком случае. Да только добро в этом мире смертельно наказуемо. Аминь... Что если я перед Богом прав, б... человеческие????!!! (Плачет) [Волохов 1997, 192].

Podmiot mówiący zachował w sobie odrobinę dobra, ale ów metaforyczny „diabeł”, który opanował jego duszę, doprowadził go do antyhumanitarnych czynów.

Z pewnością za monodram można też uznać znaną sztukę Olega Bogajewa *Rosyjska poczta ludowa* (*Русская народная почта*) [Богоев 1977]. Jednakże o tym utworze napisano już wiele artykułów i rozpraw, nie ma zatem potrzeby powtarzać powszechnie

---

<sup>2</sup> Kiedy już powieść Sorokina *Niebieska słonina* (*Голубое сало*) zaistniała w rosyjskiej świadomości czytelniczej, bliska środowiskom kremłowskim organizacja młodzieżowa zorganizowała przed Teatrem Wielkim w Moskwie swoisty happening. Ustawiono tam olbrzymi tekturowy klozet, do którego wrzucano podarte egzemplarze tej powieści. Jak potem wspominał Sorokin, kiedy szedł ulicą Twerską, zobaczył, że milicjant czyta co bardziej obsceniczne fragmenty jego powieści rozwieszzone (przez tę młodzieżową organizację) na słupach ogłoszeniowych. Jego komentarz był taki: no i wreszcie doczekałem się tego, że moją powieść czyta także moskiewska milicja. Zresztą Sorokin podał do sądu autorów tej inscenizacji. Niestety, nie wiem, jaki był ostateczny wyrok. Dodam, że Władimir Sorokin jest dziś jednym z najbardziej znanych prozaików i dramaturgów rosyjskich. Na temat dramaturgii Sorokina zob.: L. Mięowska, *Powrót do korzeni. Władimira Sorokina język pozarozumowy* [Mięowska 2013, 185–198].

już znanych opinii<sup>3</sup>. Dodam, że Bogajew to dziś dramaturg znany nie tylko w Rosji, ale i poza jej granicami. Wywodzi się z tzw. „szkoły” Nikolaja Kolady. Właśnie z tą „szkołą” związało się wielu młodych autorów, o których Kolada pisał między innymi: „У всех этих пьес уже есть большая сценическая судьба в театрах России и за рубежом” [Глушь. Книга первая 2013, 464]. Niewątpliwie wśród wielu autorów z Jekaterynburga na uwagę zasługuje Jarosława Pulinowicz. Dwa jej monodramy z pewnością sytuują ją w gronie utalentowanych dramaturgów. Mam na myśli sztuki *Marzenie Nataszy* (*Наташина мечта*) i *Zwyciężyłam* (*Победила я*) [Глушь. Книга первая 2013, 385–415]. Pierwszy monodram jest poprzedzony lakonicznymi didaskaliaми wprowadzającymi: „Наташа, 16 лет. Одеты в спортивный костюм. Руки сжаты в кулаки. Часто озирается по сторонам. Одного переднего зуба не хватает” [Глушь. Книга первая 2013, 385]. W tym, wydawałoby się, neutralnym tekście pobocznym zawarte są informacje wskazujące na stan psychiczny bohaterki. Zbuntowana nastolatka wygłasza przed sądem monolog. Zawiedziona, wyimaginowana miłość do dziennikarza przygotowującego reportaż, z którym wiązała nadzieję na opuszczenie znieawidzonego domu poprawczego, powoduje, że dziewczyna popełnia przestępstwo. Marzenie Nataszy nie spełnia się. Nie było żadnych szans na jego spełnienie.

Jak w swoim czasie napisał Jan Ciechowicz, odbiorcą monologu w monodramie jest jakaś wirtualna zbiorowość. „Bohater przyjmuje wobec niej – pisał badacz – postawę relacjonującą. Relacja taka nosi nierzadko ślady dramaturgicznego sprawozdania... Publiczność jest integralną częścią monologu... jej obecność stanowi warunek sine qua non monologu” [Ciechowicz 1984, 121]. Rzecz jasna, badacz ma tu na myśli nie rosyjski materiał dramaturgiczny, ale ustalenia te można odnieść także do sztuk autorki z Jekaterynburga.

W dramacie *Zwyciężyłam* mamy do czynienia z sytuacją odwrotną w stosunku do sztuki *Marzenie Nataszy*. Bohaterka – otoczona przesadną miłością rodziców, porządnie wyedukowana zostaje jedną z prowadzących program telewizyjny dla młodzieży. Jej sąsiadka z bloku, rówieśnica jest całkowitym przeciwieństwem dziewczyny „z dobrego domu”. To zbuntowana nastolatka, prawdopodobnie narkomanka, nienawidząca świata dorosłych – według niej świata zakłamanego. Wydaje się, że owa idealna bohaterka jest wzorem dla Nataszy, jest kimś, kim ta chciałaby być. Tak więc w gruncie rzeczy jest to ta sama postać, poszukująca akceptacji w świecie dorosłych. W jej wyobraźni drogą do takiej akceptacji jest miłość, jednakże i tu ponosi klęskę. W finale utworu czytamy między innymi:

<sup>3</sup> Zob.: Mięsovska L., 2007, *Gra – nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku*, Katowice; Mazurek M., 2007, *Dramaturdzy z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikolaja Kolady*, Katowice; Piłat W., 2005, *Obraz nowego Rosjanina w najnowszej dramaturgii rosyjskiej (z uwzględnieniem europejskości) // Europa a Rosja. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość*, red. Gancewski J., Sobczak J., Elbląg; Piłat W., 2011, *Akceptacja czy negacja postradzieckiej rzeczywistości. Kilka uwag o współczesnej dramaturgii rosyjskiej // Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji*, red. Wegnerska-Ptaszkiewicz B., Wójcicka U., Toruń; Strycharski J., 2011, *Социокультурное пространство уральской драмы. На материале произведений Н. Коляды, О. Богаева, В. Сугарева*, Olsztyn.

Взрослые! Я вас ненавижу, потому что вы никогда меня не слушаете и не хотите понимать. Я ухожу от вас. Живите, как хотите своей взрослой дебильной жизнью. А я никогда не вырасту и буду жить счастливо. Ваша Наташа [Пулинович 416].

Na zakończenie zauważmy, że monodram jako forma dramatyczna funkcjonuje we współczesnej dramaturgii rosyjskiej, aczkolwiek niezbyt często autorzy po nią sięgają. Omówione sztuki zdają się jednak potwierdzać myśl, że stosując i tę formę, autorzy wypowiadają wiele ważnych opinii na temat przedstawianej rzeczywistości. Znamiona monodramu noszą też niektóre sztuki Iwana Wyrypajewa *Lipiec (Июль)*, jednakże twórczość tego autora to już materiał na oddzielny szkic.

### Bibliografia

- Chałacińska-Wiertelak H., 2001, *Słowo-teatr-bycie. Uwagi o monodramie „Jak zjadłem psa” Jewgienija Griszkowca (Centrum Dramaturgii. Teatr Polski w Poznaniu, styczeń 2001 r.) // Scripta Neophilologica Posnaniensia, red. Puppel S., Poznań, 163–170.*
- Ciechowicz J., 1984, *Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów form dramatyczno-teatralnych*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Dramat rosyjski. Kłasyka i współczesność*, 2000, red. Mazurek H., Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1998, *Słownik terminów literackich*, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Górska I., 2004, *Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza*, Poznań: Wydawnictwo UAM.
- Griszkowicz J., 2000, *Jak zjadłem psa*, Dialog, nr 12.
- Krajewska A., 2005, *Dramat współczesny. Teoria i interpretacja*, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
- Mazurek H., 2007, *Dramaturdzy z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikołaja Kolady*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- Mięsowska L., 2007, *Gra – nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku*, Katowice.
- Mięsowska L., 2013, *Powrót do korzeni. Władimira Sorokina język pozarozumowy*, Folia Litteraria Rossica, Zeszyt specjalny, red. Główko O., Leyko M., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 185–198.
- Piłat W., 1986, *Twórczość Aleksandra Wampilowa. Z zagadnień poetyki*, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
- Piłat W., 1995, *Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte*, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
- Piłat W., 2000, *Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej*, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
- Piłat W., 2001, *Jewgienij Griszkowicz – dramaturg, reżyser czy twórca spektaklu?*, Przegląd Ruscystyczny, nr 2, 68–74.
- Piłat W., 2009, *Jewgienij Griszkowicz w kontekście współczesnego teatru rosyjskiego*, Borussia, z. 46, 116–120.
- Współczesny dramat rosyjski. Kontynuacje i przemiany*, 2013, red. Główko O., Leyko M., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

- Аннинский Л., 1993, *Слоистые облака*, Театр, № 7 // Волохов М.И., 1997, *Великий утешитель: Пьесы*, Москва: Издательство Глагол, 294.
- Богаев О., 1977, *Русская народная почта*, Драматург, № 8.
- Вайнер В., 1988, *О братьях и сестрах, об отцах и детях*, Советский театр, № 2, 8.
- Волохов М.И., 1997, *Великий утешитель: Пьесы*, Москва: Издательство Глагол.
- Глушь. *Книга первая*, 2013, ред. Коляда Н., Екатеринбург.
- Громова М., 2005, *Русская драматургия конца XX – начала XXI века*, Москва: Флинта: Наука.
- Пулинович Я., 2013, *Победила я*, Современная драматургия, № 4.

### Summary

#### A MONODRAMA IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN DRAMA

The aim of the article is to analyze selected plays of Yevgeny Grishkovets, Lyudmila Petrushevskaya, Nikolaj Kolada, and other contemporary Russian playwrights, attending to their mode, that is a monodrama. The essence of a monodrama is its intended monologic quality, however, each monologue presupposes a dialog with the potential recipient. It is emphasized in the article that even though it is a short piece of dramatic writing, a monodrama often emerges as a source of knowledge about a modern man and his relations with the reality that surrounds him. It is the conviction of the author of the article that the analyzed plays serve as excellent illustrations of this thesis.



**Anna Toczyńska-Pęksa**

Katedra Filologii Rosyjskiej

Uniwersytet Rzeszowski

## RECEPCJA TWÓRCZOŚCI PIOTRA WIAZIEMSKIEGO W POLSCE

**Key words:** Peter Vyazemsky, polish critic literature

Piotr Wiaziemski zapisał się na kartach historii literatury przede wszystkim jako poeta, krytyk, publicysta. Aktywnie współpracował z takimi czasopismami jak „Moskowskij tieliograf”, „Litieraturnaja gazieta”, „Sowriemiennik”, napisał również artykuły w których sięgał pamięcią do epoki puşkinowskiej, a nawet lat wcześniejszych. Wiaziemski jest także autorem *Notatników* (*Zapisnye kniżki*), w których śmiało wyrażał swoje poglądy, komentował, często krytykował otaczającą go rzeczywistość. Autor *Pierwszego śniegu* pozostawił po sobie bogatą korespondencję. Podobnie jak w *Notatnikach* zawarł w nich interesujące uwagi na temat wydarzeń, których był świadkiem na przestrzeni swojego długiego życia.

Dorobek Wiaziemskiego przyciągał uwagę współczesnych, którzy głównie komentowali jego dokonania na polu literatury. W świadomości Rosjan lat dwudziestych, trzydziestych był uznanym poetą, krytykiem, członkiem Arzamasu i puşkinowskiej plejady. Jego twórczość pozytywnie oceniali m.in.: Wasilij Żukowski, Iwan Dmitrijew, Konstanty Batuszkow, Aleksander Puşkin.

Osoba oraz twórczość Wiaziemskiego stały się również przedmiotem refleksji rusycystyki polskiej. Pierwsze gruntowne opracowanie dotyczące spuścizny członka Arzamasu powstało dopiero po śmierci poety, pod koniec XIX wieku. Włodzimierz Spasowicz w swoim studium odmawia Wiaziemskiemu miejsca wśród najwybitniejszych twórców jego epoki, „(...) jako literat jest księżę pisarzem trzeciego rzędu” [Spasowicz 1892, VI, 294] – konstatuje badacz. Z drugiej strony, zauważa on przejawy talentu poetyckiego przyjaciela Puşkina lub przynajmniej, jak to sam Spasowicz określa, jego „wielką wprawę w wierszowaniu” [Spasowicz 1892, VI, 282]. Badacz podkreśla fakt, że w całej twórczości Wiaziemskiego widoczny jest wpływ epoki Oświecenia, zaś jego „uwielbienie romantyzmu było naleciałością” [Spasowicz 1892, VI, 290]. Poeta czasami demonstruje swoje konserwatywne poglądy, krytykuje Wissariona Bielińskiego, potępia powieść

*Wojna i pokój* Lwa Tolstoja, wyraża także niepocholebne opinie o twórczości Iwana Turgeniewa [Spasowicz 1892, VI, 283–284]. Krytyk docenia zarówno *Notatniki*, jak i bogatą korespondencję Wiaziemskiego jako dzieła o znaczeniu historycznym dokumentujące epokę, w której żył poeta. Ważne miejsce w biografii księcia zajmuje jego kilkuletni pobyt w Polsce. Wiaziemski spędził trzy lata w Warszawie jako urzędnik kancelarii Mikołaja Nowosilcowa, poznał język polski i literaturę, zawarł znajomości z wybitnymi przedstawicielami polskiej nacji – Julianem Ursynem Niemcewiczem, Ignacym Krasickim, Adamem Mickiewiczem. Autor *Pierwszego śniegu* wspierał przebywającego na zesłaniu w Rosji Mickiewicza, zapoznał go ze środowiskiem literackim Moskwy i Petersburga. Wiaziemski przetłumaczył prozą *Sonety* polskiego wieszczka, propagował jego twórczość w Rosji. Mimo sympatii, jaką darzył Polaków, komentował też ich wady narodowe, takie jak lekkomyślność czy też „przesadne poczucie honoru narodowego” [Spasowicz 1892, VI, 324]. Podczas pobytu w Polsce ostatecznie uformowały się liberalne poglądy poety, miał on nadzieję, że car Aleksander I obiecując Polsce konstytucję, ma zamiar podobną reformę przeprowadzić w Rosji. W naszym kraju Wiaziemski stworzył swoje najbardziej opozycyjne wiersze, takie jak: *Oburzenie* (*Незодованіе*), odę *Petersburg* (*Петербургъ*), w których śmiało krytykował politykę carską. Po upadku powstania listopadowego poeta współczuł Polakom, krytykował Puszkina i Żukowskiego, którzy stworzyli wówczas wiersze wychwalające zwycięstwo Rosji. Wiaziemski twierdził, że trzeba rozwiązać kwestię polską w sposób korzystny dla Polaków, najlepsze dla dobra jego ojczyzny byłoby nadanie autonomii Królestwu Polskiemu, gdyż korzyści płynące z jego posiadania są dla Rosji znikome [Spasowicz 1892, VI, 294–325]. Inny badacz – Marian Zdziechowski wspomina osobę Wiaziemskiego w kontekście jego przynależności do grona „puszkinistów” – plejady puszkiniowskiej, określając go, podobnie jak Spasowicz, mianem „poety mniejszego talentu” [Zob. Zdziechowski 1897, II, 213].

Kolejne opracowania dotyczące Wiaziemskiego pojawiają się w XX wieku. Krótka notatka o przyjacielu Mickiewicza pojawiła się na kartach dwutomowej *Historii literatury rosyjskiej* Aleksandra Brücknera [Brückner 1922, II, 67–69]. Badacz określa Wiaziemskiego mianem „uzdolnionego dyletanta” [Brückner 1922, II, 67], przedstawia go, przede wszystkim, jako twórcę epigramatów, przy pomocy których zwalczał wrogi mu obóz Biesiady Miłośników Rosyjskiego Słowa, zaznacza również fakt, iż w swojej twórczości poeta krytykował otaczającą go rzeczywistość, samowładztwo. Wspomina o przyjaźni, jaka łączyła członka plejady puszkiniowskiej z Polakami oraz z przyszłymi dekabrystami. Według historyka Wiaziemski do końca swojej drogi twórczej pozostał klasykiem, wychowanym w duchu francuskiej literatury Oświecenia oraz konserwatystą, który odrzucał idee postępowe, nowe prądy pojawiające się w literaturze [Brückner 1922, II, 67–69].

Wacław Lednicki w swoim studium [Lednicki 1935] zalicza Wiaziemskiego do tytułowego grona „przyjaciół Moskali”, ponieważ był on osobą znaną ze swej lojalności i szczerzej sympatii wobec wielu Polaków, m.in. Mickiewicza, pianistki Marii Szymanowskiej, których otaczał opieką podczas ich pobytu w Rosji. Lednicki określa postawę Wiaziemskiego wobec Polaków jako „dualistyczną” – gdyż obok licznych dowodów sympatii wobec przedstawicieli narodu polskiego, można odnaleźć także ślady uprzedzeń,

krytyki mieszkańców naszego kraju [Zob. Lednicki 1935, 7–19]. Lednicki odnotowuje rolę księcia jako „redaktora” i recenzenta albumu Szymanowskiej (poeta pozyskiwał do albumu pianistki autografy wybitnych twórców swojej epoki), propagatora jej talentu w swoim kraju [Lednicki 1935, 263–278]. Badacz zwraca uwagę na wartość korespondencji, jaką prowadził Wiaziemski z Aleksandrem Turgieniewem, która nie tylko zawiera wzmianki o Mickiewiczu, lecz także jest obok dzienników braci Turgieniewych ważnym świadectwem życia umysłowego Europy i Rosji I poł. XIX wieku [Lednicki 1935, 345–351].

Osoba księcia Wiaziemskiego pojawia się w literaturoznawstwie polskim w kontekście związków Ignacego Krasickiego z literaturą rosyjską [Czernobajew 1936, 41–62]. Piotr Wiaziemski podczas swego pobytu w Polsce, przetłumaczył wybrane bajki Krasickiego, napisał też kilka własnych, w których zauważalna jest inspiracja twórczością polskiego pisarza [Czernobajew 1936, 57]. Niektóre tłumaczenia przyjaciela Puszkina, według Wiktora Czernobajewa są dość udane, ponieważ potrafił on przekazać główną myśl oryginału. W innych Wiaziemski „wpada w rozwlekłość lub też opuszcza te szczegóły oryginału, które najwięcej wypuklały samodzielne cechy bajek Krasickiego, zwłaszcza nie jest w stanie należycie oddać ich pierwiastka dramatycznego” [Czernobajew 1936, 54]. Przyczyna tych niepowodzeń tkwi, jak zauważa Czernobajew, w braku u rosyjskiego poety „tych zdolności konstruktywnych, które są właściwe tylko jednostkom istotnie twórczym” [Czernobajew 1936, 54]. Wiaziemski zajął się przekładem bajek Krasickiego po raz drugi kilka lat później, w roku 1826, jednak wobec tych tłumaczeń autor artykułu wysunął podobne zarzuty, w stodunku do prac powstałych wcześniej [Zob. Czernobajew 1936, 56].

Wiazemski zaznacza swoją obecność w polskich całościowych opracowaniach literatury rosyjskiej, które pojawiły się w drugiej połowie ubiegłego stulecia [Zob. Barański, Semczuk 1975, 205, 213–215; Jakóbiec 1976, I, 488–490, 493–494; Mucha 2002, 215–216]. Poeta sytuowany jest w plejadzie puszkiniowskiej, obok takich twórców jak Eugeniusz Baratyni, Antoni Delwig, Mikołaj Jazykow i in. Podkreślana jest jego rola jako propagatora i pierwszego krytyka romantyzmu w Rosji, w latach dwudziestych pierwszej połowy XIX wieku. Wiaziemski jest twórcą, uważanego za manifest rosyjskiego romantyzmu, wstępu do poematu Puszkina *Fontanna Bachczysaraju* (*Бахчисарайский фонтан*, publ. 1824). Na początku swej drogi twórczej autor satyry *Rosyjski Bóg* (*Русский Бог*) był związany z karamzinizmem, później stał się „poetą myśli”, pojmovaną przez niego przede wszystkim jako myśl polityczna. Opozycyjne poglądy poety, którym dawał wyraz w swojej wczesnej twórczości, wiążą go z literaturą dekabrystowską. Wiaziemski za swoją zbieżność poglądów z obozem szlacheckich rewolucjonistów nazywany był w literaturoznawstwie radzieckim „dekabrystą bez grudnia” („декабрист без декабря”) <sup>1</sup> [Zob. Kutanow 1932, 201–290], ponieważ nie stał się członkiem żadnej z organizacji przygotowującej powstanie, nie wziął czynnego w nim udziału. Z biegiem czasu pisarz odchodził od postępowych poglądów, aż w latach trzydziestych stał się konserwatystą. Badacze zwracają uwagę na znaczenie zarówno w życiu, jak i w twórczości Wiaziemskiego jego pobytu w Polsce, który bezdyskusyjnie wpłynął na pogłębienie jego liberalnych poglądów.

<sup>1</sup> Określenie to wprowadził N. Kutanow.

W literaturoznawstwie polskim, wspomnianego wyżej okresu, wiele opracowań dotyczy związków Wiaziemskiego z Polską, zwłaszcza jego trzyletniego pobytu w kraju nad Wisłą, pogładowi poety na tzw. sprawę polską [Zob. Fiszman 1962, 44–62; Kucharska 1967, 35–58; Kępiński 1980, 6–13; Galon-Kurkowa 1980, s. 27–49; Tenże 1981, 263–280; Kępiński 1982, 125–137; Łużny 1985, 5–17; Sokołowska 2011, XI, 353–366]. Wiaziemski przedstawiany jest, jak i we wcześniejszych pracach, jako jeden z „przyjaciół Moskali”, którzy dążyli do zbliżenia z sąsiadami, interesowali się kulturą Polski. Badacze zwracają uwagę na autora *Notatników* jako popularyzatora twórczości Mickiewicza w Rosji, pierwszego tłumacza jego *Sonetów*. Dzięki staraniom Wiaziemskiego, zajmującego w latach pięćdziesiątych stanowisko zastępcy ministra oświaty i naczelnika cenzury, zezwolono na publikację w Rosji utworów naszego wieszcz. Przyjaciół Puszkina stał się kontynuatorem dzieła propagatora twórczości Krasickiego w Rosji – Bazylego Anastasiewicza. Wiaziemski przełożył na język rosyjski niektóre apologetyki Krasickiego, napisał również własne bajki inspirowane polskim twórcą [Zob. Łużny 1980, 319–327]. Znany jest życzliwy stosunek poety do Polaków przebywających na zesłaniu w Rosji, jego sympatia i troska w stosunku do Szymanowskiej. Pobyt w Polsce wpłynął na uformowanie się poglądów społecznych, politycznych oraz literackich poety, to właśnie w tym okresie członek puszkiniowskiej plejady stał się liberalnym myślicielem. Lata spędzone w Warszawie znalazły swoje odzwierciedlenie w twórczości poetyckiej, *Notatnikach*, korespondencji krytyka romantyzmu. W jednym z listów do swego przyjaciela Turgieniewa, kilka lat po powrocie do kraju, Wiaziemski pisał: „Lubię także Warszawę. Tam narodziła się i zgasła epoka aktywności myśli mojej. Tam intelekt mój jakby chłonał wszystko, wszystkimi porami. Żyłem naprawdę duszą i ciałem” [Cyt. za Fiszman 1962, 44]. W okresie pobytu w Polsce Wiaziemski stworzył swoje najbardziej opozycyjne utwory, w których zawarł śmiałą krytykę rosyjskiej rzeczywistości. W pracach często wspomina się o wyprawie Wiaziemskiego do Krakowa – „maleńkiej Szwajcarii i maleńkiej Moskwy”, jedynej wówczas obok Szwajcarii republiki w Europie. Była to podróż śladami wolności – naczelnej idei epoki, której pragnął Wiaziemski zarówno w swoim kraju, jak i w Polsce. Niestety wyprawa rozczarowała poetę, rzeczywistość panująca w Rzeczpospolitej Krakowskiej okazała się zupełnie inna, niż się spodziewał – o czym przekonał się, widząc ekonoma, który z batem nadzorował pracę żniwiarzy. W postawie Wiaziemskiego wobec Polaków oprócz dowodów sympatii, widoczne są i pewne uprzedzenia, bywało, że wyrażał on krytyczne opinie na temat swoich braci Słowian. Na uwagę zasługuje fakt, iż autor *Oburzenia* był zwolennikiem nadania autonomii Królestwu Polskiemu, po upadku powstania listopadowego stanął po stronie Polaków, szczerze im współczuł, mimo że jego przyjaciele (m.in. Puszkini i Żukowski) zajęli przeciwne pozycje. Postawa Wiaziemskiego w tym czasie, kiedy nasilały się w Rosji nastroje nacjonalistyczne, była pełna obiektywizmu. Poeta przestrzegał, że kolejne powstania będą wybuchać dotąd, aż kwestia polska nie zostanie ostatecznie, z korzyścią dla Polski, rozwiązana [Kucharska 1967, 50–53].

Istotny wkład w badania nad twórczością Wiaziemskiego w literaturoznawstwie polskim wniosły prace Krystyny Galon-Kurkowej. Badaczka opublikowała szereg

artykułów, w których oprócz powiązań poety z Polską, znaczeniu jego pobytu w naszym kraju w formowaniu jego poglądów, podjęła się trudu szczegółowego opisu świata poetyckiego Wiaziemskiego, gruntownego zbadania jego twórczości poetyckiej, głównych kategorii strukturalnych liryki autora *Pierwszego śniegu*, zwłaszcza kategorii „ja” liryczne [Galon-Kurkowa 1990, 15–23; 1991, 45–55; 1991, 5–17; 1992, 9–29; 1994, 51–63; Zob. również Galon-Kurkowa 1990, 35–65; 1994, 57–73]. Galon-Kurkowa jest autorką pierwszej polskojęzycznej monografii życia i twórczości Wiaziemskiego, która ujrziała światło dzienne w 1996 roku [Galon-Kurkowa 1996]. W swojej pracy rehabilituje twórczość poety, nad którą zaciążył, obecny zwłaszcza w literaturoznawstwie radzieckim, pogląd o niepełnowartościowości liryki Wiaziemskiego powstałej po rozpadzie puszkinowskiej plejady poetów. Autorka odtwarza „historię życia”, biografię autora elegii *Smętek* (*Уныние*), opierając się na jego spuściźnie poetyckiej. Dokonana analiza twórczości Wiaziemskiego pozwoliła badaczce na określenie świata poetyckiego członka Arzamasu jako odznaczającego się zwartą oraz logiczną konstrukcją. Twórczość poety stanowi dużą wartość jako dokument historyczny i humanistyczny, przybliży czytelnikowi epokę w której żył i tworzył Wiaziemski oraz inni wybitni przedstawiciele jego czasów [Galon-Kurkowa 1996, 163].

W ostatnich latach poruszano kwestię związków Wiaziemskiego ze szkołą Fiodora Tiutczewa [Zob. Prus 1997, 177–189; Lis-Czapiga 2011, 127–138; 2013]. Problem istnienia tiutczewowskiej plejady poetów został po raz pierwszy podniesiony przez radzieckiego badacza Wadima Kożynowa pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku [Zob. Кожинов 1978]. Tezę o istnieniu wspomnianej szkoły udowadnia także polska badaczka, która w swojej pracy zatytułowanej *Szkoła tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX w.*, odnajduje zbieżności tematyczne oraz stylistyczne liryki Wiaziemskiego, Fiodora Glinki, Stiepana Szewyriowa, Aleksieja Chomiakowa, Lukjana Jakubowicza, Władimira Bieniediktowa z twórczością Tiutczewa. Wszyscy wspomniani twórcy realizowali wzorzec poezji dysharmonijnej, liryki kontrastów, opozycji, które znajdowały odzwierciedlenie w zawartości tematycznej wierszy, w ich warstwie formalnej [Lis-Czapiga 2013, 183–185].

W ostatnim czasie zajmowano się także motywami obecnymi w późnej twórczości Wiaziemskiego, jej powiązaniach z tradycjami rosyjskiego romantyzmu [Lis-Czapiga 2009, 44–50; Toczyńska-Pęksa 2013, 74–80; 2014, 35–59], badano funkcję motta w utworach poety [Sadzińska 2011, 105–121].

Zaprezentowany przegląd literatury dotyczącej życia i twórczości Wiaziemskiego pozwala stwierdzić, iż jego osoba była i nadal pozostaje przedmiotem zainteresowania polskich badaczy. Wiele opracowań przedstawia poetę w kontekście jego przyjaźni oraz powiązań z Puszkinem, Mickiewiczem, jego propolskich sympatii, fascynacji kulturą oraz literaturą naszego kraju. Stosunkowo niedawno podjęto próbę całościowego opisu świata poetyckiego autora ody *Petersburg*, udało się również przezwyciężyć tendencję do pomijania późnego dorobku twórczego Wiaziemskiego, obalając pogląd głoszący, iż jedynie wczesna liryka, stworzona przez poetę w latach dwudziestych i trzydziestych, zasługuje na uwagę badaczy. Wydaje się jednak, że ostatnia faza twórczości poety pozostaje obszarem wciąż niedostatecznie zbadanym.

**Bibliografia**

- Brückner A., 1922, *Historia literatury rosyjskiej*, t. II 1825–1914, Lwów–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 67–69.
- Czernobajew W., 1936, *Ignacy Krasicki w literaturze rosyjskiej*, Pamiętnik Literacki, t. 33, nr 1/4, 41–62.
- Fiszman S., 1962, *Piotr Wiaziemski w Warszawie* // *Archiwalia Mickiewiczowskie*, 44–62.
- Galon-Kurkowa K., 1980, „*Na wyżynach wolności...*” (Z problematyki pobytu Piotra Wiaziemskiego w Krakowie), *Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria*, t. 6, 27–49.
- Galon-Kurkowa K., 1981, *Piotr Wiaziemski a tradycja kościuszkowska*, *Slavia Orientalis*, nr 3, 263–280.
- Galon-Kurkowa K., 1990, *Лирическое „я” в поэзии П.А. Вяземского 1808–1826 гг.*, Przegląd Rusycystyczny, z. 1–4, 15–23.
- Galon-Kurkowa K., 1991, *Piotra Wiaziemskiego odkrywanie „ja”* // *Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich*, Zielona Góra: Wyawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, 45–55.
- Galon-Kurkowa K., 1991, *Samoświadomość poety sztambuchowego (Piotr Wiaziemski)*, Przegląd Rusycystyczny, z. 1–2, 5–17.
- Galon-Kurkowa K., 1992, *Sacra publica w liryce Piotra Wiaziemskiego*, *Slavica Wratislaviensia LXXIV*, 9–29.
- Galon-Kurkowa K., 1994, *Kobieta w świecie poetyckim Piotra Wiaziemskiego*, *Opuscula Polonica et Russica*, z. II, 51–63.
- Galon-Kurkowa K., 1994, *Twórczość poetycka Piotra Wiaziemskiego w rusycystyce polskiej*, *Slavica Wratislaviensia LXXXVII*, 57–73.
- Galon-Kurkowa K., 1996, *Długi zmierzch. Psychobiografia liryczna Piotra Wiaziemskiego*, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Historia literatury rosyjskiej*, 1976, red. Jakóbiec M., t. I, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 488–490, 493–494.
- Kepiński A., 1980, *Małeńka Szwajcaria i małeńka Moskwa czyli Rzeczpospolita Krakowska oczyma księcia Wiaziemskiego*, *Magazyn Kulturalny*, nr 2, 6–13.
- Kepiński A., 1982, *Piotr Wiaziemski o polskiej chorobie. Ze studiów nad stereotypem polskim w literaturze rosyjskiej XIX w.*, *Rocznik Komisji Historycznoliterackiej*, XIX, 125–137.
- Kucharska E., 1967, *Piotr Wiaziemski a kwestia polska*, *Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia rosyjska V*, 35–58, 50–53.
- Kutanow N., 1932, *Декабрист без декабря* // *Декабристы и их время*, Moskwa: Издатель Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльных поселенцев, 201–290.
- Lednicki W., 1935, *Mickiewicz w korespondencji ks. P.A. Wiaziemskiego z A.I. Turgieniewem w l.l. 1838–1844* // *Przyjaciele Moskale*, Kraków: Wydano przez skł. gł. Gebethner i Wolff, 345–351.
- Lednicki W., 1935, *Przedmowa* // *Przyjaciele Moskale*, ibidem, 7–19.
- Lednicki W., 1935, *Przyjaciele Moskale w albumie i zbiorze autografów M. Szymanowskiej* // *Przyjaciele Moskale*, ibidem, 263–278.
- Lis-Czapiga A., 2009, *Problem istnienia jednostki w liryce Piotra Wiaziemskiego* // *Świat Słowian w języku i kulturze X. Literaturoznawstwo*, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 44–50.
- Lis-Czapiga A., 2011, *Barwa w poezji plegady Tiutczewowskiej (na przykładzie twórczości Fiodora Tiutczewa i Piotra Wiaziemskiego)* // *Barwa w języku literaturze i kulturze II*, Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, 127–138.
- Lis-Czapiga A., 2013, *Szkoła tiutczewska w poezji rosyjskiej XIX w.*, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Literatura rosyjska w zarysie*, 1975, red. Barański Z., Semczuk A., Warszawa: Wydawnictwo PWN, 205, 213–215.
- Łużny R., 1980, *Księcia biskupa warmińskiego sława literacka wśród Słowian wschodnich*, *Slavia Orientalis*, 319–327.
- Łużny R., 1985, *Księcia Piotra Wiaziemskiego romans z Polską i rewolucją // Z notatników i listów księcia Piotra Wiaziemskiego*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 5–17.
- Mucha B., 2002, *Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (wyd. II), 215–216.
- Prus K., 1997, *Sacrum w liryce szkoły Tiutczewa. Fiodor Tiutczew, Piotr Wiaziemski // Sacrum w literaturach słowiańskich*, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 177–189.
- Sadzińska E., 2011, *Wielofunkcyjność motta w utworach Piotra Wiaziemskiego // Motta w twórczości romantyków rosyjskich. Ich rola w dialogu idei i poetyk*, Łódź, 105–121, <http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1520/SADZINSKAmotta.pdf?sequence=1> [10.01.2014].
- Sokołowska J., 2011, *Piotr Wiaziemski (1792–1878). W kręgu spraw polskich*, *Studia Wschodniosłowiańskie*, t. XI, 353–366.
- Spasowicz W., 1892, *Księżę P.A. Wiaziemski, jego polskie znajomości i stosunki // W. Spasowicz, Pisma*, t. VI, Petersburg: Wydawnictwo księgarnia Br. Rymowicz.
- Toczyńska-Pęksa A., 2013, *Образ старости в поздней лирике П.А. Вяземского, // Русистика и современность V*, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 74–80.
- Toczyńska-Pęksa A., 2014, *Лирика П.А. Вяземского 50-, 60-, 70-х годов века в контексте традиции романтизма, // Русская литература конца XIX–XXI века: Диалог с традицией*, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 35–59.
- Zdziechowski M., 1897, *Byron i jego wiek. Studia porównawczo-literackie*, t. II Czechy. Rosja. Polska. Kraków: Akademia Umiejętności, 213.

## Summary

### RECEPTION OF THE PETER VYAZEMSKY'S WORKS IN POLISH LITERATURE

The author presents and comments polish critic literature concerning works of Peter Vyazemsky. Peter Vyazemsky was a poet, literary critic, publicist, letter writer appreciated for his talent, liberal views. Pushkin's friend became familiar with polish language, literature and culture thanks to his stay in Poland. Vyazemsky lived in our country for three years (1818–1821), he worked as a civil servant in Novosilcev's chancellery in Warsaw. The poet had many polish friends such as Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Krasicki. The stay in Poland formed Vyazemsky's liberal views which he expressed in many of his works.

